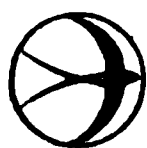


НИНА СЕМЕНОВА

КРУПНАЯ
МОЛНИЯ



НОВИНКИ · СОВРЕМЕННОСТИ ·

Нина Семенова

Круглая

МОЛНИЯ

Повести и рассказы

«Современник»
Москва
1982

Семенова Н. А.

С 30 Круглая молния: Повести и рассказы. — М.: Современник, 1982. — 303 с. — (Новинки «Современника»).

В новую книгу смоленской писательницы Нины Семеновой включены повести и рассказы о современной среднерусской деревне. Размышляя над проблемами Российского Нечерноземья, автор особую роль отводит нравственному становлению нашего молодого современника.

С $\frac{4702010200-151}{M\ 106(03)-82}$ 57-82

ББК 84 P7
P2

В воскресенье

рано утром

Повесть

— Леха, Леха, — кричала мать, бегая по двору, — ты куда, лиходей, скрылся? Неуж березовой каши захотел? Уж я тебя накормлю, как поймаю. До новых веников не забудешь!

Леха не слышал. Он сидел на коньке крыши и, задржав голову, глядел в небо: там шла война. Ночь ползла откуда-то снизу, от леса, заходя своим левым синим крылом, лезла прямо на солнце, а солнце хоть и светило ярко, но уже ничуть не грело и, медленно-медленно отступая, гасло. В последний раз оно вдруг вспыхнуло, рассыпало по земле лучи, как стрелы, а может, это были вовсе не стрелы, а руки. Солнце подняло их, сдаваясь, и, уже ~~не раздумывая~~, ~~обессилев~~ ~~вконец~~, нырнуло в тучу.

— К дождю, — сам себе сказал Леха и слез с крыши.

— А, вот ты где? — ничуть не удивилась мать и, скорей по привычке, чем от злости, мазнув Леху рукой по затылку, сказала: — Ноги помой, а то цыпки нарастишь — кровавыми слезами заплачешь.

Леха засмеялся. Он ждал, целый белый день ждал той минуты, когда мать придет наконец с фермы, подоит корову, накормит поросенка, загонит кур и возьмет к себе Натку. А Леха тем временем улизнет на речку. Цыпки на ногах — это дело десятое, а самое главное, что в этот час сбегаются на берег все ребятишки, и старая речка Дымка словно молодеет от их голосов, бежит, ~~перекатывается~~ по камням — дурачится. Там, где на ее пути встает запруда, она разливается широким озером, а дед Егорыч зовет это озеро виром и рассказывает про мельницу, что стояла над ним когда-то, но в революцию мельницу порушили, и остались теперь от нее одни камни на берегу да в воде черные дубовые сваи. С берега, правда, они не видны, потому что под водой, но кто не дурак и так, наугад, про них знает, ведь с них так здорово нырять. Нырнешь у свай, а вынырнешь у самого того берега, где стоят две березки, а под березками вся-

кий раз влюбляются девки с парнями. Парень-то, если честно сказать, всегда один — рыжий Коляй, да и ему скоро в армию, а девки все разные. Тут и Нютка, и Светочка, и Танюшка с Наташкой — все побывали под березками, а ребяташки, завидев их, кричали: «Тили, тили, тесто, жених да невеста». Коляй конфузится, а девчатам и горя мало, на малышей они и внимания не обращают. Покричат, покричат, подразнятся да и перестанут, своими делами займутся. Своих-то дел разве мало?

— Эй, Леха, давай наперегонки: кто глубже нырнет? — кричат Танька-Манька.

— Давай.

— Гляди, как мы надуваемся.

Леха глядит: они и в самом деле толстеют, круглеют, как резиновые мячики, и он пугается.

— Танька-Манька, хватит, а то пузы лопнут.

— Не лопнут, потрогай! — кричат они.

Леха не знает, у кого трогать: не то у Таньки, не то у Маньки, а они вдруг обе перестают надуваться и хохочут, тыча пальцами прямо Лехе в лицо:

— А где твой глаз? Косой, косой!

— Ничего я не косой, меня пчела укусила.

Но так как Танька-Манька продолжают хохотать, Леха обиженно говорит:

— Ага, если б вас так. Ладно, ладно, я скажу Сане Маленькому.

Но Танька-Манька все равно не слушают. Их все так зовут на деревне — Танька-Манька, даже если они и бывают поврозь, хотя поврозь их никто и не видит, а всегда вместе, потому что они двойнятки. А кроме них у бригадира Сани Маленького еще две пары двойняшек, но Танька-Манька — старшие, и они продолжают кричать:

— Косой, косой!

От обиды Леха сначала хотел заплакать, но раздумал: перед кем плакать-то, и, разогнавшись, крикнул:

— Глядите, нырну, синий камень достану!

— Не достанешь! Не достанешь!

Леха нырнул, да зря поторопился, и воздуху ему до дна не хватило.

— Ну, достал? — съехидничали Танька-Манька и поплыли к другому берегу. — Догоняй!

Леха догонять не стал, ребра у него ходуном ходили под кожей, но он упрямо повторял:

— А вот и достану! А вот и достану!

Достать синий камень со дна вира — это была мечта всех мальчишек, потому что у кого был синий камень, тот на весь год становится командиром. Прошлым летом командиром был Костя, он из города к бабке Аксинье в гости приезжал, а ныне к другой бабке в Москву поехал, и борьба за командирство разгорелась с новой силой. Не было ни одного дня, чтоб мальчишки не ныряли в вир в надежде достать синий камень. А он небось лежал на дне и посмеивался: ну-ка, попробуйте, ну-ка!

И хотя вода в виру была холодной, как у лягушки брюхо, Леха еще раз нырнул. На этот раз он достал до дна, загреб камень рукой, но когда вынырнул и разжал ладонь, то увидел: камень был не синим, а серым, и Леха со злости запустил его далеко в кусты. Оттуда как ошпаренный выскочил Витька-Мочало:

— Ты что кидаешься, как дам под дыхало!

Леха не стал с ним драться: его раз толкнешь, а он уж домой — жаловаться. Сопли распустит: мам, а мам, чего они лезут? С такими Леха не любил связываться. А тут еще ночь надвинулась, расстелила себе постель из тумана, хоть и горел еще в небе закат, полыхал березовым огнем, а вода в реке была от заката тихой и красной.

Он посидел немножко над виром, помечтал: вот бы в воде пожить, как рыба, или в небе — как птица, и пошел не спеша домой, ведь дома-то небось все уже спали.

Проходя мимо хаты деда Егорыча, Леха не удержался, чтоб не заглянуть на крыльцо, но в прикрытую дверь увидел, что дед стоит на коленях и молится — только бороденка трясется, — и не стал ему мешать. Хотя сам дед признавался и божился даже, что в бога он не верит, а просто кажын дён итог свой подводит.

— Вот и субботушка прошла, о, господи, а что я исделал? Ну, картоху распахал, ну, колодец почистил, и все? Ох, старость не радость, рано ты, стерва, нагрянула. И куда только силушка подевалась моя богатырская, о, господи...

Леха усмехнулся, слушая деда, потому что вспомнил, как бабка Аксинья про него рассказывала:

— Злыдень, злыдень, как есть, а еще хвастается. Дескать, в молодости красивый да сильный был. Ну, и придумает козел старый. Да на него ни одна девка, бывалыча, и не глянет даже: от горшка два вершка, бороденка на нем и та не росла. Богатырь — ногтем придавить можно. А уж теперь — тьфу, тьфу, сатана!

«Значит, сегодня суббота, — подумал Леха и обрадовался, — завтра, стало быть, воскресенье». А в воскресенье каждый раз приезжает из города Галина, гостинцев привезет и с Наткой побудет, а Леха пойдет с отцом в лес. А если отец забыл уже и не возьмет его с собой? Нет, возьмет, он обещал, а что отец обещает, всегда сделает.

С радостной мыслью о завтрашнем дне Леха кубарем влетел на крыльцо, хотел тихонько проскользнуть через сенцы в хату, но мать, уловив в темноте его быстрое дыхание, строго спросила:

— Ноги помыл, пострел?

— А то! — слегка обиделся Леха и юркнул поскорей в постель. Натка уже спала, посапывая в своей люльке, и Леха тоже стал засыпать, как вдруг услышал, что кто-то плачет. Вот Натка-рюмза, и поспать человеку не даст. Но в люльке было тихо, а плач плыл откуда-то из сеней, и у Лехи даже в животе похолодело: плакала мама. Что это с ней, ведь мать у них всегда такая веселая, бойкая.

— Ирод ты, ирод, — сквозь слезы шептала мать, а в открытую дверь Лехе все было слышно, хоть и не знал он, кого это она так ругает. — Все люди как люди, а ты что зверь лесной.

«А, — догадался Леха, — это она отца ругает, потому что он лесником работает».

— Ну, скажи, чего ты на Центральную переезжать не хочешь? И по льготам квартиру, в рассрочку, и свет, и водопровод, и клуб.

— А лес там есть? — спросил отец.

— Весь свет в окне — твой лес. ~~А у нас дети~~ растут. Им к жизни стремиться надо. А ты заладил одно — лес. Да что они видят тут? Твой лес да небо над головой? Вон, вишь, Галина одна и выбилась в люди-то. Не кем-нибудь, а продавцом состоит. А Леха, Натка растут? В деревне одни старухи остались, и нам с ними век вековать?

— Ладно, не реви, — успокоил ее отец, — сам про детей знаю, душа изболелась, а только не резон отцово подворье бросать. Ну, уйдут люди из деревень, а земля как же? Кто за ней приглядывать-то будет? Сама ведь знаешь, земле глаз да глаз нужен. Ты об этом подумала?

Он немного помолчал, а мать все равно плакала — не успокаивалась.

— А с другого конца повернуть, — сказал отец, — кому сейчас нужда в ней? Кто об земле-то заботится?

Леха слушал, слушал, как они ругаются, то злобно, то ласково, как песни поют, да так и заснул, будто в вир с головой нырнул, а как нырнул, то увидел: на дне его полным-преполю синих камней, бери какой хочешь. Леха нагреб целые карманы, чтоб и Таньке-Маньке по камушку дать, и деду Егорычу, и Натке, пусть все командирами будут, ему не жалко. А маме Леха оставил самый маленький камешек, но такой синий-пресиний, как колокольчик в росе, чтоб только не плакала и на отца не ругалась. А когда раздал все синие камни, тогда и проснулся, потому что делать во сне стало больше нечего.

Леха открыл глаза и встретился с солнцем, но солнце юрк за стог и спряталось. Вот хитрое, как увидит, что Леха проснулся, тотчас же и спрячется, словно в жмурки с ним играет. А в хате от этого сразу стало темно, лишь дымные тени поползли по полу — от тополя, что рос под окном, весь белый свет загораживал, и тени зашевелились, как щенята. Леха пугнул их ногой, а потом вспомнил про воскресенье и мигом слетел с кровати. Затянул потуже штаны, чтоб не спадали, рубаху на плечи и выскочил в сенцы. Огляделся туда-сюда: где же они? Ни отца, ни матери на постели уже не было. Ну, мать, ладно, на ферму потопала, а отец? Ведь обещал же, обещал и забыл. Эх, папка, папка, а еще говорил: дите обмануть что в чистый колодец плюнуть. Вот и плюнул. Кто теперь из того колодца пить будет? Правда, Леха уже не дите, ему с лета восьмой год пойдет, но ведь все равно — плюнул.

И, прислонясь головой к притолоке крыльца, Леха горько и безнадежно заплакал. Плакал он долго, пока не надоело, но все равно остановиться никак не мог. Но и плача все же услышал, как скрипнула в хате люлька — это Натка вывалилась из нее и приползла к порогу.

— Еха, не пачь, — сказала она и показала ему язык.

— Ага, если б тебя так обманули, сама б тридцать разов заплакала.

— Пакаля, пакаля, — обрадовалась Натка и вдруг, поскользнувшись, упала, перекатилась через порог. Леха бросился к ней на помощь.

— Ушиблась? Больно?

— Больня. Тють, — сказала Натка и пальчиком тронула заплаканный Лехин глаз.

— Да нет, мне не больно. Только глядеть неловко.
А Галина приехала?

Натка пожала плечами и засмеялась. Она всегда смеялась, когда совсем и не смешно-то было.

— Ну ты, хватит дурочку корчить, — сказал ей Ле-
ха, — давай одевайся и пойдем папку искать.

— Искать, искать.

Она все переговаривала, как попугайка, что ни ска-
жешь, она тут же и переврет.

— Одевайся! Слышь! — прикрикнул на нее Ле-
хася по сенцам, как трактор, — а то тррр — задавлю!

Натка послушалась, натянула кое-как на голову свое
платье — красное в синюю клеточку, но продеть руки
в рукава уменья у нее не хватило.

— Эх ты, — укорил ее Ле-
хася, — не можешь платье на-
деть, да такую непутеху никто и замуж не возьмет. Ну,
лезь на карпушки.

Натку уговаривать не пришлось — она тут же ухва-
тилась ему за шею худыми цепкими пальцами.

— Тише ты, а то задушишь.

— Не задусу, — сказала Натка и снова беспричинно
засмеялась, — ты мой конь.

На деревне было еще пусто, только туман стелился
по земле, а внизу, под туманом, шли гуси, на водопой
к виру спешили.

«Где же папка? — думал Ле-
хася. — Может, к бригади-
ру подался?»

И он повернул к хате Сани Маленького. Хата его
была лучше всех других хат — обитая резным тесом,
под шиферной крышей, как-никак, а первое в деревне
начальство. Ле-
хася рассчитал, раз солнце еще не подня-
лось над лесом, значит, бригадир дома. Отправил всех
людей на работу, на ферму наведася, теперь сидит и
отчет составляет. Составит отчет и повезет на Централь-
ную, в контору, а там уж гуляй — на сегодня все дела
справлены.

Ле-
хася потоптался немного в сенцах, чтоб дать о себе
знать, но никто из хаты не выглянул, и он вошел. Да,
Ле-
хася маленько не угадал, и Саня хоть и был дома, но
не отчет составлял, а сидел у припечка и ладил ботинки.

— Дядь Сань, мой папка к вам не заходил?

— А ты чей? — вскинул голову Саня.

Он у всех так спрашивал, потому что сам признавал-
ся: люди у него в голове не держались. Цифры по на-
дою, проценты за выкос, обязательства по случаю юби-

лея — пожалуйста, все помнил, и если случаем забредал какой-нибудь уполномоченный, мог с ходу выстрелить в него целой обоймой чисел, а вот лица не запомнил. Однажды он даже у своих двойняшек спросил: — Вы чьи?

Правда, такое случилось после легкого перепоя, когда он своего брата в армию отправлял. Ох, и погулял тогда Саня! Отвел душеньку. Вся деревня три дня ходунном ходила, а Саня пил и плясал до упаду. Он и в самом деле упал, правда только на третьи сутки. Хватились: где Саня, где бригадир? Нет его. А Саня лежит в лопухах и все еще поет: «Раскинулось море широко...» Так по песне только и нашли.

Леха вспомнил сейчас про это и усмехнулся.

— Старков я, — сказал он.

— А, Старков. Ну, проходи. Батя дома?

— А чего б я его искал?

— И то правда, — ничуть не огорчился Саня, — ну, погодь, вместе искать будем.

Саня сидел на скамеечке перед большой деревянной колодой и сам чуть виднелся из-за нее, а перед колодой валялось пар двадцать ботинок, разных фасонов, цветов и размеров.

— Вот ребят своих обуваю, — пояснил Саня и, заколотив гвоздь, отложил молоток на колено.

— Значит, не думаете на Центральную перебираться? — спросил он, шевеля во рту гвоздями.

Леха промолчал.

— Эх, люди, для вас государство старается, можно сказать, в доску бьется, а вы — не хочу. Вот погодь, я сейчас по деревне пойду, буду подписку со всех сымать. Мне так председатель и приказал: кто не хочет переселиться — расписку.

Леха слушал Саню и не слушал. Через полуприкрытую дверь прихожей из комнаты доносился шум голосов — там двойняшки в паровоз играли. Танька-Манька, как старшие, были машинистами, а за ними, уцепившись друг дружке за рубахи, сидели еще четыре соплирика: Колька-Володька и Васька-Надюшка. Все босые, нечесанные, они ерзали по полу и самозабвенно пускали пузыри — пары разводили. Леха посмотрел на них, и ему нестерпимо захотелось самому покататься на паровозе. Но прежде ведь надо было найти отца, к тому же Натка все время дергала сверху за волосы, ныла:

— Еха, послы.

— Успеешь, не на пожар.

Леха приоткрыл дверь пошире и увидел «мою молодуху». Она сидела перед окном и вязала чулок. И хоть звали ее тетей Арпиной, все в деревне называли ее не иначе как «моя молодуха». Сам Саня так ее называл и до общественной работы не допускал; не хватало, чтоб жена бригадира да за какой-нибудь трудовень хряп свой гнула. И еще. «Я ли не хозяин? — говорил он всем. — Неуж я свою семью сам обеспечить не в состоянии».

«Моя же молодуха» в свою очередь обеспечивала Саню детьми: через каждый год, да не одного, а парочку. И все как две капли воды — Саня Маленький. Может быть, за это и любил ее Саня, души в ней не чаял и даже возил «мою молодуху» с детьми в редакцию районной газеты, чтоб напечатали как пример. В газете и в самом деле напечатали под заголовком «Редчайший случай» и даже фотографию тиснули: «моя молодуха» в окружении трех пар двойняшек. А Саню посадили чуть сбоку и сзади, так что в газету на следующий день пришло опровержение, дескать, что же это вы, товарищи писатели, простую арифметику не знаете? В заметке сказано, что у гражданки три пары близнецов, а на фото еще один объявился — непарный, выходит.

Очень Саня разобиделся тогда на опровергателя:

— Неужто не видно, что я им отец родной?

«Моя молодуха» после этого две недели на улицу и носа не показывала — от стыдобушки, а Саня — знай наших — ходил назло козырем и при случае вытаскивал из кармана газетку, словно бы сигарку свернуть, но всякий раз конфузливо извинялся:

— Смотрите-ко, дурья башка, хотел свою молодуху на ветер пустить.

Саня приладил один ботинок и встал — нужно было приниматься за бригадирские обязанности.

— Где ремень? — крикнул он, потому что без ремня не чувствовал себя бригадиром. За перегородкой паровоз сразу остановился. «Моя молодуха» только мельком взглянула на мужа и продолжала вязать чулок.

— Ремень где? — повторил Саня, и в голосе его зазвенела сталь.

Ремень висел на стене, но Саня его не видел, зато на него устремилось сразу шесть пар испуганных глаз. Бочком-бочком к ремню подо двинулась Танька, передала Маньке, тотчас же рядом с ней выросла стенка, и ремень пошел за этой стенкой, как по цепочке. Сначала

у Кольки, потом у Володьки, пока не достиг наконец Васьки. Тот недолго думая ловким, привычным жестом схватил его и спрятал себе под попку.

Саня Маленький, уловив среди ребят движение, окинул их всех жестким взглядом, остановился глазами на последнем, на Ваське, и тот не выдержал отцовского взгляда.

— Батя... бить... попа... — всхлипнул он, одной рукой размазывая по лицу слезы, а другой протягивая отцу ремень.

— Да не буду я вас бить, чудики, — сказал Саня и пояснил почему: — Некогда мне сегодня.

Вместе с Лехой они вышли на крыльцо. Солнце уже разогнало туман, и открылась глазам деревня — все восемь дворов, не считая бабки Аксины. Бабка жила за рекой и, можно сказать, не жила, а так — небо коптила. Одна-одинешенька, ни кола ни двора, а на дворе — собака Гавка.

Но у бригадира был, как видно, свой резон, поэтому он и решил начать свой обход именно с бабки Аксины.

Делать нечего, и Леха с Наткой тоже двинулись вслед за ним через дымку.

Когда-то раньше, рассказывал отец, еще до войны, на этом берегу дворов совсем не было, вся деревня помещалась как раз за рекой, зеленая, шумная, дворов на сорок. Теперь же от нее остались одни печки. Были и хаты, стояли заколоченные, но год за годом их растаскивали на дрова, а кирпичи ведь на растопку не сунешь, вот и остались от деревни одни печки. Тут печка, там печка, а между ними бурьян, кусты.

— Обезлюдела деревня-то, — сказал Саня.

— Как это — обезлюдела? — не понял Леха.

— Да так. Жили люди, а теперь их нету.

— Куда же они подевались? — не поверил Леха.

— Кто куда, брат. Много в войну полегло, а потом и после войны. А кто остался — в чужие края подались. Человек, брат, что рыба, ищет где глубже.

— А ты, дядь Сань?

— Что я?

— Ну, как рыба?

— Я, брат, туго корнями оброс. И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Какие у тебя грехи, если ты в бога не веришь?

Саня прищурил один глаз, отчего другой чуть на лоб не вылез.

— А ты откуда знаешь?

— Да бабка Акси́нья ругалась: лиходимец, безбожник.

Еще издали они увидели, что в хате у бабки Акси́ньи топится печка, но когда вошли, то ни в снях, ни в горнице никого не обнаружили. «Спряталась небось бабка, — подумал Ле́ха, — она завсегда так, как увидит бригадира, так и спрячется — от греха подальше».

Но Саня тоже, очевидно, знал этот ее маневр, потому как ни в чем не бывало пододвинул к столу скамейку, сел: мол, подождем, мы люди не гордые. Видя такой поворот, бабка Акси́нья не замедлила тут же явиться.

— Батюшки-светы, — запела она, вылезая откуда-то из-за печки, — а когой-то мне бог послал. Товарищ бригадир, проходи, садись, гостем будешь. — Но так как Саня уже сидел, то ему пришлось встать, и бабка снова усадила его за стол. Проворно, как молодая, слезила в подпол, достала бутылку «Столичной». Бутылка была неполная и заткнута бумажной пробкой. Бабка зубами ловко откупорила ее, налила.

— С праздничком тебя, с воскресеньем.

Саня отказываться не стал, это было не в его привычке, и выпил. А как выпил, так почувствовал во всем теле приятное и закусить попросил.

Бабка Акси́нья снова ринулась в подпол и достала Сане кусок сала и соленых огурчиков, а потом поднесла и еще стаканчик.

Выпив и закусив, как положено, Саня приступил наконец к главному.

— Ты, мать, — начал он вежливо, — как живешь-можешь, на что жалуешься?

Бабка Акси́нья сразу пустила слезу. Никогда раньше она не слышала от бригадира таких слов и заплакала. Правда, плача, она все прикидывала в уме: не к добру это, ох, не к добру, что Саня Маленький мягче соломы стелется.

— А жалуюсь я на весь белый свет, — сказала она, — и на тебя во-первости. Ты что же ко мне никогда не зайдешь, не покалякаешь?

Бабка Акси́нья явно настраивалась на долгую беседу. Она плохо глядела глазами и все время щупала Саню, удостовераясь: тут ли он, не ушел ли. Но Саня не дал ей долго беседовать, а сказал напрямик, чтоб с делом этим поскорей разделаться:

— Спущена нам директива, бабуся, чтоб всей дерев-

ней на Центральную усадьбу переселяться. Ты как на этот счет — согласна?

Бабка не поняла, а может, сделала вид, что не поняла — притворилась.

— А это ж кто с тобой? — спросила она, пододвигаясь к Лехе. — Ванюша! Ох, боже спаси, и глазки такие, и волосики.

Крючковатыми своими пальцами она гладила Леху по голове.

— Ванечка, внучек, в гости ко мне пришел, а у меня и гостинца-то нетути.

Бригадир ерзал по лавке и глазами делал Лехе страшные знаки, дескать, уйди ты, дай с деле поговорить, но бабка Аксинья цепко держала Леху за рукав и не отпускала.

— Иди, говорю, Ванечка, дровишек мне наколи, он и пошел, тук-тук топориком да провод-то ихний и перерубил. А немец как рассердится! «Партизан, — кричит, — диверсант этакий». И пристрелил мово Ванечку. Я к нему кинулась, а он: «баба, баба!» — и красные пузыри из ротика.

— Вот что, — сказал Саня, — преданья свои ты оставь при себе, а мне прямой ответ держать надобно, будешь ты переселяться отсюда, старая, или же нет. Если нет — пиши расписку.

Бабка постояла в недоумении, пошамкала что-то губами и вдруг рухнула перед Саней на колени.

— А Санечка, а миленький, а пожалей же ты мою душеньку...

Саня рассердился.

— При чем тут душа, если я тебе дело предлагаю. На выбор: или же лесу на хату, а то и квартиру в рассрочку. Будешь жить и песни петь. А надоест петь — в кино сходишь. Тебе же лучше, старая.

Бабка поднялась с колен, лицо у нее стало каменным.

— Ну, вот что, товарищ бригадир, я и сама знаю, что мне лучшей, а что хуже. Мне, может, лучшей с тобой брехаться, чем тое кино глядеть. И говорю тебе со всей моей ясностью: никуда я со своей селибы не двинусь. Туточки я родилась, туточки мне и смерть принять. А будешь силком выселять — сучку свою спущу. Уж кто-кто, а она тебя перегавкает.

Саня не стал сопротивляться: пропади ты, старая, пропадом, подсунул скорей бумажку.

— Распишись.

Бабка взяла карандаш, посплюнула его и охотно поставила на бумажке крест. После этого она снова запела:

— Приходи, Санечка, приходи, миленький, завсегда тобой радая.

Саня так расстроился, что на обратном пути вместо хаты деда Егорыча влетел в свою собственную:

— Хозяин дома?

Все парнятки сидели за столом и ели блины, а как увидели Саню, так и есть перестали. И только «моя молодуха» не испугалась, а подошла к мужу и молча начала стаскивать с него сапоги.

— Ты что? — вскинулся на нее Саня.

— Набрался уж, успел, — но в голосе ее не было ни боли, ни злости, а просто констатация факта.

— Это кто набрался — я? — закричал Саня. — Да я трезв, как десятилинейное стеклышко. А с вами и пошутить нельзя? Эх, люди!

Он отобрал у «моей молодухи» сапоги, надел их, почистил и еще раз перед зеркалом повертелся — хорош? Потом кивнул Лехе:

— Пошли, что ли?

Леха изрядно проголодался, бегая за Саней, и теперь, увидев, как уплетают близнята блины, ощутил тихую сосущую боль в животе, но Саня торопил:

— Давай, давай, а то и к полудню не успеем.

Леха послушался и, подкинув за плечами Натку, покорно побрел за Саней. Он уже забыл, что вышел отца искать и что в лес с утра собирался, сейчас его жгла одна только мысль: согласится ли переселяться на Центральную дед Егорыч? А если не согласится? Саня Маленький тоже был мрачный: директива о переселении трещала, расползалась по швам. А этого он никак не мог допустить, поэтому и шел к деду Егорычу решительный и непреклонный. Дед в сенцах точил топор.

— Не подходи — зарублю! — пошутил он и пригласил бригадира в хату. В хате было чисто подметено и вкусно пахло жареной картошкой. А на окошках стояли цветы.

— Чем могу служить руководству? — церемонно спросил дед Егорыч и три раза потрянул своей жиденкой бороденкой.

Саня категорически объяснил.

— Давай баш на баш, — внезапно предложил дед

Егорыч, — хочешь, сегодня ж первый пример кину? А хату свою — по бревнышкам, к чертовой матушке! Но за этс... — дед Егорыч помедлил, собираясь с силами, — помоги мне жениться, а?

Саня Маленький захохотал:

— Разве ж в этакое дело нужен помощник? Ты еще, Егорыч, и сам в силах!

Дед Егорыч опустил на лавку. Рядом лежал топор.

— Да что ж, если она и слушать меня не хочет.

— Кто? — заинтересовался Саня.

Бороденка у деда вздернулась кверху.

— Сказать?

— Скажи.

— А ежели секрет?

— Тогда не говори.

— А сказать ведь хочется!

Саня скрипнул бригадирским ремнем.

— Ты, Егорыч, хоть и мудрец, — сказал он, — а надсмехаться над собой я не позволю. Да и сенокос не за горами. Захочу, и сенца тебе не дам.

— Как так?

— А вот так. Ты ведь отрезанный ломоть.

— Я на пенсии, — возразил Егорыч, — и государство...

Но Саня не дал ему договорить, вынул бумажку, сунул деду под нос:

— Распишись.

— Погодь, погодь, — сказал дед Егорыч и прошел в угол, где накрытый белой тюлевой занавеской стоял сундук. Покопался в нем, достал красную тряпочку.

— А это ты видел? — спросил он и показал бригадир бумажку.

Саня Маленький прочитал: «Благодарность красноармейцу 5-го батальона Чичкину Якову Егоровичу за взятие Перекопа».

— Ну, нашел что показывать, — вздохнул Саня и отвернулся. — Ты б еще Георгиевский крест предъявил в качестве прямого доказательства.

— Ладно, — согласился Егорыч и еще покопался в тряпочке.

— Читай далее! — приказал он.

Это была Почетная грамота от правления колхоза «Красный застрельщик». Внизу стояла дата — 1 мая 1943 год.

— Это все старые заслуги, — вздохнул Саня, — а ка-

кую пользу ты приносишь колхозу, скажем, в данное время?

Дед Егорыч подумал.

— Могу скотину по ночам сторожить, — предложил он.

— Скотина и без тебя цела будет. — И усмехнулся. — Тоже мне сторож. Давай уж лучше женись.

Дед оживился:

— А в сваты за меня пойдешь?

— Скажешь к кому — пойду. Чего не сходить? В сваты, брат, можно сходить, это не на войну.

— Ну, не тебе войну вспоминать, — сказал дед Егорыч. — Ты-то ее и не нюхал.

— Как же не нюхал? — возразил Саня. — А в оккупации кто маялся?

— Верно. Я ведь и забыл, как ты немцам на гармошке играл.

Этого можно было и не вспоминать деду Егорычу, ведь Сане, с тех пор как он стал бригадиром, никто про это не напоминал, и он сам уже забыл в трудах да заботах, и только изредка нет-нет да и шевельнется в памяти. Ух, нехорошо! Перед людьми совестно.

Но сейчас он встряхнул себя — опомнился.

— Ты, мудрец, брось-ка зубы мне заговаривать. Согласен на Центральную перебираться — значит, я тебя записываю.

— Баш на баш, — сказал дед Егорыч, — только на таком условии.

— Когда свататься?

— А хоть бы и сегодня. Зачем канитель тянуть.

— К кому? — деловито переспросил Саня.

— К Алисе.

У Лехи и коленки дрогнули. Уж чего-чего, а того, что дед Егорыч хочет жениться на Алисе, он не предполагал. Ну, ладно, на бабке Аксиные, ну, на тете Анюте в худой конец, но на Алисе... И имя-то у нее было странное, потому что Алиса была нездешняя. А что в Стариках очутилась, так это война все напутала. Забросила ее сюда вместе с матерью — беженцами. А мать вскорости снарядом ранило. Ну, билась, билась Алиса, выхаживала мать-то, да не выходила. А как похоронила на Стариковском могильнике, так уж и не захотела ее покидать одну на чужой сторонushке. Осталась в колхозе. Потсм заневестилась, замуж вышла. А Федор, муж Алисы, как в армию ушел, так с той поры и не возвер-

пулся. Вот и осталась Алиса — не вдова, не мужняя жена и не разведенка. Потому что с кем разводиться, когда Федора и за хвост нигде не поймаешь: сегодня тут, завтра там — по всей стране путешествует. И наверно, потому, что была Алиса нездешняя — коса у нее вилась ниже пояса, — так дед Егорыч про нее все хвастался, хотя люди-то не дураки и сами видели — хороша Алиса, тут и сказать нечего. Только вот счастья бог не дал.

Долгими ночами и зимой и летом думал дед Егорыч, чем помочь Алисе, вот и надумал, хрыч старый.

Да разве Алиса за него пойдет, за такого сморщенного.

Леха нахмурился и даже думать об этом не стал, хотя дед Егорыч, будто догадавшись, и свой контрудар поставил:

— А кого ей ждать-то? Какого принца заморского? Кругом на десятки верст глухомань, край света белого. А за мной — все ж таки при хозяине.

— Ладно, — согласился Саня Маленький. — Алису я тебе, Егорыч, сосватаю. Она давно на Центральную перебраться хочет, да ведь одна — не решается. Ты только сам гляди не сплошай.

— Будем стараться! — обрадовался дед Егорыч и даже каблуками прищелкнул — солдат, да и только.

Алиса была на ферме, но, увидев, что к ней в хату направился сам бригадир, прибежала. Коса ее растрепалась в ходу, хотя она ее на кулак намотала и стояла перед Саней, как будто на бокс его вызывала.

— Зачем пожаловали?

Бригадир сразу взглядов ей своих не открыл, постоял, поглядел на нее, головой покачал. Алиса так и заалелась вся, как девушка.

— Ну, правда, зачем пришли, а то ведь мне некогда.

— Да вот в сваты меня обрядили, — сказал Саня, — соглашайся, пока не брезгуют.

Алиса скинула с руки косу.

— Ай, ну вас!

И тут она увидела Леху с Наткой:

— Милые вы мои, я сейчас...

Она сбегала в огород и нарвала клубники:

— Ешьте, ешьте, угощайтесь на здоровьишко.

Ни у кого в деревне не было клубники, а у Алисы была. Целых пол-огорода засеяно. И такая сочная, крупная, как куриные яйца. Леха сначала хотел отказаться, но увидел, как Натка нагребла целые пригоршни — и

в рот, даже красные слюни у нее потекли, и тоже не вытерпел — взял ягодку. Леха никак не мог догадаться отчего, но и его, и Натку Алиса почему-то очень любила. Особенно Леху. Где ни встретит его, ни приметит, обязательно гостинец за пазуху сунет. Да еще прижмет к себе, поцелует.

— Лешенька, Михайлович, весь в батю-то.

Мать однажды заприметила, как Алиса Леху голубит, набросилась на нее:

— Ты что это моих детей милуешь, бесстыжая? Своих нет, так на чужих кидаешься?

Ничего не ответила тогда Алиса, заплакала и ушла прочь, а вечером слышал Леха, как мать отцу выговаривала:

— Чтоб ты в ее сторону и глянуть не смел! Ишь, распутная, через детей к мужику подбирается.

Сейчас Алисе не перед кем было стыдиться, и она уж потчевала Леху вовсю. А Натку даже на стол посадила, тарелку с клубникой ей между ног — ешь не хочу. Саня глядел, глядел на это, а потом махнул рукой и вышел.

Алиса, занятая детьми, и не заметила, что он ушел, оглянулась, нет никого, ну и катись, дорожка скатертью. А Леха наелся клубники, молока еще выпил и солидно сказал:

— Тетя Алиса, ты за деда Егорыча не ходи. Знаешь какой он сморщенный.

Только теперь Алиса, казалось, поняла, о ком разговор, и расхохоталась.

— Так это за него Саня меня сватает? Ох, ~~лень~~ ~~трухлявый~~, чего задумал-то? Да я лучше в вир головой! Ох, батюшки!

Глаза у Алисы были черные, как смородины, и смеялись весело, а потом заплакали.

— Кто мне люб, Лешенька, никто об этом не ведает. И сам он в первую голову.

Лехе хотелось спросить: а кто это, кто? Но Алиса уже заторопилась — коров доить ~~надобно~~. Она попробовала уйти, но Натка уцепилась ей за шею, уговаривала:

— Тетя, не пачь, не пачь.

— Ну, ладно, не буду, не буду, моя хорошая.

А Лехе приказала:

— Ты матери-то не говори, что у меня были, а то заругается.

— Вот еще, — сказал Леха, — если все ей говорить...

Когда они с Наткой снова вышли на улицу, настроение у обоих было прекрасное. А что им еще надобно: сыты, напоены, солнышко светит. Вот только отца они так и не нашли. Наверно, все-таки обманул Леху, один в лес ушел. Один или со Стригунком. Может, снова саженцы сажать повезли?

Леха удивлялся: и так деревьев кругом полно, а отец еще подсаживает — зачем?

— А затем, сынок, что о будущих людях думать надобно. Вот мы помрем, а лес все равно будет расти — память живая.

Леха не понял — как это мы помрем? Но спрашивать не стал, а отец тоже промолчал, он вообще не любил много говорить. Молчал и молчал, и Леха знал почему: в лесу целый день, с кем там поразговариваешь? Разве только с кукушкой? Кукушка-кукушка, покукуй мне в левое ушко...

За кустами калинника он услышал чей-то смех и двинулся прямо туда, потому что сразу сообразил: так смеяться, захлебываясь, как от щекотки, могла только Галина.

Под кустами валялся мотоцикл.

«Ага, значит, и Виталька здесь. Тогда надо удирать. Сунешься — сразу отлупят. Но куда ж Натку?»

И Леха подтолкнул к кустам:

— Иди, там няня.

Натка стала на четвереньки и отважно двинулась за кусты. Тотчас же оттуда выскочил Виталька.

— А, это ты, Леха. А я, понимаешь, на работу опаздываю.

Следом за ним из-под куста вылезла и Галина и как ни в чем не бывало запела сладким голосом:

— А Наточка, а деточка, я так по тебе стосковалась.

Виталька уже завел свой мотоцикл и нетерпеливо ждал, пока Леха куда-нибудь отвернется. Лехе что, он отвернулся, и Виталька не ходу чмокнул Галину в губы.

Когда Виталька уехал, Леха молча, исподлобья уставился на Галину, и она не выдержала:

— Ну что зенки свои вылупил? Во — филин лесной. Я разве виновата, что он меня любит?

«Как собака палку», — сказала бы мама, а Леха не сказал. Он знал, какие у Галины длинные руки, чуть что — и засветит по затылку. Так что лучше с ней не связываться. К тому ж он был рад, что избавился наконец от Натки. Та уцепилась Галине за подол и, будьте

уверены, теперь не отпустит. А Лехе — свобода. Подумать только — свобода на целый день до вечера. А с другой стороны — чем заняться, как этот день прожить?

— Ничего, придумаю, — сам себе сказал Леха и направился домой; хоть сапоги обуть, если в лес двинуться. — Ладно, раз папка меня не взял, я сам его найду в лесу.

Но, к его удивлению, отец был дома. Мало того, еще и ругался с Саней Маленьким. Вернее, не он ругался, а Саня Маленький на него наступал, кричал, грозил в суд подать. Отец усмехнулся:

— За что в суд-то?

— А за то! — Бригадир прыгал перед ним, высоким, худым, пытаюсь ухватить хоть за самую нижнюю пуговицу пиджака. — За то, что ты моих баб опять в лес сманиваешь!

— Да не сманиваю я. Погоди ты, не суетись. — Отец был настроен миролюбиво. — Осталось тыщи две досадить. Саженцы кончаются.

— А в колхозе работать за них — дядя? Нет, Мишка, шалишь, кончилось мое терпение. Я, можно сказать, из кожи лезу, хозяйство веду, а он только свистнет — все мои бабы к нему на посадки. Это разве порядок?

— Не порядок, нет, — засмеялся отец, — а отчего так? Не знаешь? Оттого, что государство с ними сразу расплачивается. Заработал — получи. А ты за три месяца уже задолжал и невесть когда рассчитаешься.

— Так ведь не я. Колхоз задолжал. С меня взятки гладки.

— Вот в том-то и дело, что каждый оправданье имеет: не я виноват, моя хата с краю. А раз ты бригадир, то должен с председателя спросить!

— «Должен, должен»! — передразнил его Саня. — А ты мне что за указ? Я сам тебя, если хошь, к любой стенке прижму.

— Меня?

— Тебя.

— Ты?

— Я.

Отец смеялся, но Леха заметил, как в глазах его, узких, кошачьих, загорелись зеленые огоньки, и это было не к добру. Правда, отец тут же и смирил себя, спросил добродушно:

— И что ж ты мне сделаешь, бригадир?

— А то! Сотки отберу — по миру пойдешь.

Отец перестал смеяться.

— Сотки отобрать не имеешь права.

— Имею! Раз не колхозник — сотки долой.

— У меня жена всю жизнь в колхозе.

— Жена не в счет. Жене мы оставим, а твою долю — даешь!

— Знаешь что, — сказал отец, — некогда мне с тобой басни баять. Иди ты, откуда пришел. Меня вон сын ждет.

Но так как Саня все еще мельтешился перед ним и грозил запечь туда, куда Макар и телят не гонял, отец не выдержал и расхохотался прямо Сане в лицо:

— Не дорос ты еще, Санечка!

Этот намек был для Сани смертельной обидой. Он весь побелел и вытянулся перед отцом, как перед генералом, а Леха еще подумал — сейчас честь ему отдаст. Но Саня честь не стал отдавать, а выхватил из кармана блокнот и ручку.

— Так, — сказал он, и голос его был как неживой, — так и запишем. «Тринадцатого июня, в воскресенье, в семь часов сорок минут утра лесник Михаил Старков оскорбил бригадира колхоза «Красный застрельщик» при исполнении им служебных обязанностей». Свидетели есть? — обернулся он. Но так как свидетелей не было, один Леха стоял столбом посреди двора, Саня хлопнул блокнот, сказал с угрозой: — Я теперь тебя, Мишка, и без свидетелей упеку. Теперь ты уж у меня ни в жисть не отвертишься. — И вдруг закричал: — Эй, люди, люди! Рятуйте — бьют!

На его крик прибежали с фермы доярки, и мать, не разобравшись, в чем дело, тут же накинулась на отца:

— Ты что это, а? Нашел с кем — с дураком связался? Да у него знаешь сколько по свету дружков? Рука руку моет. А у тебя? Один-единственный друг — лес дремучий. Ну, и ступай к нему. Собрался и топай! У, дурень, башка садовая!

Доярки решили помочь матери и тоже стали кричать, кто на Саню, кто на отца, и только Алиса стояла, как воды в рот набравши, тихая и печальная. Отец тоже молчал, лишь глядел куда-то поверх голов, в небо, и была у него в глазах такая тоска, что Леха понял: в лес ему пора, в лес, в болото, куда-нибудь, только б подальше отсюда.

Леха так остро почувствовал его тоску, что даже зажмурился, как от резкой боли. И тотчас же — вот чу-

до! — затихли все голоса, исчезли все люди — синий-синий свет разлился вокруг, как от камня со дна вира, и уже из этого синего снова стали возникать голоса, хоть были они совсем не похожи на те, которые он только что слышал. И тоже из синего встал Саня Маленький и сказал тоненько:

«Ты прости меня, Михаил, зазря я погорячился. Никаких соток я отбирать у тебя не буду, да и в суд не подам. Зачем ты мне сдался?»

И доярки тоже загудели ему вслед:

«Михайло Иваныч, прости нас; не кори и становись лучше у нас бригадиром. Хватит нам мучиться с этим недородком. Покомандуй ты нами, ведь, знаем мы, ты мужик справедливый».

Отец слушал их и слегка улыбался, словно никому не верил. Может, и поверил бы он одному человеку — Алисе, но та молчала. И тогда стало вдруг Лехе страшно. Он не знал почему, а страшно. Словно нырнул на дно вира, а **вынырнуть никак не может**. Сердце забилося у него, забилося, как у цыпленка, и Леха открыл глаза. Сначала он даже не понял, где он и что с ним, но все было так, как и было. Кричали доярки, яростно, наперегонки, и **Саня прыгал перед отцом, потрясая своим крохотным кулачком, а мать плакала. Леха протиснулся к матери, прижался к ее ноге и попросил, как Натка:**

— Мам, не плачь. Чего ты?

Потом взглянул на отца. Тот все так же молча стоял, глядя в небо, а тут мотнул головой, как конь, когда из узды рвется, и пошел, не разбирая дороги, на дойрок, на Саню Маленького. **Все расступились перед ним,** и остался на дворе один Леха. Отец подошел к нему, взял за руку и сказал:

— Пойдем. Я ведь в лес тебя взять обещался.

* * *

Леха и раньше уже много раз бывал в лесу, и один, и с отцом, но сегодня он **шел по лесу и удивлялся, будто в первый раз его видел**. Смотри-ка, деревья тоже как люди. Дубы, будто мужики, крепко стоят на толстых ногах, ветки высоко в небе полощут, березки чуть ниже, что бабы, — махонькие, зябкие, руки тонкие, к земле опущены, а под дубами и березками — папоротники — дети малые.

Куда они шли с отцом, Леха не знал, а только знал,

что шли к солнцу. И в самом деле, солнце в лесу — рукой достать. Протянуло лучи свои между веток и держится, оторваться от земли не хочет.

«Вот бы ухватиться за луч, — думает Леха, — да и взобраться по нему на небо, а оттуда как крикнуть»: — Эёй, люди добрые! Я вас вижу, а вы меня нет!

Отец укоризненно смотрит на Леху, и черные густые брови его недовольно сходятся на переносице.

— Ты что кричишь? Лес крикунов не любит.

И опять они долго идут молча, думая каждый о своем, пока Леха наконец не выдерживает.

— Пап, а пап, — спрашивает он, — а как ты думаешь, Саня и родился таким?

— Каким «таким»?

— Ну, маленьким.

Отец немного помолчал, словно не знал, что ответить.

— Маленькими, сынок, все рождаются. Только потом жизнь одних в рост гонит, а других к земле гнет. Думаешь, и ему сладко всю жизнь тремя бабами командовать?

— А тебе? — спрашивает Леха.

— Что мне?

— Не скучно бывает в лесу? Целый день-то?

— Нет, — смеется отец, — в лесу весело.

Отец ходит в лес не просто так, а на работу — это Леха знает, только какая ж это работа, думает. Работать — это косить, лен брать, коров доить, а он ходит по лесу, и все. То вешку зачем-то поставит, то указатель к столбу прибьет. А то остановится возле какой-нибудь осинки, ухо к стволу приложит, послушает, а потом ладонью погладит, словно она его знакомая. На Лехин глаз, так все деревья в лесу одинаковые, а отец каждое что ни есть деревце знает, молодое оно или старое, здоровое или **больное**. Завидует Леха отцу: вот бы и ему так, и просит:

— Пап, научи.

А отец смеется, не учит, только **говорит**:

— Гляди.

Леха во все глаза глядит, но ничего такого не видит, видит только, что отец зарубки на тех деревьях ставит, где дятел долбит. Поставит зарубку и скажет:

— Спасибо, дружок.

— Кому это ты спасибо говоришь? — удивляется Леха.

— Дятлу. Он ведь мой помощник.

— Как это — помощник?

— А так. Дятел будто насквозь дерево видит и сразу мне знак подает. На здоровое он ни в жизнь не сядет, а больное со всех сторон обстучит. Как доктор.

«Чудно», — думает Леха и спрашивает:

— А если два дня и две ночи идти, лес кончится?

— Кончится, сынок, кончится.

А Лехе кажется, что лес по всему белому свету тянется, ни городов, ни деревень, один только лес — дремучий, страшный, и он пугается:

— Пап, ты где?

— Тут я. Чего кричишь?

Он стоит возле толстой смолистой сосны и, придерживая рукой кепку, смотрит вверх. Леха тоже поглядел вверх, а сосны-то и нет: один ствол из земли торчит, а верхушку с сучьями как ножом срезало.

— Кто это ее так? — спрашивает Леха.

— Молния покорежила. Придется теперь такую красоту на дровишки пустить.

— Хорошо, — соглашается Леха, — а то у деда Егорыча совсем дров на зиму нету.

— Ишь ты, — говорит отец и треплет сына по стриженной голове, — жалостливый, как мать. Да больно лют твой дед. Все ему не по нутру, с утра до ночи ругается.

— Да не ругается он. Дед говорит, что это он свою обиду на жизнь ругней выгоняет.

— Ну, ладно, ладно, скажи ему, пусть забирает сосну. Мне не жалко.

«Теперь уж непременно дед Егорыч женится, — вспоминает Леха, — сам же говорил: только б дровишками запастись, а там и за свадьбу».

Но он молчит, не говорит отцу про это, а только спрашивает:

— Пап, а пап, а правда она красивая?

— Кто?

— Тетя Алиса, кто ж еще?

Молчит отец, будто не слышит **вовсе**. Леха уже заметил: он часто так, его о чем-нибудь спросишь, а он не отвечает и только потом, когда уже забудешь, о чем спрашивал, ответит:

— Правда.

И еще Леха заметил, что в лесу отец добрее. Дома и то ему неладно, и это, хоть и молчит, только брови лохматятся, сдвигаются к переносице, а как придет в

лес, так сразу не тот человек: лицо доброе, глаза синие. Вот странно, дома — серые, в лесу — синие.

Они с отцом шагали бойко и отмахали небось верст с десять, но солнце все равно обогнало их: оно поднялось уж высоко-высоко в небе, теперь до него и на ракете не добратся, и оттуда, с высоты, безжалостно жгло головы, даже тень не спасала, потому что лес потихоньку стал редеть, пока не исчез весь сразу. Оглянулся Леха — на поляне стоит, а через поляну дорога.

— Передохнем, что ли? — спросил отец, и Леха тут же почувствовал, как заломило у него под коленками. С устатка.

Они выбрали место повыше и сели. Отец расстелил газету и выложил на нее лук, хлеб, сало. Леха только облизывался. И тут загудела машина. Она выскочила прямо из леса и пошла колесить, не разбирая дороги.

— Сам едет, — сказал отец, и Леха понял: председатель.

Машина резко затормозила, и председатель не вышел, а как-то вывалился из нее. Был он толстым, коротконогим, а когда снял шляпу, то Леха увидел, что и голова у него как мячик — круглая и голая.

— Здорово, леший! — сказал председатель и протянул отцу руку. Отец улыбнулся.

— Здоров будь, Иван Захарыч.

Председатель придирчиво оглядел разложенную на газете еду.

— Хорош у вас стол.

— Не побрезгуйте и вы нашей хлеб-солью, — предложил отец.

— Не побрезгую.

Он присел рядом на кочку, азартно потер рукой об руку, потом щелкнул пальцем по горлу.

— А это?

— Не употребляю, — сказал отец.

Председатель не поверил:

— Печенкой, что ль, страдаешь?

— Нет, здоров. Просто не приучен.

Председатель захохотал, причем Леха заметил, что хохотала у него лишь правая сторона лица и правый глаз хохотал, левый же был серьезный и неподвижный.

— Слушай, — отхохотавшись, сказал председатель, — давай меняться: ты в председатели, а я вместо тебя в лесники.

— Зачем? — спросил отец.

— Работенка у тебя подходящая. Ни начальства, ни подчиненных, сам себе голова.

— Начальства хватает, — сказал отец и засмеялся, — без начальства какая ж работа? Только мое начальство руководство по телефону осуществляет. А в лес ни ногой.

— Что так? — заинтересовался председатель.

— Да комарья, видать, боится.

Теперь уж председатель захохотал так, что хлеб из руки выронил. Отец тоже тихонько посмеивался, глядя, с каким аппетитом уплетает председатель сало с хлебом и луком. Да еще похваливает:

— Ну, и угостил ты меня, леший, век помнить буду.

Он уже собрался уезжать, да вдруг раздумал:

— А правда, леший, иди ко мне в бригады. Мне позарез непьющие мужики нужны.

— А Саня Маленький как же?

— Об нем не толкуй. И для него дело найдется. А ты мне нравишься, леший.

— Я не девка, чтоб нравиться.

Отец поглядел в небо, и глаза у него засинелись.

— Спасибо на добром слове, Иван Захарыч, а только без лесу мне не прожить. Пуповиной прирос.

— Отрежем пуповину. Ты сколько тут получаешь?

— Семьдесят пять.

— А у меня по две сотни будешь зарабатывать.

Отец нахмурился:

— Разве в деньгах дело?

— А в чем?

— Не знаю, — подумав, сказал отец, — а только кто-то и в лесу должен жить. Для равновесия сил в природе.

— Для равновесия?.. Ишь ты...

Председатель зевнул и откинулся на траву:

— Хорошо-то как... Тишина...

Лехе давно хотелось спросить у председателя, отчего у него один глаз веселый, а другой грустный, но он стеснялся. А тут председатель и ремень расстегнул, и сапоги снял, будто дома на печку забрался, и Леха наконец решился:

— Дядь председатель, отчего у тебя один глаз смеется, а другой не смеется?

Отец дернул Леху за ухо, дескать, не твое дело, но председатель ничуть не обиделся.

— А это я их так приучил, — сказал он и подмигнул Лехе.

— Зачем?

— А чтоб перед начальством не сплеховать.

И снова подмигнул Лехе. А отец предложил:

— Соснули бы часок, Иван Захарыч.

— Хорошо бы, — потянулся всем телом председатель, — да в третью бригаду надо наведаться. А как тут у вас Саня Маленький, не озорует? — вдруг спросил он.

— Я не доносчик, — отвернулся отец.

Председатель уже стал надевать сапоги, но один сапог надел, а с другим так и заснул. Повалился на бок, шляпу под себя подмял. Отец осторожно вытащил шляпу и прикрыл ею голову председателя — от солнца.

— Это его на войне, сынок, так изувечило, — пояснил он Лехе.

Пока председатель спал, Леха старался понять: хороший он или плохой? Решил — хороший. Жаль только, что отец не нажаловался ему на Саню Маленького. Зато, что в суд грозился на него подать. Уж председатель приструнил бы Саню, совсем с бригадиров снял, а поставил бы отца. Переехали бы они на Центральную усадьбу, и Леха каждый бы день в кино ходил. А то за всю свою **жизнь только и был два раза в кино**. «Чапаева» смотрел и «Осторожно, бабушка». Чапаев, правда, понравился, а бабушка нет — на мужика смахивает. Разве ж такие бабушки в жизни бывают? Вот бабка Аксинья, например, из двух щепок сложена, две щепки, а посередке — рот.

Долго так выговаривал Леха председателю, все обиды свои ему высказал, а тот спал себе и храпел даже, будто мотор заводил. Крутнет ручкой, схватится мотор и заглохнет враз, потом снова заводит.

— Пап, а пап, — спросил Леха, — а это правда, что у председателей усы не растут?

Молчит отец, спит, наверно. Леха помолчал, помолчал и тоже заснул. А когда проснулся, то ни председателя, ни отца не увидел.

— Папка! — **закричал он в страхе**. — Куда ты ушел, меня ж волки съедят.

— Не съедят! — Отец вышел из-за куста, в руках у него был кузов, полный сладкой прошлогодней клюквы. — На-ка, попробуй.

— Не, лучше Натке, — сказал Леха, — она ж маленькая.

Обратная дорога к дому показалась Лехе куда короче. Да если б еще не волчата. Поглядел Леха, а у ста-

рой елки щенята дерутся. Раз, раз друг дружку лапами, все морды расцарапали. Он подбежал и стал их размирать.

— Цыть вы! Чего не поделили?

Щенята рычали и рвали друг у дружки клочья шерсти. Когда Леха присоединился к ним, они стали срыывать с него штаны. И тут отец как налетит на Леху:

— Ты что, не видишь? Это волчата! Скорей убегай, а то волчица заявится.

Они отбежали шагов на двадцать, и отец сделал на сосне отметину.

— Завтра с ружьишком нагряну.

— А меня возьмешь? — с надеждой спросил Леха, но тут же вспомнил про Натку и про то, что воскресенье уже кончается, а с ним и его свобода.

— А почему ты сегодня ружье не взял? — укорил он отца, хотя и знал почему. Забыл отец про ружье. Тут не только ружье, а как самого себя звать, позабудешь, если бригадир Саня привяжется. До чего ж липучий, как муха.

«Ладно, ладно, — мечтает Леха, — вырасту я, тоже лесником стану. Или председателем. А может, летчиком? Вон как высоко летают они, как птицы, и хоть бы им что. Даже небось голова не кружится. Сидят в самолете и папиросы покуривают». А у него однажды и без папирос голова закружилась. В прошлое воскресенье. Залез Леха на сосну, как глянул вниз, а отец маленький, как Саня. Чуть с испугу наземь не свалился. Хорошо, что отец снизу крикнул:

— Держись!

А когда спустился с сосны, отец в глаза заглянул, пристыдил:

— Эх ты, а еще хочешь синий камень достать.

И откуда только ему про синий камень известно, ведь Леха никому не трепался.

Спустились в лощину и угодили прямо к кринице. Вокруг сырое болотце, а посередке родничок бьет, как фонтан, даже брызги разлетаются. Леха напился криничной воды, и идти стало куда веселее. А еще возле пня он поймал ежика, засунул его за пазуху, ежик катался под рубахой, царапал пузо, и Леха не хотел, а смеялся. Из-за ежика он и отстал от отца, а теперь догонял, потому что подходили к дому, и Лехе хотелось по деревне пройти вместе с отцом. Пусть все видят, как шагают мужики с работы, устали, умаялись, есть хотят,

но идут бодро, нога в ногу, как солдаты в строю. Правда, никто им не встретился. Деревня была пустыня, как вымершая. Но Леха не унывал. «Зато в окна небось все глядят. Глядят и завидуют: вот так работнички».

И только уж когда во двор вошли, почуяли что-то неладное: визжал в хлеву поросенок, Красуля мычала недоеная.

— Ты чего, пап? — быстро спросил Леха, потому что почувствовал, как дрогнула рука, за которую он держался.

С крыльца, растрепанная, заплаканная, навстречу им сбежала Галина. Она раскрывала рот, ловила им воздух, а слов не получалось.

— Говори! — крикнул на нее отец, хотя раньше никогда не кричал.

— Матерь... в больницу... надорвалась...

— Как надорвалась? — не понял Леха...

— Силос из ямы тащила, а внутри у нее что-то и... лопнуло.

Леха, как стоял, так и сел на крыльцо — у него тоже внутри будто лопнуло что-то.

* * *

— Рак, рак, — расползлось по деревне. — Слыхали, бабоньки, у Верки-то Старковой рак объявился. Только, вишь ты, он до поры тихонько сидел, спрятавшись, а как она надорвалась, тут и выполз. Сам главный-преглавный профессор смотрел, всю, как есть, чистенько обследовал — не нашел. Потому что рак-то, вишь, не простой, а ползучий. Вот он и ползет по всему телу, разве его обнаружишь? А как в горлу доползет, тут и конец.

Леха не понимал: говорят с таким страхом, а разве раки страшные? Смешные только: задом наперед ползают. А когда их ловишь под корягами, они от злости шипят, клешнями за пальцы хватаются. Выбросишь на берег, они и разомлеют от страха, боятся даже усами шевельнуть. Леха поймал вчерась сорок раков, приволок домой, а отец только взглянул на них и отвернулся. А, бывало, так любил их, сам с Лехой ловить ходил, сам варил в крутом кипятке и добавлял зачем-то крапивы, и раки получались красные, как огонь, а глаза что фары.

Теперь Лехе пришлось самому раков варить, и они у него вышли не красные, не черные, а буро-малиновые. Даже есть противно. Он съел три рака, а остальных поросенку в корыто, тот все слопает.

Леха тосковал. По матери: сколько уж дней прошло, а она все не является. По отцу: он хоть и каждую ночь дома, а будто и не отец вовсе. Брови с переносицы и не расходятся, а глаза — хмурые, серые. Встанет с постели, ружьишко за плечи — и в лес. И Галина из города не приезжает. Приходится Лехе самому все делать: и поросенка, и Натку кормить. Бывает, тетя Алиса забежит, схватит Натку и унесет с собой, а Леха и радуется — все меньше забот-хлопот. С утра и до вечера работы по горло: и Красулю выгнать, и курям хлеб крошить, и картошки сварить, о том, чтоб на речку сбегать, уж и говорить нечего.

Леха уже счет дням потерял — когда воскресенье, когда еще что. И вдруг под утро затрещал мотоцикл: Виталька. А с ним и Галина. Подарков понавезла: отцу — рубашку и галстук, Натке — шапочку с ушками, а Лехе — петухов на палочке. Расхвасталась:

— В магазин устроилась.

— А институт как же? — спросил отец.

— В наши дни лови там, где ловится. В институте пять лет на сухом пайке, да и после института еще неизвестно сколько получать буду, а я уже сейчас сотнягу имею.

— Так что ты — с жуликами связалась?

— Ой, батя! Окстись! Магазин как магазин. Только там все товары на доллары, понимаешь? Валюта.

Отец усмехнулся:

— Ох, и ловка врать-то. Где только и научилась?

Галина нахмурилась.

— Ей-боженьки, правда. Ну, конечное дело, наш магазин не для всяких там...

— А для кого же? — спросил отец, все еще усмехаясь, не веря.

— А для иностранцев! Да что ты меня все вынытываешь? — рассердилась Галина. — Мое дело двенадцатое!

Отец потоптался перед Галиной, ушел во двор, а во дворе все ходил, сам с собой разговаривал.

Потом он вернулся в лату, достал из шкафа рубашку с галстуком, вернул Галине.

— Возьми-ка, — сказал он, — совесть-то у меня покамест что русская.

Галина так и хлопнулась на диван.

— Ты у нас, папахен, в прошлом веке живешь. Взгляды у тебя какие-то допотопные.

— Все равно, — сказал отец и крикнул в окно: — Леха!

Леха всунул в дверь стриженую, круглую, как тыква, голову.

— Отдай и ты свой гостинец, сынок.

Леха моргнул и заплакал.

— Ты чего? — спросил отец.

— А я его съел, — сказал Леха.

— Эх, папка, папка, — вздохнула Галина, — сам чудик и детей чудиками воспитываешь. А ведь им в нашем веке жить, не в твоём. Ты думаешь, им легче с твоими-то взглядами жить будет?

Она стала растапливать печку, а Леха вышел с отцом во двор.

— Пап, ты куда?

— Стригунка надо напоить.

— И я с тобой.

— Неси уздечку.

Леха принес и только хотел взобраться на Стригунку, как увидел Витальку. Сидит на завалинке и прутик ломает, а тот не ломается — гнется лишь. Леха подошел к нему и сел рядом. Так они немного посидели, и Виталька спросил:

— Значит, погода, говоришь, нелетная?

Виталька росточком был маленький, но сильный — страсть, и прутик все же сломал. Отбросил подальше в картоху.

— Вот в том-то и дело, браток.

А Леха спросил:

— Виталь, зачем тебе летная погода? Что, у тебя самолет есть?

— На крыльях бы полетел.

Но Леха не поверил, усомнился:

— А где бы ты крылья взял?

Витальке и говорить нечего. Правда, может, он потому замолчал, что Галину увидел. Галина мыла полы и выскочила на крыльцо в рубашке и в юбке. Виталька покраснел, а ей хоть бы что, выплеснула из ведра грязную воду прямо ему под ноги и спросила:

— Ну, что глядишь? Не видал, что ли?

Так они стояли друг перед другом, как последние дураки, и молчали — Лехи небось стеснялись. Лехе что, он лишь усмехнулся криво, взял веревку и пошел Красулю перевязывать. Красуля была стельная, вымя чуть не по земле волочила, и в стадо ее не гоняли, а пасли

возле речки — навязывали. Обьест Красуля траву вокруг себя, потом Леха придет и перевяжет на другое место. Красуля терпеливо ждет, пока он с веревкой возится, затем — раз, и лизнет его по голове. Язык шершавый, даже щекотно делается.

— Иди, Красуля, пошла, проклятая.

Но она-то хорошо знает, что не проклятая, а наоборот, все ее любят, молочка ждут, ухитрится и снова — раз языком по макушке.

«И за что только ее Красулей прозвали? — думает Леха. — Один рог к самому уху закорючился, другой и вовсе сбит, красной тряпкой замотан, зато на лбу белое пятнышко, как звездочка».

— Красуля, Красулечка, — гладит он ее по морде, — скоро у тебя телочек родится?

«Скоро, скоро, — мычит Красуля, — погоди чуток».

На обратном пути Леха решил завернуть к виру, но раздумал — холодно. А может, Виталька на мотоцикле покатает? Если он еще не уехал. Оглядел двор — нет, не уехал, мотоцикл у забора валяется. Ну, Леха не стал им мешать, пускай одни полюбуются, открыл ворота и — шмыг на сеновал. Растянулся на сене — хоть отдохнуть чуток — и вздрогнул: услышал в углу возню. Приподнял голову: Виталька с Галиной. Вот незадача — он от них, а они за ним, так кто, выходит, за кем бегают?

Леха замер, чтоб не заметили, а то еще отлупят как сидорову козу. Но Витальке с Галиной было не до него: они тяжело дышали, словно в футбол гоняли. Потом Галина сказала:

— Пусти.

— Не любишь? — Голос у Витальки был хриплый, придавленный.

— Значит, не люблю.

— А раньше любила? Помнишь, у родничка? Звезды светили...

— Светили, да погасли. Пусти!

Виталька долго молчал, только курица как закудахтала — рада, что яйцо снесла.

Из-за курицы Леха и не услышал, что говорил Виталька, а что Галина кричала — услышал:

— Ну и нашла! Нашла! А кто ты мне, чтоб спрос держать? Кто? Кто?

Курица все кудахтала, но теперь уже и Виталька кричал, не боялся, что его услышат:

— Замолчи! А то!..

— Что «а то»? Что? Сам видишь, разошлись наши стежки. На все четыре стороны.

Курица наконец замолчала, а Виталька сказал:

— Не узнаю я тебя, Галина. Раньше такой не была.

— Какой такой?

Галина и не думала сдаваться.

— Злой. Даже глаза зеленые стали. Как у кошки.

Галина вздохнула:

— Эх, миленький. Жаль мне тебя. Ничего ты не видишь, не знаешь. А я потому такая, что жизни настоящей хлебнула. Да, да, не смейся. Я, может, раньше только в книжках про такое читала. А теперь у нас в общежитии и газ, и ванна, и душ, и танцы каждый день. Придешь с работы, раз-два, только спичку торкнешь — ужин готов, потом в ванну залезешь, грязь с себя смоешь, будто на три года помолодела.

— А то ты старуха.

— Двадцать первый пошел. А жить когда? Я знаю, отец на меня косится, а что, если мне наши Старики поперек горла встали? Свету и того нет. Линию далеко тянуть — из-за восьми дворов невыгодно. А что в этих восьми дворах люди живут?! Люди! Эх, горюшко... И ты меня снова в деревню тянешь.

— Но ведь у нас, на Центральной... Телевизоры в каждой хате.

— А ванна есть? — спросила Галина.

— Далась тебе эта ванна! Лезь в Дымку — купайся.

Галина снова вздохнула:

— Не понимаешь ты. Ничегошеньки не понимаешь. А хочешь, чтоб любила.

На дворе заржал Стригунок, и Леха слез с сеновала. Ему надоело.

«Что, в самом деле, — думал он, — ванна ей нужна. А мотоцикл? Мотоцикл лучше ванны. Садись и лети куда хочешь. Так нет, и с мотоциклом Витальку не любит. Никого она не любит. И маму тоже. Даже не вспомнила про нее. А ведь в городе была, в больницу ходила».

Отец запрягал Стригунка, а тот не давался, не вставал в оглобли, и все тут. И небо было хмурое, грязное. Леха спросил:

— Пап, а пап, ты куда, ведь дождь скоро?

— Ничего, только жердей привезу, может, управлюсь.

— А зачем жерди?

— Посадки огородить. Коровы весь молодняк затоптали.

Не успел отец уехать, и хлынул дождь. Леха даже вслед ему выбежал, может, вернется. Нет, не вернулся, жерди ему дороже, зато вымокнет весь, и Стригунок тоже. Леха сел под крышу и стал глядеть на дождь, как он со стрехи капает. Соберется на солоmine большая-большая капля и — шлеп в лужу, только пузыри во все стороны, как пауки, разбегаются.

— Эх, была б мама, блинов бы спекла. Со сметаной.

И тут Леха вспомнил: а что, если зажмуриться? Ведь тогда, в воскресенье, стоило ему только зажмуриться...

Сначала было темно, как на дне вира, потом что-то засветилось в темноте, какая-то точка, стала шириться, расти, все ярче, ярче, и Леха почувствовал: издалека-издалека идет к нему мама. На голове у нее платок, а в руках белый узелок с гостинцами. Она развязала узелок и дала Лехе пряник, а потом обняла его и поцеловала. И от ее мягких, теплых губ, от легких ласковых рук так Лехе стало приятно, что он засмеялся и смеялся долго-долго, а потом спросил:

«Мам, ты скоро домой придешь?»

«Скоро, сынок, вот сено сгребу и приду».

Леха удивился:

«А разве в больнице тоже сено косят?»

«А как же? Не будем сено косить — подохнут коровы-то».

«Ты не волнуйся. Мы с папкой накосим».

Мать стояла у плетня и глядела на Леху, а он не мог понять — грустная она или веселая.

«А Натка где?» — спросила она.

«Спит еще. — И снова повторил: — Ты не волнуйся, Натка жива-здоровая. И Галина тоже. И я. Вот только папка...»

«Что он?»

«Я вчера пошел поросенка кормить, а он стоит в хлеву и плачет».

«Чего ж это он плачет?»

«Не знаю. Наверно, тебя жалеет».

«Раньше надо было жалеть!»

Леха даже вздрогнул — так мать это сказала, как будто плетью хлестнула, — и открыл глаза. Дождь уже прошел, и по всему небу растянулась радуга. Один ее конец в тучу ушел, а другой радуга в вир опустила — водицы напиться. Вода после дождя-то теплая. Леха перевел глаза на плетень — никого. Только ведь тут

стояла и разговаривала — и вдруг нету. Лёха хотел заплакать: мам, ты где? Но тут дед Егорыч окликнул его:

— Лех, а Лех, подсоби-ка.

Дед Егорыч достал из колодца воду и никак не мог ведро на крюк нацепить — пальцы не слушались. Леха помог ему и спросил:

— Жениться, дед, когда думаешь?

Дед Егорыч закашлялся:

— Так ведь не идет, бесовка. Стар, говорит. А вот, Лех, на твой взгляд, можно мне годков пятьдесят дать?

Леха поглядел на деда, какой он маленький, ссохшийся, и охотно дал ему пятьдесят годков.

— Ну вот, — обрадовался Егорыч, — а она брезгует. Да за такого молодца, как я, кто хошь пойдет!

Когда дед Егорыч ушел, Леха решил навеститься на ферму. Кроме матери и Алисы, на ферме работало еще три доярки: Лида, Аннушка и тетя Ксения. Они уже заканчивали дойку.

— А я вчерась из магазина иду, — рассказывала между дел тетя Ксения, — вдруг из-за куста вжик — Саня Маленький.

— Ой, девка, с Саней ухо держи востро, а то еще принесешь, как «моя молодуха», парочку.

— Тьфу на тебя. Мало мне своих-то?

— Мало не мало, а узелком не завяжешь.

— Да нет, он по делам. Уговаривал Верки Старковой группу взять.

— А ты?

— Сказала: ты свою молодуху поставь!

— Молодец. А он?

— А он мотоциклу свою завел и скорей наутек.

Коровы мычали, не хотели из теплых хлевов уходить, но доярки торопились:

— Пошли, пошли, ишь, разнежились.

Вслед за коровами ушли и доярки. Леха остался в хлеву один и теперь мог делать все, что хотел. Захочет — в футбол погоняет, захочет — на луну полетит. Хлев — как аэродром, а кормобак — как ракета.

— Внимание! Приготовиться! Старт!

Однажды Леха чуть и в самом деле не улетел. Началась гроза, а он в силосной башне сидел. Молния как ударит в башню — искры кругом, а Леху так и вышвырнуло наружу, как щепку какую. Он не успел и опомниться — уже на земле лежит, приземлился, стало

быть. После этого Леху в силосную башню и силком не затолкнешь, а на крыше зато аисты поселились, гнездо свили и живут.

Леха вышел аистов поглядеть, но их не было — улегели корм добывать, и тут он вспомнил про синий камень: «Может, сегодня достану? Тогда Галине отдам, чтоб матери в больницу свезла — все ж ей веселей будет с синим камнем-то».

На воде играло солнце и брызгало ярко в глаза, и, наверно, поэтому он не увидел сразу машин, что стояли по ту сторону Дымки. А увидел уже, когда вынырнул, и даже про синий камень забыл. Что за машины? Откуда столько? И что страннее всего, не машины, а будто хаты на колесах, с окошками, с занавесочками. В тени первой хаты лежал шофер, — Леха сразу определил, потому что руки в мазуте. Он, очевидно, спал — муха по носу ползла, — но только Леха подошел, открыл один глаз, а муха все равно ползла.

— О, абориген, — приветствовал он Леху, — ну, здорово, кореш.

— Здоров будь, — ответил Леха: шофер ему сразу понравился.

— Так это и есть деревня Старики?

— Ага.

— А ты, стало быть, местный житель?

— Ага.

— За «ага» поллитру не купишь. А кстати, магазин тут есть где поблизости?

— На Центральной.

— Далеко?

— Верст семь.

— Далековато.

Шофер вдруг резко поднялся и сделал на голове стойку. А Леха с удивлением увидел, что брюки у него были на гвоздиках. Самих гвоздиков, правда, не было видно, зато торчали повсюду от гвоздей шляпки.

— Умеешь так? — спросил шофер, стоя на голове.

— Не-а, — признался Леха, но тут же похвастался: — Зато я на пузе играть умею.

— Покажи.

Леха показал, но шофер даже не улыбнулся.

— Это что! — сказал он. — Я знал одного парня, так он языком ухо свое доставал. А ты попробуй.

Леха попробовал, не получилось.

— Ну, ладно, — примирительно сказал шофер, — не

у всякого такие таланты. — И помечтал: — Закурить бы!

— Давай сходим к деду Егорычу, — предложил Леха, — у него самосад есть.

— Самосаду не употребляю, — гордо заявил шофер. Он снова опустился наземь и закрыл глаза.

— Глухомань, — сказал он, — и как тут только люди живут?

— А что? — обиделся Леха. — У нас тут весело!

— От такого веселья и подохнуть можно.

Лехе стало жаль шофера, и он предложил:

— А хочешь, в вир нырнем, синий камень достанем.

— Зачем?

— Чтоб быть командирами.

Шофер засмеялся, взъерошил Лехе на голове волосы.

— Веди лучше меня к своему деду. Закурить страх как хочется.

По дороге Леха спросил:

— А вы зачем сюда приехали?

— Кино снимать. Натуру у вас тут нащупали.

— Какую натуру?

— Ну, печки разбитые. Не понимаешь!

Дед Егорыч встретил их с радостью:

— Заходите, заходите, не побрезгуйте. Сегодня ведь праздничек.

— У тебя, дед Егорыч, каждый день, считай, праздничек, — сказал Леха, потому что увидел: дед уже был навеселе.

— А ты погоды! — рассердился дед. — Слово я тебе не давал! Кыш под лавку!

Он предложил шоферу стаканчик, а сам пустился в философию:

— К примеру, почему я пью? От горькой доли одиночества, вот почему. Придешь домой, а в хате хоть волков гоняй.

Он бы и еще долго жаловался на одиночество, но шофер не дал ему разговориться: некогда, дедусь, на работе. Спасибо за угощение. И оревуар.

Леха проводил шофера к машине, и только тут они наконец познакомились. Оказалось, что шофера зовут Яшей, как и деда Егорыча.

— А у вас и вправду тут жить можно, — сказал Яша. Настроение у него явно повысилось.

По берегу Дымки возле печек сновали люди, протягивали провода, ставили прожекторы. Распоряжался

людьми один, весь лысый, но с густой черной бородой, как бог в углу у бабки Аксины. Бог держал в руках какую-то трубу и громко кричал в нее:

— Левей! Левей! А теперь правей! Да левей же, я говорю!

Лехе нестерпимо захотелось крикнуть в эту трубу, а он, сам не сознавая того, подходил все ближе и ближе к бородатому.

— Кто это? — спросил он у шофера.

— Режиссер.

Яша еще был под хмельком, но держался прямо.

— А зачем он в трубу кричит?

— Чтоб все видели, что он тут главный.

Это и без трубы было видно, по одной бороде, но Леха промолчал, решил поглядеть, что дальше будет. А дальше как грохнет что-то, как задымит, и тут над своей головой он услышал голос. Не голос, а рев:

— Мальчик, мальчик, чей мальчик? Уберите к чертовой бабушке! Хотя — стоп! Верный кадр.

Режиссер подбежал к Лехе, оглядел его с головы до ног, даже зачем-то в ухо ему подул, приказал:

— Загримировать! Одеть сиротой! Живо!

Лехе даже смешно стало. Он хотел сказать режиссеру, что он вовсе не сирота, у него и отец, и мать есть, и Натка, и Галина, и тетя Алиса, и дед Егорыч, но ничего этого не успел, потому что чьи-то быстрые цепкие руки подхватили его, содрали с него рубашку, штаны, вместо них какие-то лохмотья надели и еще сажей лицо вымазали. Леха отбивался как мог, а режиссер кричал:

— Хорошо, хорошо! Вот это натура!

И, когда Леху одели, приказал:

— Плачь!

Леха засмеялся.

— Что я — дурак?

— Плачь, плачь, — сказал режиссер, — видишь, война кругом, и деревню твою спалили, и мамку убили.

— Сам ты дурак! — рассердился Леха. — Мамка моя в больнице лежит и скоро домой придет. А я буду плакать?

— Нет, ты не понимаешь... — Режиссер отбросил свою трубу и заговорил тихо, чуть слышно, не говорил, а убаюкивал: — Ты кино про войну видел? Ну, вот. А теперь представь, что война не в кино, а здесь, в ваших Стариках. Фашисты летают, бомбы бросают, деревня горит вся, слышишь?

Он поднял руку и взмахнул ею — дескать, огонь!

А за кустом вправду как грохнуло!

Леха вскочил и побежал за куст — поглядеть. А что тут глядеть — одна печка за кустом, и то вся развалилась, и дымок еще вьется. Под ногами вдруг что-то пискнуло. Глянул Леха, а это воробьенок. Наверно, гнездо в трубе было свито. Воробья птенцов вывела и улетела за червяками, а тут и грохнуло. Воробьенка из гнезда вышвырнуло и крылышко оторвало. А он ничего не понимал и только пищал: мама, мама.

Леха поднял воробьенка и плюнул ему в рот, тот жадно глотнул и еще попросил: пить, пить. И вдруг глаза его стали закатываться. Леха плевал и плевал ему в рот, но воробьенок и лапки уже вытянул. И тогда Леха закричал:

— Мама!

Он не знал, звал ли он свою мать или воробьенкову, но слезы так и покатились у него из глаз.

— Ма-ма!

— Свет! Мотор! — закричал режиссер, и тотчас же Леху оглушило, ослепило, бросило вместе с воробьенком наземь. Леха ударился локтем о кирпич, и воробьенок выскользнул из ладони, а он пополз по земле, по кирпичам, по камням, цепляясь за них лохмотьями, и кричал:

— Ма-ма-а!

Когда съемка закончилась и режиссер плакал от радости и целовал Леху, он внезапно подумал: а отчего это он не зажмурился? И тогда бы не он, а сам режиссер с лысой головой и черной бородой, с черными волосатыми руками ползал бы по земле и кричал: мама! Вот дурак так дурак — забыл зажмуриться.

Он не понимал, за что его поздравляли и целовали и угощали конфетами, он думал только об одном — забыл, забыл, забыл... Шофер Яша, проводив Леху домой, пригласил:

— Приходи завтра, кореш.

— Что я — дурак? — сказал Леха.

Яша уже перекинул через перилку ногу, чтоб не сойти, а спрыгнуть с крыльца, да так и замер на месте — нога повисла в воздухе.

— Кто это? — подмигнул он Лехе.

Леха проследил его взгляд и пояснил:

— Корова. Красулей зовут.

— Вот недоросль. — Яша поправил на голове берет. — Кто под коровой, спрашиваю?

— А, это сестра. Галина, — махнул рукой Леха, но предупредил: — У нее жених есть. Виталька.

— Боксер? — спросил Яша.

— Не, тракторист.

— Тогда лады. Составь знакомство.

Галина уже подоила Красулю и несла молоко в хату. Платье у нее с одной стороны было подоткнуто, и виднелась круглая, заляпанная навозом коленка. Яша не стал ждать рекомендаций и представился сам.

— Разрешите помочь? — спросил он и, подхватив ведро, чуть не выплеснул молоко.

— Приветик, — сказала Галина, — всю жизнь только о тебе и мечтала.

Они сразу нашли общий язык. А Леха пошел спать. На сегодня ему и так хватило волнений.

* * *

В субботу начинался в Стариках престольный праздник. Собственно, праздника было два — троица и духов день, но праздновали его за один, а гуляли три дня.

Отец еще загодя сходил в лес и принес охапку веток, разукрасил ими двери и окна, а Леху разбудил раненько-раненько: на речку за явором.

— Пусть будет так, как мать любила.

Лехе, известное дело, неохота с утра в холодную воду лезть.

— Свистушек себе нарвешь, — напомнил отец.

Делать нечего — Леха выпил кружку молока и поплелся на речку.

По утренней росе зябко босым ногам, да и цыпки посаживают, но зато такая тишина кругом, что даже в ушах ломит. Лягушки и те замолчали — всю ночь тархтели, как тракторы, а к утру, видать, и их сон сморил.

«А я уже встал, — думал Леха, — потому что над всеми вами я командир».

Впереди у болотца слышался плеск воды. Оказывается, кто-то первой его встал и рвет уже явор. В тумане не разобрать, кто это, и тогда Леха, приставив к плечу палку, крикнул:

— Руки вверх!

От испугу Танька сразу шлепнулась в воду, минуту погодя за ней шлепнулась Манька. Леха ведь как их различал — по волосам. У Таньки они были светлее.

— Приветик, — сказал он и подал и одной, и другой по палке, — хватайтесь.

— Вот еще, — сказала Нетотанька-Нетоманька, потому что волосы у них намокли и стали одинаковыми. Они даже разговаривать с Лехой не стали и, быстро и ловко натаскав по охапке явора, поволокли его домой.

Леха со смехом поглядел им вслед — небось теперь даже сама «моя молодуха» их не различит. Он тоже не стал волынку тянуть — вода была жуть холодная, — нарвал поскорей явора и айда. Возле стога соломы он догнал Таньку-Маньку: они выкручивали мокрые платья.

— Слышь, Лех, приходи, сегодня девки будут венки завивать, — забыв про недавнюю обиду, сообщила ему Нетотанька-Нетоманька. А другая Нетотанька-Нетоманька подтвердила:

— Саня Маленький обещался речь сказать.

Даже они своего отца звали Саней Маленьким.

— Ладно, приду, — пообещал Леха и вытер грязной рукой нос.

— Усатый, усатый! — закричали Танька-Манька и вдруг исчезли, как сквозь землю провалились. Сейчас только были тут, и нету их.

— Эй, где вы? — испугался Леха.

— Тут. В канаве. Обстрекались все.

Леха помог им выбраться из канавы, и они затрусили домой. А охапки явора, как хвосты у русалок, волоклись за ними по земле.

Леха выпустил на двор кур, накормил поросенка и, воспользовавшись тем, что отец еще был дома, улизнул к виру.

— Эй, Лех, давай сюда!

Посмотрел, а это опять Танька-Манька, уже просохшие, со всей остальной своей компанией: Колька, Володька и Надюшка. Не было только Васьки.

— Ну, чего вам?

— Побегли к бабке Аксиные.

— Вот еще — бабку Аксиною я не видел.

— А у ней поп.

— Какой поп?

— «Какой, какой»?! Ну, какие попы бывают? С бородой и кадилом. Поют не по-нашему.

Леха еще никогда не видел живого попа, и они, схватившись все за руки, помчались за Дымку к бабке Аксиной.

Поп — маленький, круглый, как буханка хлеба, — ходил вокруг хаты и кадил. За ним, не поспевая в его широкий след и семена мелко-мелко ножками, шла молоденькая прислужница. Лицо у нее было желтое, как кувшинка. В руках она держала урну, а на урне висела большая сургучная пломба.

Леха сначала не понял, зачем урна, неужели поп голосование проводит, но когда бабка Аксинья вынесла из хаты рубль и с поклоном протянула батюшке, тот даже обиделся.

— Вот куда, раба божья, деньги суй, — сказал он, указывая на урну. — У нас самообслуживание. — И снова запел: — Благослови, господи, и помилуй мя-а-а...

Ребята держались чуть в отдалении, но от попа не откалывались и обошли вместе с ним еще три двора.

Вдовы — Лида, Аннушка и тетя Ксения — тоже дали попу по рублю, но когда наведались к деду Егорычу, тот денег не дал, а вынес пяток яиц.

— Не гневи бога, — сурово произнес поп, — мы ведь тоже на денежную оплату перешли.

Но тут заиграла над виром музыка, и ребята, бросив попа, кинулись что есть духу туда.

Играл Славка — деда Егорыча городской внук, и народу уже было на виру много — приехали из других деревень на престол.

Девки, женщины, сгрудившись на берегу, кидали в воду венки из березовых веток.

— Поплыл, поплыл!

— Чей же этот?

— Бабки Аксиньи!

— Готовься, старая, к свадьбе!

— Смотрите, тонет!

— Алиса, неужли твой утонул!

— К несчастью это, ой, молодух, к горю.

— Ладно вам, вещуньи выискались.

— Какое у Алисы горе?

— Поплыл, поплыл!

И вдруг смолкли и смех, и шутки — по дороге, взбивая пыль, появился на мотоцикле Саня Маленький. От его дома до вира — два шага шагнуть, но таков уж характер у бригадира — смотрите, какой я молодец. Он лихо подкатил к самому кругу и осадил мотоцикл. Привстал на нем, как на стремянах.

— Дорогие товарищи колхозники! Традиция есть традиция, и этой традиции нам не переломить. Так да-

вайте же превратим религиозный праздник троицу в наш советский праздник Весны.

— Ура-а! — раздался в толпе голос деда Егорыча, которого Славка держал уже под руку.

Довольный такой поддержкой, Саня Маленький продолжал:

— Давайте игнорируем такие старые обряды, как завивание венков — раз, — он поднял над головой руки и стал загибать пальцы, — бросание их в воду — два, жаривание яичницы и употребление спиртных напитков — три.

— Ну нет, бригадир, это дело не пойдёт, — подал вновь голос дед Егорыч, и все поддержали его.

— Какой же это обряд — яешня с водкой?

— Это потребности организма.

— Ладно, ладно, — Саня был в благодушном настроении, — насчет выпивки и закуски я пошутил. Во всем же остальном, — крикнул он с медью в голосе, — никакой пощады врагу! Так я говорю?

— Так! Так!

— Вот это бригадир!

— Да такой бригадир дорожке денег стоит.

— Тыщу рублей и еще гривенник.

— А Санечка, а миленький, дай я тебя расцелую. Бабы окружили его плотным кольцом.

— Товарищ бригадир, а кино сегодня привезут?

— Нельзя, — сказал Саня. — Нельзя. По религиозным праздникам кино показывать нельзя.

— Какой же религиозный?

— Сам только что сказал — праздник Весны.

— Нет, нет, бабоньки, — упорствовал Саня, — сказал, нельзя, значит, точка. И не уговаривайте меня, а то я сегодня добрый.

Алиса встала перед ним, даже руки на груди сложила:

— Ну, Санечка, ну, родненький...

Саня поглядел на нее затуманенным взглядом и сдался:

— Развѣ что научно-популярный, — пообещал он. Бабы недовольно загудели:

— Научный-популярный ты «моей молодухе» на печке показывай.

— Ты нам про любовь давай!

И уговорили б, наверно, если б не появился среди гуляющих поп, как будто с неба свалился. И про кино,

и про Саню Маленького тотчас же все забыли, потому что батюшка с ходу, даже не подобрав рясы, ударил барыню. Мигом сколотился вокруг него круг.

— А ну, расступись, батя пляшет!

— Ты рясу-то сними, — слышались жалостливые бабьи советы, — все легче будет.

— Без рясы сподручнее.

Батюшка никого не слушал и продолжал дробно-дробно работать ногами. В конце концов даже гармонист и тот устал, а ему хоть бы что. И музыка пошла не в лад, а он все лопотит ногами да притопывает:

Топну раз,
Топну два,
Выходи на круг, кума.

Бабы вытолкнули к батюшке на круг Аннушку, но прислужница таким ревнивым взглядом ожгла ее, что Аннушка, на что смела, засмушалась и юркнула опять в толпу.

Наконец и поп устал. Как плясал, так и рухнул на баб. Те врассыпную. Но бригадир все же успел подхватить батюшку под руки, усадил на бережок, сказал укоризненно:

— А ведь грех, батя, бога ты не боишься.

— Бог — бог, да не будь сам плох, — ответил поп и, задрав рясу, вытащил из кармана брюк платок, чтобы пот вытереть, не платок — целую скатерть.

Бабы снова окружили его. Поп вытер не спеша с головы пот да как кинется с берега ловить их. Баб не поймал, а поймал деда Егорыча. Тот по-братски обнял его, но все же напомнил про бога.

— Волков бояться — в лес не ходить, — отпарировал ему батюшка и, отобрав у прислужницы урну, опрокинул ее к себе на колени. Оттуда посыпались мятые рубли, мелькнула среди рублей, как щука хвостом, зеленая трешка. Поп засунул деньги в карман:

— Так надежней.

— Ну, ладно, — сказал Саня Маленький, — хватит с вами веселиться. Надо на ферме обеспечить.

На ферме по случаю праздника резали быка Агрессора.

Вот смешно — прозвали Агрессором, а какой он Агрессор, если у него кольцо в носу? Дед Егорыч ухаживал за ним, поил, перевязывал и делал это по доброй воле, потому что бригадир трудодни за это начислять отказался.

— Какая теперь из вас польза? — сказал он деду Егорычу. — Когда на искусственное осеменение перешли.

Бабы, как услышали про Агрессора, сразу расхлипались:

— Такого-то красавца — и резать!

— За него, бают, золотом плачено.

— Из самой Бельгии привезли. Порода.

— Да вишь ты — без работы остался.

— Ну и пусть без работы, а все ж коровам веселее!

— Жрет много!

— Зато с мясом будем.

Отдохнувший Славка-гармонист заиграл вальс «На сопках Маньчжурии», и все, кто мог, закружились среди березок.

Леха сбегал домой — поесть. Дома никого уже не было, но на загнетке стояла сковородка с яичницей.

Леха ел и принюхивался. Ветки березы, дуба, клена, развешанные на окнах, на дверях, за ночь привяли и разносили по хате теплый, прилипчивый лесной запах. Так обычно пахнет в бане — от веников, брошенных после парки.

«Где же Натка? — подумал Леха. — Наверно, отец с собой взял. А может, уже Галина из города приехала?»

Так или не так, а он был свободен и снова побежал на праздник. И тут, по дороге, увидел отца. Он сидел под дубом, а рядом ползала по земле, собирала прошлогодние желуди Натка. Дуб этот был самый приметный в деревне. Когда-то ребяташки из озорства втянули на его макушку покрышку от «Беларуси» и подожгли. От покрышки загорелся и сам дуб, но не весь, а только макушка. И вот теперь снизу он был зеленый, а сверху — черный. Обожженные сучья корявилась над зеленью, будто дуб тянул в небо руку со скрюченными пальцами, просил — помогите.

Леха хотел подбежать к отцу, но с другого бока ствола увидел сидящую Алису и остановился.

— Как же ты с ними справляешься, с бесенятами? — спросила Алиса, и Леха понял: бесенятами были они с Наткой. — Один и один?

— Галина приезжает.

— Галина, считай, отрезанный ломоть. А ты так думаешь и век вековать?

— Рано еще об этом, — сказал отец и нахмурился, — ты сама свою судьбу-то устраивай.

Алиса глянула на отца, и глаза ее заблестели от слез.

— Сам ведь знаешь, без тебя какая у меня судьба? Извелася вся, ни одной ночи не сплю, а ты хоть слово какое сказал бы. Ты не думай, что я твоему горю рада. Когда Вера была, разве я что сказала? Ни словечком не обмолвилась. Только сердце как пташка какая залетная... Ой, Мишенька, голубь ты мой ясный...

— Хватит, — сказал отец, — попела, и ладно. Дите б постыдилася.

Алиса заплакала.

— Гонишь? Ну, хорошо.

Она встала, закинула за спину косу.

— Не пожалел бы, Михайло Иванович.

И пошла прочь, как пьяная, волоча за собой шелковую красную косынку.

Лехе стало жалко Алису, и он пошел за ней. Шел и думал: надо было Яшу не с Галиной познакомить, а с тетей Алисой. Она — красивше. И коса длиннее. Может быть, Яша тогда бы и не уехал, а остался в Стариках. Сам же говорил, что ему кино до чертиков надоело.

Алиса не видела Леху, прошла немного полем и повернула к виру: там все еще продолжалось веселье. И вдруг среди этого веселья раздался чей-то страшный, захлебывающийся крик:

— Агрессор!

Музыка тотчас же смолкла, и все увидели бегущего с фермы бригадира Саню Маленького. Саня бежал и кричал дурным голосом: помогите! А следом за ним с обрывками веревок на рогах мчался Агрессор.

— Ложись! — крикнул батюшка, но никто его не слушался, а все кинулись к гумну, потому что оно было рядом.

Но Саня гумна вроде и не видел, а летел посреди улицы и кричал:

— Спасите!

Спасать его никто не решился, каждому своя шкура дороже, а, вбежав в гумно и закрыв за собой ворота, люди наперебой стали кричать Сане советы:

— Жми, жми, Саня!

— Не опозорь руководство!

— К виру, к виру давай!

Саня услышал и кинулся к виру. Но, подбежав к самой воде, в нерешительности остановился.

— Ныряй! — кричали ему из гумна.

— Да он, вишь, воды боится!

— А еще бригадир!

Саня изловчился и нырнул. Бык подбежал, а дальше-то ходу нет, и осадил. Только головой мотнул. Потом подошел к воде и стал пить. А Сани все нету. И долго-долго нет. В гумне даже забеспокоились:

— А вдруг утоп?

— Говорила ж — он плавать совсем не умеет.

— Возьмет да не вынырнет.

Но Саня все-таки вынырнул. Далеко, у самого того берега. Вылез, отряхнулся от тины и только тогда оглянулся. Агрессор на противоположном берегу спокойно пил воду.

— Тьфу, змей полосатый, только праздник испортил.

Потом он увидел, как к Агрессору подошел дед Егорыч и, похлопав его по морде, взял за веревку и повел обратно на ферму.

Праздник продолжался как ни в чем не бывало.

* * *

Утром отец запряг Стригунка, разбудил Леху с Наткой:

— Собирайтесь, в город поедem. Мать хочет с вами попрощаться.

Леха не заставил себя долго ждать, быстро натянул штаны, рубаху, а когда зашнуривал ботинки, вспомнил:

— Почему — попрощаться? Повидаться, наверно, хочет. Небось соскучилась.

Для Натки не нашлось ни одного чистого платья — все замазала, и отец сказал:

— Ладно, надевайте какое есть, в городе новое купим.

— Купим, купим, — запрыгала она с радости, а Леха обиделся: все Натке покупают, а ему — никогда.

— Ты — мужчина, — сказал отец и больше объяснять ничего не стал: мужчина, и все, думай как хочешь.

Леха и так знал, что он мужчина, но все равно обновку хотелось. Ведь в город, не куда-нибудь едут, в город — и без новой рубахи? Но спорить с отцом было нечего, раз сказал — значит, и будет. Хорошо еще, что Леха новую кепку надел — Виталька ему подарил, как приезжал, потому что ему она стала малая.

На телегу отец положил свежего сена, на сено еще

одеяло, в одеяло укутали Натку. Леха с отцом ехал спереди, поэтому и увидел, как выбежала из хаты Алиса, босая, с растрепанной за ночь косой.

— Михайло Иванович, да куда ж это ты с детьми малыми? Оставил бы мне на пригляд. Аль не доверяешь?

— Вера привезти велела, да боюсь, не успеем уж.

— Погодь-ка минуту, — попросила Алиса и, сбегав в хату, вынесла тарелку клубники. — На гостинец ей.

— Спасибо, только она уж и в рот ничего не берет.

— Ой, батюшки...

Отец стегнул Стригунка.

— Но-о, поехали.

Ночью, видать, прошел дождь, и дорога была вся в лужах. Стригунок старался обойти лужи, но телега все равно то и дело вязла в грязи. То одно колесо увязнет, то другое. Лехе надоело глядеть вниз, на лужи, и он лег рядом с Наткой, стал глядеть в небо. Глядел, глядел и увидел — небо куда-то тоже ехало. Ехали, чуть покачиваясь, облака, ехало солнце. А одно облако было похоже на верблюда с двумя горбами. Потом горбы куда-то исчезли, и облако стало похоже на паровоз.

— Пап, а пап, — спросил Леха, — а если десять коней в одну телегу запрячь, они паровоз обгонят?

Отец не ответил, может, не слышал, а может, притворился просто.

Выехали на шоссе, здесь телега пошла ровнее, и Леху сразу поклонило в сон. Но он переломил себя — вот еще, дома выпится — и снова спросил:

— Пап, а пап, а кто может выпить за один раз два литра водки?

— Не знаю, — отозвался отец, — разве что великан.

Леха рассмеялся.

— А вот и не угадал. Дед Егорыч — вот кто. Запросто выпьет. Зараз два литра выпьет и женится на Алисе.

Отец чуть улыбнулся, но тотчас же и нахмурился, брови сошлись к переносице.

— Пускай женятся. Я им не помеха.

До города добрались к полудню. Леху все ж таки укачало, и теперь, проснувшись внезапно от трамвайного звонка, он с любопытством стал разглядывать город. Город как город, и флаг на телевизионной вышке, и дома с балконами. Удивило его то, что они все были

похожи один на другой, как яйца у куриц, не поймешь, чье какое. И еще люди. Они тоже каким-то невероятным образом были похожими. У всех на лицах испуг, все куда-то спешили. А куда? Этого Леха не понимал и только морщил и морщил нос, а Натка, наоборот, хлопала в ладоши и радовалась:

— Масина, масина, есё масина!

— Дура ты, дуреха, — сказал ей Леха, — машин она не видала. Ты лучше на трамвай погляди. Видишь, у него дуга, как у нашего Стригунка.

Но Натка не успела поглядеть на трамвай, потому что они въехали на больничный двор, а во дворе было поле, и толстые-претолстые дядьки в полосатых штанах играли на нем в футбол.

«Вот так больница, — подумал Леха, — и я б в такую больницу лег, если в футбол играют».

Но вслух ничего не сказал, стал дальше глядеть. А дальше отец ссадил их с телеги, Стригунка к столбу привязал и повел по каким-то широким лестницам, длинным коридорам, пока не открылась стеклянная дверь, и тут Леха увидел маму, но не узнал, потому что лицо у нее было не мамино — худое и серое, и зубы наружу, и Леха в страхе отшатнулся даже, но все же это была мама — догадался по запаху, радостному и теплomu, и еще по рукам. Они были все в тонких и темных морщинках, в которые навечно въелась грязь, а может, не грязь, а навоз, ведь она всю свою жизнь возилась с коровами.

И вот этими темными, родными руками она притянула Леху к себе и замерла — заплакать у нее уже не было сил.

А Леха прижимался к ней, чувствовал ласковое материнское тело и тоже не плакал — боялся.

Потом она чуть оттолкнула от себя Леху и прижала Натку, а та заплакала.

Отец молча стоял возле матери и, положив ей руку на голову, тихонько гладил по волосам, как маленькую. А Леха, чтоб успокоить Натку, пустил ей в глаза зайчика. Это зеркальце на тумбочке лежало, он и сообразил. Натка руками замахала, отбиваясь от зайчика, и перестала плакать, потому что Леха стал пускать зайчиков по потолку и по стенам, пока не подошла тетя в белом халате и не отобрала у него зеркало.

Мама сказала:

— Ну, идите, хватит.

И Леха обрадовался — ему не понравилась больница. Теми же длинными коридорами они вышли на улицу. Стригунок терпеливо скучал возле столба, ожидая их, а толстые дядьки уже не играли в футбол, а сидели на скамейках и держали под мышками градусники.

Возвращаться домой уже было поздно, и они заночевали у Галины в общежитии. Леху и Натку положили на кровать валетом, а рядом еще примостилась и Галина. Отец же не ложился, а сидел у стола, глядя в одну точку, и так небось всю ночь просидел, потому что, когда Леха утром проснулся, он все еще глядел в эту точку.

Леха подошел к окну и увидел далеко внизу такого маленького Стригунка. Мимо него сновали машины, с грохотом проносились трамваи, и он, опустив голову, видно, дремал, и снилась ему родная деревня Старики, и луг за рекой, и такая чистая холодная вода в вире.

Галины не было — она еще с утра побежала в больницу, и Леха принялся разглядывать ее общежитие. Где же тут газ, где же тут ванна? Просто стоят кровати, и все. А над кроватями — собачки, кошки, гуси, разными нитками вышитые.

«Ага, скучно небось стало — без собак, без гусей, — подумал Леха, — не надо было из деревни удирать».

Галину пришлось ждать долго, и Леха сам заскучал — с нарисованными кошками-то.

Отец два раза выходил на улицу — Стригунка поить, хлеба в магазине купить, а Леху не пускал — еще заблудится.

На третий раз вышел и долго-долго не возвращался. Леха уже всех кошек и собак пересчитал, на гусей перешел, а его все нету. Выглянул в окно: вот те раз — сидят вдвоем с Галиной на телеге и беседуют. Нет, видать, не беседуют, потому что Галина вдруг упала лицом в сено — не то заплакала, не то засмеялась, не поймешь с высоты.

«Что это она?» — подумал Леха, и сердце у него заколотилось, как воробушек в клетке. А тут еще эта Натка, топает между кроватями, за спинку спрячется.

— Еха, тю-тю.

— Сама ты тюха-матюха, — разозлился на нее Леха. — Не даешь человеку и думу подумать.

Но тут в комнату вошел отец:

— Собирайтесь, поедem за матерью.

Леха чуть не до потолка подпрыгнул от радости: вот это счастье так счастье — маму домой отпускают, теперь уж ему не придется возиться с Наткой с утра и до вечера.

— Ура! — закричал он и, перепрыгивая сразу через две ступеньки, полетел вниз.

Галина все так же лежала на телеге, уткнувшись лицом в сено, и всхлипывала.

— Перестань, — сказал ей отец, — что ты им душу рвешь?

Стригунок всхрапнул с радости, когда его снова запрягли в телегу, и взял рысью — ни машин, ни трамваев не боялся. Леха закрыл глаза и стал вспоминать маму, но не ту, которую он видел вчера, а другую — какой она дома была.

Натка ткнула его в бок кулаком.

— Еха, ты пишь?

— Да не сплю я. Маму жду.

— Не пи, — сказала Натка, — а то мама совсем не пидеть.

— Много б ты понимала!

На этот раз отец с Галиной оставили детей на дворе и сами ушли в больницу, даже забыли Стригунка привязать. Пришлось Лехе слезать с телеги и самому его привязывать. Стригунок недовольно мотнул головой, натягивая поводья, и Леха потрепал его по носу:

— Не горюй, Стригунок, скоро домой поедem.

Верхняя губа у Стригунка дернулась и поползла вверх, обнажая зубы, — так он смеялся. Потом Леха поймал на асфальте божью коровку и подал ее Натке — пусть займется. Но божьей коровке Натка не понравилась, и она от нее улетела.

Тут открылась какая-то облезлая дверь, и вышла из нее Галина. Слезы текли у нее по лицу, а увидев играющих ребят, она еще пуще заревела. Следом за Галиной в ту же дверь вынесли длинный белый ящик, поставили на телегу, так что Лехе с Наткой пришлось потесниться.

Отец взял в руки вожжи:

— Но, Стригунок, поехали.

Леха лупал глазами, ничего не понимая: а где же мама? Он смотрел то на Галину, то на отца: что это они молчат? А Галина еще и плачет.

Отец остановил Стригунка и помог Галине взо-

браться на телегу, но так как она все равно плакала, отец рассердился:

— Ребят хоть пожалей, глупая. Видишь — несмышлениши.

Галина послушалась отца. Она обхватила ящик обеими руками и затихла, изредка только всхлипывала и ловила ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. А отец не плакал и не всхлипывал даже, а шел и шел рядом с телегой, опустив низко голову, и показалось Лехе, что он стал совсем маленьким, как бригадир Саня.

И тогда Леха решился, чтоб сделать это. Он уже знал, как это делается. Надо просто крепко-крепко зажмуриться. И все станет наоборот. Не так, как есть, а как хочется, чтоб это было.

В последний раз он быстро глянул на ящик и зажмурился. Пошли в темноте красные круги, прыгали, насакивали друг на дружку, но ничего наоборот не становилось.

Леха жмурился до ломоты в ушах, но все равно видел Стригунка, бредущего по дороге, отца с вожжами в руках и на телеге длинный белый ящик.

«Гроб, — вспомнил Леха, — вот как он называется — гроб».

И как только он это вспомнил, красные круги ударились в пляс, а что-то огромное, черное, как туча, разом навалилось на него, накрыло, как одеялом. И Леха нырнул в вир головой...

* * *

Без него прошли похороны, без него мать отвезли на кладбище и зарыли в яму, без него плакал отец, теперь уж в открытую, никого не стесняясь. Без него начался сенокос, и жизнь снова стала налаживаться. А Леха все это время лежал на дне вира, где было много-много синих камней, бери какой хочешь, но Лехе они уже были не нужны, он вовсе не хотел быть командиром, а хотел только пить.

Вот для того, чтобы напиться, он вынырнул однажды из вира, а когда вынырнул, то рядом со своей кроватью увидел отца, Натку, тетю Алису, и уже обратно нырять в вир ему не захотелось.

В хате было светло-светло, не то что на дне вира, и Леха, вздохнувши, сказал:

— А вот и я.

Началась страда, и, как нарочно, пошли дожди. Виталька работал теперь на жатке, косил за Дымкой рожь. Он часто навевывался в Старики, хоть Галина и не приезжала теперь из города. Виталька будто и не замечал этого и брал с собой Леху. Забавно было ему глядеть, как под ножами жатки ровными рядами ложилась рожь, словно кланялась земле.

Раньше бы Леха пылал весь от счастья, сидя рядом с Виталькой, но нынче ему было не до веселья. Ничто не радовало его, даже дед Егорыч. Зазвал однажды к себе, медком угостил и только потом приступил к вопросам:

— Как думаешь, не убьет меня твой отец?

— За что?

— За то, что на Алисе хочу жениться.

— Не знаю, — сказал Леха и усомнился, — он даже курицу боится зарезать.

— Ну, тогда ладнечко. Готовься, дружок, к свадьбе. Вечером Леха, придя домой, залез на печку и уже оттуда, с печки, объявил:

— У деда Егорыча брага прямо из бочки прет.

Отец промолчал, наверно, не понял, и Леха добавил:

— Вся деревня будет на свадьбе.

— На чьей? — спросил отец.

— А ты разве не знаешь? Дед Егорыч на тете Алисе женится.

Отец даже ногой притопнул.

— Будет врать-то!

— А зачем мне врать? — Леха улегся поудобней на печке. — Что, я дурак, чтоб врать?

Вскороости он заснул, но даже и во сне чувствовал, что отец не спит, а ходит по хате из одного угла в другой — маятся.

«А что ему маяться? — думал Леха. — Взял ружьишко да в лес. Сам же говорил: лес для него в любом горе отрада». Так он во сне думал, а проснулся — отца и всамделе нет. Поглядел на стенку — ружьишка тоже. Ну, Леха раздумывать долго не стал, у него и без отца было на сегодня дел много.

Проснувшись Галина, — Леха и не слышал, как она ночью приехала.

— Ты куда, лешенок, лыжи наострил? — спросила она.

Леха покрутил пальцем у виска, дескать, какие лыжи, заговариваться, что ль, стала.

— На двор захотел.

— Я тебе покажу на двор! Совсем без матери обнаглел, от рук отбился. С Наткой сегодня будешь сидеть!

— А ты? — спросил Леха.

— Ты мне не тыкай! Я тебя враз подженю! До новых веников не забудешь!

Леха вспомнил мать, как она вот так же ругалась на него, и заплакал.

— Чего ревешь, нюни распустил? Дров принеси!

Он принес дров, сбросил их у припечка.

— На, жри свои дрова! — И добавил: — Это ты потому такая злая, что женихов своих порастеряла. Говорила — у меня их тыща, а где они, покажи хоть одного.

— Не твое дело! Мал про женихов еще рассуждать!

— Ну, покажи, покажи! И Витальку небось прогнала.

— Леха, уймись лучше!

— Не уймусь. А будешь такая злая, никто и замуж тебя не возьмет. В девках останешься.

— Что б ты понимал, дурачок!

Леха не стал больше с ней спорить, что толку в ступе воду толочь, вышел на крыльцо. Утро было синее-синее и чуть-чуть красное — за речкой, откуда всходило солнце. Правда, его еще не было видно, и Леха подождал, стоя на крыльце. Ему захотелось поглядеть, как оно будет выползать — огромное, круглое, шапка набекрень. Выползет и подмигнет Лехе:

«Ну как? Достал синий камень?»

Ничего Леха не достал и даже забыл, когда в последний раз в вир нырял, все, вишь ты, некогда. А может, сегодня попробовать? Эх, была не была!

Он прыгнул с крыльца и помчался к виру, только пыль из-под ног разлетается, но до вира так и не домчал, потому что встретился с целой процессией. Дед Егорыч, чистый, побритый, подстриженный, в новом синем костюме, по левую руку от него — Саня Маленький, по правую — гармонист Славка важно шли по деревне, будто не шли, а плыли. Поперек груди у Славки и у бригадира висели вышитые полотенца, а дед Егорыч хоть и был без полотенца, зато с белым цветком на кепке и нес перед собой бутылку самогонки, завязанную красной лентой. Они заходили в хаты и всех уго-

щали, приглашая на свадьбу. Только к бабке Аксинье не зашли.

— А ну ее, ведьму старую, — сказал Егорыч, — еще несчастье накаркает.

Гармонист Славка развел мехи:

Меня сватал конопатый,
А рябой наперебой,
Я рябому отказала,
Конопатый будет мой.

Ему не терпелось сесть за стол. Обычай требовал, пока всех не обнесут, дружкам и капельки в рот не брать. Потому Славка и тосковал. Обошли всю деревню и вернулись назад — в хате у деда Егорыча было все уже готово. Недаром же тут хозяйничали вдовы: Лида, Ксения и Аннушка.

— Дед Егорыч, а дед Егорыч, — сказал Леха, — а ты сегодня молодой.

— Цыть ты! Какой я тебе дед? Ишь, вражонок!

— Помолчите вы! — попросил Саня Маленький. — Дайте сосредоточиться.

Он готовил к открытию свадьбы речь. Дед Егорыч попробовал его урезонить.

— Разве на свадьбе речи говорят? На свадьбе пить-есть надобно. Да еще песни петь.

Но Саня его обрезал:

— Жених на свадьбе голоса не имеет. Жениху слово — последнее.

Спор пришлось прекратить — в хату уже начали собираться гости. Не замеченная никем, тихонько протиснулась среди гостей и Алиса.

Дед Егорыч запротестовал:

— Не по правилам это. За невестой надо к ней во двор ехать.

— Ладно, где уж тут по правилам жить, — сказала Алиса, — открывайте свадьбу, да поскорей, выпить хочется.

Дед Егорыч с удивлением на нее поглядел — вид у Алисы был отчаянный.

Вдовы сели в куток и запели:

Ай, на лозе-лозе,
На белой березе
Кукушка кукует,
Кукушка кукует,
Мне горе вещует.

Алиса зажала в кулак косу и заплакала.

— Ты чтой-то ревешь, весь порядок нам нарушаешь? — упрекнул ее бригадир, и на вдов тоже прикрикнул: — Перестаньте голосить, сперва тост провозгласить требуется.

Он призвал за столом всех ко вниманию и начал:

— Дорогие товарищи колхозники! Скажу вам твердо и откровенно — я рад. Я рад тому, что у нас в Стариках за последние десять лет это первая свадьба. О чем это говорит? Это говорит о том, что и стариковская бригада выходит на передовые рубежи, так сказать... И в то время, как американские империалисты...

— Горько! — крикнула бабка Аксинья. Она сидела за печкой и ничего не слышала. Дед Егорыч так и ожег ее взглядом, но вовремя спохватился — повернулся к Алисе. Та залилась вся румянцем и отвернулась. За столом наступила тягостная тишина — все ждали, что будет дальше.

Спас положение Саня Маленький, недаром же он был бригадиром.

— Но я еще не закончил, уважаемые товарищи колхозники, — сказал он, и все облегченно вздохнули. А внук Егорыча Славка, воспользовавшись минутой, снова растянул гармонь:

Ой, товарищ, мой товарищ,
Помоги мне, сироте.
Съел я курочку живую —
Шевелится в животе.

— Так давайте же выпьем за счастье и согласие молодых! — заглушая гармонь, крикнул Саня.

— Радости вам!

— Деток поболе!

После второго тоста, который провозгласил сам дед Егорыч — за мир во всем мире, — ринулись в пляс вдовы — Лида, Ксения и Аннушка. Они плыли по кругу, как утицы, и разом взмахивали платочками.

— Выходи, подруг! — стали зазывать они и Алису. — Попляши напоследок в девках-то.

Алиса не стала упрямиться. Она вышла из-за стола, закинула за спину косу и плавно повела руками туда-сюда. Потом будто вздрогнула и пошла сыпать тонкими каблучками, как только не сломятся.

Разнесчастливая родилась,
Разнесчастливая умру,
Но залеточку милова
Никому не уступлю!

Дед Егорыч, сидя в красном углу, расправил на голове пробор. Ему понравилось, что Алиса назвала его по-молодому — залеточкой, и не выдержал, ноги так и заходили под столом.

— Эх, гармонист, ударь шибче-ка!

Он не стал соревноваться с Алисой в выбивании дробей, а с ходу ударил вприсядку — половицы и те застонали. Так он и шел по кругу, пытаюсь догнать Алису, но та бойко увертывалась от него, не давалась. Один раз только и удалось Егорычу догнать ее, ухватить за косу, но Алиса так рванулась вместе с косой, что Егорыч чуть не упал на кругу.

Саня между тем на правах бригадира и дружки снова зазывал всех к столу.

«Вот чудак — в лес удрал, — подумал Леха об отце, — а тут свадьба какая веселая».

И решил: «Пойду-ка я поищу его. Он небось и не знает даже, какая тетя Алиса сегодня красивая».

Где-то за спиной оставались звуки гармошки, затухали людские голоса, потом уже и собак не стало слышно — Леха шел по лесу и, чтоб не было страшно, посвистывал. Так ему отец всегда говорил:

— Страшно — посвистывай.

Впрочем, Лехе не было страшно, если б не ветер. Гудит, завывает в вершинах сосен, как все равно волк голодный. Леха старается не думать про волка, и чем больше он не думает, тем больше думается. А сзади тихо так, тихо кто-то по пяткам крадется. Остановился Леха и — раз! — обернулся: никого нет, а как пойдет — шаги снова вдогонку, мягкие, осторожные. Тени от веток тоже шевелятся, как живые. А тут еще сова как ухнет замогильным голосом:

«Спать хочу!»

— Ну и спи, — сердится Леха, — хочешь спать, и ложись, а что людей зря запугиваешь?

Правда, не на того напала — Леха не из пугливых, ведь он не просто так по лесу бродит, он отца ищет, как разведчик. А разве разведчики пугаются?

— Папка-а! — кричит он, не потому, что совы боится, а чтоб спугнуть эти тихие, крадущиеся за спиной шаги, но они и сами смолкают, как только он останавливается. Леха прислоняется к стволу березы и долго слушает, не отвечает ли где отец. Нет, не отвечает, тихо в лесу, не тихо, конечно, а просто человеческого голосу не слышать. Зато на все лады разливаются птицы,

кто кого перепоеет. И дятел тук-тук по стволу — отцов помощник.

— Какой же ты помощник, — говорит ему Леха, — когда ты тут, а отца нет? Где он, ну, скажи, где? А, не знаешь?

Долго ходил Леха по лесу, чуть не заблудился, когда солнце за облака скрылось, и тут вдруг услышал выстрел.

Отец! И сломя голову помчался туда, откуда долетел выстрел.

Когда он подбежал, то увидел: отец сидел на пне, а перед ним, распластавшись крыльями по земле, лежал перепел. На груди у него и около глаза застыли капельки крови.

— Зачем ты его? Он же маленький, — сказал Леха, и отец ничуть не удивился, увидев его перед собой, а только сказал:

— Всамделе — зачем?

Он встал с пня и, не глядя больше на перепела, стал складывать ружье.

— Пошли отсюда.

И зашагал в глубину чащи.

Леха потоптался около перепеленка.

— Пап, ты куда? Домой пойдем.

Отец послушался и молча повернул назад. Лехе нестерпимо хотелось рассказать отцу про свадьбу, про деда Егорыча, какой у него новый синий костюм и как он Алису за косу схватил да чуть не упал на кругу. И он уже начал рассказывать, но отец закричал на него:

— Замолчи!

Лехе что — он замолчал, хоть и обида взяла: он хотел отца порадовать, а тот в крик. Вот и пойми людей после этого. Нет уж, лучше он синий камень нырнет — достанет. Пора уж ему командиром стать, а то каждый кричит на него, лается.

Отец завернул к дому, а Леха — к виру.

Разделся на ходу, влез на сваю, воздуху побольше набрал и нырнул. И показалось ему на этот раз так светло вокруг, будто это не вода, а небо. Словно Леха не в вир — в небо нырнул. А в небе много-много радуг, ярких и круглых, как колеса. И долго-долго он плыл через эти радуги, разгребая их руками, пока не уперся головой в дно. Теперь уж раздумывать было нечего, надо было хватать камни. Как можно больше. Авось и синий попадется. Но что-то остановило его.

«Зачем мне много! — подумал Леха. — Я один возьму — синий».

И точно — подумал так и увидел его: на сером сплошном дне лежал синий камень. Леха схватил его и быстро-быстро вверх, даже глаза зажмурил. А когда вынырнул, то захлебнулся, вздохнуть не мог. Откашлявшись наконец, вылез на берег и только тогда вспомнил о камне, разжал руку. Сердце у него больно стукнулось обо что-то и подпрыгнуло к самому горлу — на ладони лежал синий камень. Леха не поверил и потер его об рубашку. Камень все равно был синим, словно и не камень это, а лежал на ладони у Лехи кусочек неба. Леха засмеялся от радости, а потом заплакал, но, плача, подумал, что когда-нибудь после, когда он вырастет и будет большим, он вспомнит эту минуту, как он достал синий камень, и ему станет хорошо, потому что сейчас ему хорошо. И оттого, что ему было хорошо, он и плакал. Слезы ведь не только от горя, но и от радости бывают. Мама сколько раз говорила ему об этом, а он не верил и только сейчас убедился. Когда слезы все же прошли, но не прошла радость, он оделся и спрятал синий камень в карман. Нет, не в карман, а в руку и руку держал в кармане, чтоб не потерять.

«Кому же мне его подарить? — подумал Леха, потому что радость переполняла его, и он уже забыл, что сам всю жизнь мечтал о камне, чтоб быть командиром. — Ладно, потом подарю», — решил он и пошел снова на свадьбу.

В сенях прямо на полу лежал Саня Маленький и невнятно выкрикивал:

— Даешь! Даешь!

А что «даешь» — и сам, видно, не знал. Рядом с ним сидели его двойняшки Танька-Манька и за руки тянули его в разные стороны:

— Пап, вставай. Пап, люди смотрят!

— Даешь! — в ответ кричал им Саня Маленький.

Другой же дедов дружка гармонист Славка изнемогал под тяжестью мехов — они не хотели никак расходиться. А гости требовали. Голоса их охрипли и осипли, но свадьба еще и не приближалась к своему разгару — не было драки. Гармонист играл, и все, кто еще на ногах, были на кругу.

Разрешите станцевать,
Разрешите топнуть,
А певжели в этой хате
Переводы лопнут?

За столом сидели только жених с невестой и молча, сосредоточенно о чем-то думали. Леха даже удивился: все пьяны кругом, а дед Егорыч не пьян. И тетя Алиса тоже. Лицо бледное-бледное, а глаза грустные. И вдруг повеселели ее глаза, чем-то встревожились. Леха поглядел туда, куда тетя Алиса глядела, и увидел отца. Он протиснулся между гостей и направился прямо к столу.

— Миша, друг ситный, — привстал навстречу ему Егорыч и протянул стакан водки. — За здоровье, за счастье не побрезгуй.

И странное дело — отец взял у него стакан, потом медленно оглядел весь стол — холодец и пироги, соленые огурцы и яичницу, мед в тарелках и брагу в кувшинах — и выпил, залпом, целый стакан. Алиса охнула, потом ладонью к горлу прижалась и улыбнулась отцу, жалко так, виновато, словно своей улыбкой прощенья у него попросила. Но отец прощать не стал, а резко и грубо приказал ей:

— А ну-ка, вставай! Хватит, поневестилась!

Дед Егорыч засуетился: как же это так, люди добрые, приходит чужой человек и вдруг командует?

— Не в своей хате! Не имеешь права! — закричал он и повернулся к Алисе за поддержкой, чтоб она как хозяйка тоже слово сказала. Но Алиса, привстав из-за стола и не обижаясь на грубые слова его, тянулась к отцу руками, губами, всем телом, шептала:

— А Мишенька, а голубчик мой, пришел наконец, да что ж это ты придумал?

— Пойдем, — сказал отец ей и больше ничего не сказал, одно это слово «пойдем», и Алиса пошла за ним, даже ничего не спросила.

Леха стоял и глазам не верил своим. Он подумал, что это он зажмурился, и оттого все идет так — наоборот, и даже ущипнул себя в кармане за ногу, чтоб открыть глаза. Но глаза у него и так были открыты, и с открытыми глазами он видел, как по хате к дверям меж пьяных гостей и разбитых стаканов шли они, взявшись за руки, отец и Алиса. Все гости затихли и слово даже не вымолвили, все только стояли и смотрели, как они шли, и может быть, не один из них подумал в эту минуту, какая это добрая и красивая пара.

И только после того, как ушли они, и вспыхнула обязательная на каждой свадьбе драка. Дрался дед Егорыч со своим дружкой Саней Маленьким.

Кому все-таки подарить синий камень? Леха шел по деревне и думал: кому? Может, деду Егорычу, теперь ведь он совсем один остался? А может, Таньке-Маньке, чтоб командирами были? Нет, Таньке-Маньке нельзя, их двое, а камень один, еще подерутся.

Над головой, шумно рассекая воздух длинными крыльями, пролетел аист, опустился в гнездо на силосной башне.

«Надо хоть на ферму сходить — попрощаться», — подумал Леха.

Коров на ферме уже не было — всех на Центральную перевели, и пусто-пусто чернел хлев с засохшими кучами навоза по углам. Теперь он уж не был похож на аэродром или на взлетную площадку, потому что кормобак и тот увезли. А где же аист?

Аист стоял в гнезде на одной ноге и дремал. Леха заложил два пальца в рот и свистнул, но аист и не думал испугаться, он только открыл один глаз и осуждающе поглядел на Леху: что, делать больше нечего?

Дел у Лехи было полно, он помахал аисту на прощанье кепкой и побежал к деду Егорычу. Егорыч лежал на печке и стонал.

— Ой, Лешенька, ой, голубчик, спасибо хоть ты навестил, а то ведь никакая собака не забежит. Как есть-пить за чужой счет, целое застолье набилося, а как водицы подать...

Леха вышел в сенцы, зачерпнул ковшик воды, подал на печку. Егорыч жадно хлебнул, задохнулся и закричал:

— Ты что, зимолеток, мне голую воду суешь? Браги подай хоть глоточек.

— А где брага?

— В подпол слазь. Там еще осталось на донышке.

Леха достал из подпола трехлитровую бутыль — она была полным-полнехонька, стал наливать в кружку и не мог налить, бутыль так и выскальзывала у него из рук как мокрая щука.

— Ну что ты там возишься, пащенок?

— Да никак в кружку не налью.

— Ладно, давай всю бутыль-то.

На печке долго булькало, потом повеселевший голос деда Егорыча произнес:

— Давай и ты, Лех, ко мне лезь, поговорить по душам надобно.

Леха устроился рядом с ним на припечке. Дед Егорыч долго молчал, и Леха подумал, не заснул ли он. Но

вот снова забулькало в бутылке, потом дед Егорыч спросил:

— Отец дома?

— Дома.

— Что делает?

— Вещи собирает. На Центральную перебираемся.

— Все-таки надумали?

— А что, дед Егорыч, — сказал Леха, — поедem и ты с нами. На Центральной и свет, и водопровод, и танцы каждый день.

— Во, во, — захихикал дед, — меня только сейчас на танцы. Дамы слева, кавалеры справа. Алиса, наверно, уговорила?

— Ага.

— А ты небось рад?

— А то! — сказал Леха. — И Натка тоже рада, бегаeт за Алисой: тетя, тетя.

— Ты вот что, — проговорил дед Егорыч, — скажи отцу, что зла я на него не таю. Куда уж мне за такой красавицей? Пускай только он бабу не обижает. Скажешь?

— Ладно, скажу.

— А Сане зато, бригадиру, недоделку этому, я еще струны натяну.

— У него струн уже нет, — сказал Леха, — Танька с Манькой все оборвали. А балалайку Саня под скворечник приспособил. Теперь в ней воробей живет.

Дед Егорыч не слушал:

— Я ему покажу, как Советскую власть отменять. Ишь ты, командир нашелся. Легко небось над тремя бабами командовать. А я б поглядел, как ты кавалерийским эскадроном покомандовал. Кругом! Смирно! Шашки наголо! Рысью, дистанция два метра, марш!

Лехе стало жаль деда Егорыча, и он предложил:

— А хочешь, дед, я тебе синий камень подарю?

— Подавись ты своим камнем! Вот змееныш, ты его пригрей, а он еще камнями грозитя.

— Да не грожусь я! Синий камень, если б ты знал, счастье приносит.

Дед Егорыч вздохнул:

— Мое счастье, милок, в глубокой яме схоронено. И дождусь я его, когда ногами вперед вынесут.

Он немного помолчал, потом спросил вкрадчиво:

— Лех, а Лех, как думаешь, если к председателю сходить да все про Саню Маленького выложить, как он над людьми измывается, поможет?

— Поможет, — сказал Леха, — у председателя один глаз веселый.

— Вот в том-то и беда, что один. Да при такой жизни надо не один, а все три глаза иметь — два пообочь носа, а третий — во лбу. Ну, ладно, пострел, поговорили по душам, и будя. Меня чтой-то в сон поклонило. Беги домой.

Леха побежал, но не домсй, а к виру. Вечерний синий туман ложился в лощины, а сквозь туман проглядывали первые звезды. Звезды копошились и в воде, а когда набегал откуда-нибудь ветер и волновал воду, то звезды тоже волновались, а то и совсем исчезали, прятались в черной глубине; одна звезда вдруг сорвалась с неба и полетела. Куда она упадет, куда? Звезда упала в вир и погасла. И тут Лехе подумалось, что синие камни на дне вира, может, вовсе не камни, а звезды, которые упали с неба, но не погасли, потому что сгореть не успели. Не все же звезды сгорают, какая-нибудь и остается.

Леха вздрогнул: сзади снова, как тогда в лесу, слышались осторожные шаги. Он замер, прислушался — нет, все вокруг было тихо. Наверно, почудилось. Наверно, просто волна в берег плеснулась.

Он пододвинулся ближе к воде и опять стал глядеть в нее, черную, мрачную, если б не звезды. А когда поднял голову, то увидел — рядом стсял отец.

— Пап, а пап, ты чего? — спросил Леха.

— Стригунка ищу, сдавать пора.

— Куда сдавать?

— В лесничество.

Лехе стало жаль Стригунка да и отца тоже, и он помолчал.

— А может, тебе на Центральной другого дадут?

— Вряд ли. В колхозе коней теперь нету.

— Ну, трактор, — сказал Леха.

— Трактор это не конь.

Конечно, подумал Леха, трактор это не конь, зато у трактора целых пятьсот лошадей сидит. Виталька рассказывал. Запряжет отец сразу пятьсот коней и поедет по полю, а с ним и Леха, на прицепе. За один день сто гектаров хлеба засеют, пусть тогда Саня посмеет в суд подать. Небось раскается. А председатель спасибо скажет, руки им пожмет при всем честном народе, хорошие, дескать, у меня работнички.

Леха так размечтался, что совсем забыл про отца,

что он рядом стоит, тоже о чем-то своем думает. А когда взглянул, то увидел: такая печаль была в глазах отца, тяжелых, черных, что Леха не выдержал.

— А ты, пап, зажмурься, — посоветовал он.

— Зачем?

— Чтоб все стало наоборот. Как ты хочешь.

Отец усмехнулся, погладил Леху по взъерошенным волосам.

— Эх, ты, Леха... Зажмуриться — дело нехитрое. Но ведь, зажмурившись, всю жизнь не проживешь. Нет, сынок, не жмуриться тебе надо, а во все глаза глядеть, чтоб жизнь на земле налаживать. Честную жизнь, справедливую. Эх, Леха, Леха, душа человечья...

Отец ласково привлек Леху к себе, но тут же и оттолкнул.

— Ладно, пошли спать, а то завтра вставать раненько.

— Зачем? — спросил Леха.

— Поедем на Центральную место себе выбирать. Строиться будем.

— Уже завтра?

— А чего ждать, раз решили. Завтра и поедем.

«Завтра, завтра, завтра, — запело у Лехи в душе, — завтра, завтра, завтра!»

На Центральной усадьбе Лехе было уже многое знакомо. Виталька один раз захватил его на мотоцикле и прокатил с ветерком.

Запомнил тогда Леха большой дом с колоннами — колхозный клуб, объяснил Виталька, и сельсовет с красным флагом на крыше, флаг был как аист: все время рвался, хотел улететь в небо. Но вот этих домов с балконами он тогда почему-то не заметил. А может, их просто не было. Дома построили недавно для тех, кто переезжал из деревни Старики.

«Неужели мы будем жить в таком доме?» — екнуло радостно сердце у Лехи. И Стригунок, словно почуяв его радость, повернул к одному из домов с балконом.

— Подождите здесь, — сказал отец и куда-то ушел.

Ждать было скучно, и Леха, увидев, что Натка занялась с тетей Алисой, спрыгнул с телеги и подошел к дому поближе. Больше всего его интересовали балконы: а вдруг обвалятся?

На балконе появилась девочка и как ни в чем не бывало стала прыгать на одной ножке.

«Смелая», — подумал Леха.

У девчонки белым чистым бинтом было перевязано ухо.

— А ты кто? Сосед наш? — заметив Леху, крикнула девчонка, перестала прыгать и свесилась через перилки.

— Не знаю, — признался Леха. Он боялся, что она упадет.

Девчонка помолчала, раздумывая. И тогда Леха решил действовать сам.

— Что это у тебя? — спросил он и тронул собственное ухо.

— А, — махнула она рукой, — просто так. Вчерась с мальчишками не из нашей деревни подралась. Я страсть как люблю драться, — засмеялась она и позвала Леху: — Иди ко мне.

Лехе стало хорошо и весело на душе: это не то, что Танька-Манька. Чуть пальцем тронь — в слезы. А эта сама в драку лезет. И у Лехи тут же зачесались от нетерпения кулаки.

— Только, чур, по больному уху не бить, — предупредила девчонка.

— Что я, дурак? А тебя как зовут? — спросил он: не мог же он драться с человеком, которого не знал, как зовут.

— Марусей. А тебя?

Леха не успел ответить, потому что увидел возвращающегося отца. Рядом с ним шагал председатель, хотя Леха не сразу узнал его. На председателе был новый черный костюм и белая рубашка, поэтому он и шел по улице как хозяин. Подойдя к телеге, он помог тете Алисе слезть с нее.

— Ишь, леший, — сказал он, — какую красу из лесу приволок. А я и не знал, что у вас, в Стариках, такие водятся.

Алиса засмеялась его словам, а отец нахмурился, и тогда председатель поспешил перевести разговор.

— Значит, все-таки решили свой хутор бросить? Ну, с новосельем вас!

Он вытащил из кармана ключ и открыл новую скрипучую дверь.

— Вот вам квартира. Ни строиться, ни маяться, живите и меня добром вспоминайте.

Отец сразу же по-хозяйски стал разглядывать квартиру, а тетя Алиса, не теряя времени, расстелила на подоконнике полотенце и выставила бутылку водки.

— Иван Захарыч, за новоселье!

— Не могу, — сказал председатель, — сегодня общее колхозное собрание.

— Ну, хоть пригубьте со мной.

Леха попросил отца открыть балкон и выскочил поскорей из комнаты. Второпях он даже забыл испугаться и только почувствовал, как захватило у него дух не то от высоты, не то от радости.

Отсюда, с балкона, вся Центральная была видна, как с большой елки, с длинными и широкими улицами, с аккуратными домиками. Лишь удивился Леха: на крышах чуть не каждого такого домика торчали кресты.

— Это не кресты, — пояснила со своего балкона Маруся, — это антенны. Для телевизоров. — И добавила: — А нам скоро газ подключат.

— Какой газ? — не понял Леха. Он знал: газ можно давать машине, чтоб быстрее бегала, а зачем его давать, скажем, Марусе?

— Эх, ты, — упрекнула его Маруся, — на газу можно яичницу жарить. Как в печке. Деревня...

Леха обиделся: как будто сама из города. Он уже хотел было уйти с балкона, как вдруг Маруся ласково предложила:

— Так будем мы драться?

— Нет, — сказал Леха, — с воображаемыми я не дерусь. Да и некогда мне тут балакать.

С балкона он увидел, как понуро стоял внизу Стригунок и Красуля нетерпеливо крутила рогами, стараясь отвязаться от телеги. Леха пожалел Красулю и отвязал, пустил пастись, а отец заругался:

— Сам все сделаю. Иди с Наткой побудь. А то навалили все на Алису.

Никто ничего на тетю Алису не наваливал, она сама как угорелая носилась из комнаты в комнату, ставила стол, стулья, взбивала на кроватях подушки, а на кухне еще и блины затеяла печь. Увидела вдруг Леху, бросила и блины, и подушки, умчалась в магазин.

— Погоди, я сейчас...

И правда, не прошло и получаса, как она появилась на пороге радостная, протянула Лехе блестящий портфель, даже не портфель, а ранец, пояснила:

— Чтоб на спине книжки носить, как по науке.

Леха чуть не взвыл от счастья. Он схватил ранец и выскочил с ним на балкон: похвастаться перед Марусей. Но Маруся смирila его презрительным взглядом и обозвала:

— Первачок-дурачок, зацепился за крючок.

— А ты, а ты, а ты! — закричал в сердцах Леха. — Рваное ухо — вот кто ты!

— Зато мой папа — тракторист! — ничуть не обиделась Маруся.

— И мой будет трактористом! А захочет — бригадиром.

— Вот тогда я тебя уж точно отлуплю!

Скоро они помирились с Марусей, потому что та не выдержала и пришла помогать устраиваться на новом месте. А еще пришел Виталька и тоже стал помогать.

— Не трусь, — сказал он Лехе, когда они диван вносили, — теперь я каждый день буду катать тебя на своем мотоцикле.

— А как же Галина? — спросил Леха.

— Что Галина?

— Она ж тебя бросила.

— Ничего, — вздохнул Виталька, — не такая ж она дура, опомнится. Я подожду.

Кроме балкона, Лехе понравилась и кладовка, темная и таинственная. Вот где можно будет от Натки прятаться. А еще понравилась уборная. Ну, разве это не чудо? И никуда бегать не надо, особо в мороз.

Уходя, председатель пригласил всех на собрание в клуб, и Лехе уже не терпелось, хотелось и туда сбегать, чтоб поглядеть своими глазами, что там да как.

Отец не пустил:

— Заблудишься. А еще, — сказал, — в школу пойдем записываться.

— Когда?

— А вот как только устроимся.

Леха снова вышел на балкон, стал ждать, пока в доме управятся. Под балконом рос клен, ветки его чуть не в окно лезли, и Леха попробовал перепрыгнуть на него прямо с балкона. Не рассчитал и чуть не грохнулся наземь. Добро штаны за сук зацепились. Но сук закачался, и штаны затрещали. Леха молчал. Увидят — прибьют. Висел на суку и размышлял, что же делать дальше.

Первой его увидела Маруся.

— Правда, там хорошо? — сказала она и попросила: — Ты немного повиси, я тоже к тебе прилезу.

Только тут Леха испугался.

— Не смей! — крикнул он. — Убьешься!

Этот его крик и услышал, видать, Виталька. Но он

был хорошим парнем и не стал никому докладывать, а просто поставил лестницу и снял Леху с дерева, лишь мазнул по затылку ладонью.

— Ну, ты — летчик! Летать можно с парашютом, а не так!

После обеда отец повел Леху в школу. Тетя Алиса тоже хотела с ними пойти, но надо было доить Красулю.

Леха шел и одной рукой держался за полу отцовского пиджака, — не будет же он, как маленький, держаться за руку. А на плечах скрипел новенькими ремнями ранец.

— Зачем он тебе? — спросил отец. — Нам ведь только записаться сегодня.

Леха не послушался. Записаться или не записаться, а у него, как у солдата, все должно быть с собой. Ранец за спиной, синий камень в кармане. Учительница посмотрит на него, скажет:

«Этого обязательно надо в школу принять, настоящий солдат».

Учительница так и сказала:

— Ишь, какой бравый.

Только она оказалась вовсе не учительницей, а директором школы и пожелала Лехе достойно начать свою трудовую жизнь.

— Учеба — это труд, — сказала она.

Леха усмехнулся: какой же это труд — ходить с новеньким ранцем за спиной. Не труд это, а счастье.

Правда, вслух он этого не сказал, про себя подумал. А тут пришел еще один мальчик записываться, и директор стала проверять его на сообразительность: сколько пальчиков на левой руке, сколько на правой. Леху она почему-то об этом не спрашивала. Но когда они уже собрались уходить с отцом, директор вдруг сказала:

— погоди, Старков, может, и ты мне придумаешь задачку?

Леха думал, думал, даже глаза зажмурил от напряжения, но так ничего и не придумал. А тот, другой мальчик, придумал.

— Два отнять два, — сказал он, — сколько получится?

— Молодец! — погладила его по голове директор. — Ну, и сколько получится?

— Ноль! — гордо сказал мальчик.

А Лехе стало грустно: он не понял, что такое ноль.

Директор стала ему объяснять:

— Ну вот, смотри, Старков. Например, у тебя было два яблока и ты их съел. Что у тебя осталось?

— Два огрызка, — сказал Леха.

Долго потом отец смеялся над Лехой, когда они возвращались из школы домой.

— Сам ты огрызок, а еще злишься...

Леха не злился. Ему просто стало обидно. Разве ж он неправду сказал про огрызки, а они все смеются. Была б жива мама, она б не засмеялась. Мама прижала бы его к груди, приголубила.

«Хочешь, сынок, я тебе байку сбаяю?»

Леха вдруг так ясно услышал мамин голос, что даже обернулся. Позади никого не было. Тогда Леха отдал ранец отцу и направился к телеге, одиноко стоявшей под липой. Залез, подстелил под голову сена и закрыл глаза.

«Рассказывай, мам».

Мать склонилась над ним, руки теплые-теплые, заговорила, как песню запела:

«Шел бай по стене, нес лапти на спине, сбаять ай не?»

«Сбаять», — сказал Леха.

«Шел бай по стене, нес лапти на спине...»

Дальше Леха не слышал. Только слышал, как Маруся дергала его за ногу, будила: вставай! Он не хотел вставать, потому что снилось ему, что он вовсе не спит, а идет с отцом на колхозное собрание. На собрании много-много народу и все хлопают, не ему, конечно, а председателю. Но вот председатель поднимает руку и говорит:

«Товарищи колхозники, предлагаю вместо Сани Маленького выбрать бригадиром Леху Старкова!»

Леха так обрадовался, что соскочил с телеги и побежал неизвестно куда. Опомнился лишь тогда, когда увидел на балконе Марусю.

— Тебя что — муха укусила? — смеялась Маруся.

Леха не ответил. Поднялся в свою квартиру, открыл дверь. Тетя Алиса и Натка сидели вдвоем на кровати и бодались лбами, как маленькие. Так и он, бывало, бодался с мамой, а Натке было, видать, все равно, с кем бодаться, и она громко хохотала, будто ее щекотали. И как-то так вышло, что Леха на минутку тоже забыл, кто это сидел на кровати и играл с Наткой, и спросил:

— Мам, а где папка?

Спросил и только потом одумался: кого это он называл мамой, а тетя Алиса вздрогнула, замерла и не могла ничего сказать — язык отнялся. Так и не дождав-

шись ответа, Леха потоптался у порога и вышел. По привычке он хотел сбегать к виру, но вовремя спохватился: это ведь не Старики. Тогда он сел под кленом и стал глядеть в небо: может, оно тоже не такое, как в Стариках? Подошла Маруся. Теперь у нее, кроме уха, была завязана и коленка.

— Опять с кем-нибудь подралась? — спросил Леха.

— С кошкой. А ты чего ж на собрание не пошел? У нас все пошли.

— А ты?

— У нас замка нету.

— У нас тоже нету, — почему-то соврал Леха. — Зачем замки? В Стариках сроду ни у кого замков не было. Айда на собрание.

Маруся согласилась, и они вприпрыжку побежали к колхозному клубу. Прибежали, запыхавшись, но зря торопились — собрание еще не начиналось. Возле клуба и внутри него стояло, сидело, ходило много людей, и Леха удивился: это были все сплошь мужики. Откуда столько?

«Неужели они все бригадиры?» — подумал Леха и стал искать среди них отца. Вместо отца натолкнулся на Саню Маленького.

— Ты чей? — спросил его Саня и засмеялся: на этот раз он отлично узнал Леху. — Ну как — устроились?

— Помаленьку, — ответил Леха и зевнул, хоть и был рад неожиданной встрече.

— А я, понимаешь ты, решил повременить, — сказал Саня Маленький. — Куда мне с моей оравой с насиженного места трогаться? Да и неизвестно, что из всего этого коленкору получится. Надо мной покамест и в Стариках не каплет. Так ай не?

— Не знаю, — сказал Леха. Ему было как-то неприятно глядеть на Саню. Здесь, на Центральной, среди многих рослых мужиков он и в самом деле был маленьким и не ходил гоголем, как в Стариках, а рассыпался перед всеми мелкой птахой. Даже с Лехой по душам разоткровенничался.

— Ну, с Алисой как? — спросил он, подмигивая. — Мамкой еще не зовешь?

— Вот еще! — Леха нехотя отвернулся. Не хватало, чтоб он Сане Маленькому во всем признался. К тому же в толпе валивших в клуб он не увидел, а услышал отца: тот смеялся. Леха остановился как вкопанный: никогда он не слышал, чтоб отец так смеялся, и поспешил

на этот смех. Отыскав отца, он вцепился в его руку, и их чуть ли не внесли в клуб, потому что объявили выступление председателя.

— Дорогие товарищи колхозники! — сказал председатель. — Поздравляю вас с досрочным выполнением плана продажи государству хлеба!

Вокруг захлопали.

Дальше председатель начал рассказывать о каких-то процентах. Леха не понял. Зато он увидел, как в открытую дверь клуба залетела ласточка, покружилась над головами и спокойно уселась на люстру. Длинным своим клювом она тихонько постучала по стеклу, будто прося внимания, и вдруг как залилась: «Чик-чик-чик-чирик». Прямо не дает слово сказать председателю.

Он поглядел на нее, улыбнулся.

— А теперь вопрос, так сказать, частный, но важный. До правления дошли сведения о неправильном поведении бригадира Стариковской бригады Сани, простите, Александра Богатырева. Пользуясь тем, что деревня находится как бы в стороне и выпала из нашего поля зрения, он превысил данную ему власть, поставил себя над народом и потерял, таким образом, уважение рядовых колхозников. Я предлагаю Александра Богатырева от руководства бригадой освободить. Прошу голосовать.

Леха слушал и своим ушам не верил. Все выходило точно так, как во сне, или так, как будто он снова зажмурился. Наверное, дед Егорыч все-таки написал бумагу председателю, как обещался тогда, на печке... А может, председатель и сам догадался? Он небось хитрый. Только нарочно прикидывается, чтоб не все разгадали. А Леха разгадал. Председатель — хороший, вот что, хоть у него лишь один глаз смеется.

Он хотел поделиться своим открытием с отцом, но тот взял Леху за руку и потащил к выходу.

— А кино? — уперся Леха.

— В кино завтра сходишь.

— Ага, завтра, может, не будет.

— Здесь кино каждый день крутят, успевай смотреть.

Они вышли из клуба и пошли широкой улицей, как будто у себя дома. В окнах уже зажигались лампочки, хотя небо было еще все в отсветах заката. А сзади, от клуба, их догоняла песня: «Главное, ребята, сердцем не стареть». Догоняла, да все догнать не могла. Зато догнал на своем «газике» председатель:

— Садись, леший, подброшу.

— Спасибо, Иван Захарыч, тут пехом рукой подать.

— Садись, поговорить надо.

Председатель уже успел переодеться в какую-то замасленную куртку и снова стал похож не на председателя, а на обыкновенного шофера.

— Ну, как, леший, надумал ко мне в бригадиры?

Отец немного помолчал, раздумывая.

— Нет, Иван Захарыч, — наконец сказал он, — какой из меня бригадир? Мне на трактор хочется. Поглядел я: техники тут у вас!

— Насчет техники — да. А к весне еще три трактора обещают. Эх, леший, да мы тут такие дела развернем — самим чертям тошно станет.

Он внимательно поглядел на отца.

— Ты в партию думаешь вступать?

— А я уже давно в ней, Иван Захарыч, — сказал отец, — еще с армии.

Председатель даже машину затормозил.

— Какого ж дьявола! В партии, а в лесу хоронишься. Дураком прикидываешься?

Отец молчал.

— Сани Маленького он испугался! — горячился председатель, крутя баранку.

— Да не испугался я. Просто связываться не хотел.

— Ах, не хотел связываться? Белы рученьки свои марать? Дескать, пусть за меня для меня жизнь устраивают! А я в сторонке поживу. Так, что ли? Нет, леший, ты сам рукава засучи да в драку, чтоб всякая грязь наружу не лезла. Вот это по-нашенски! Вот тут я тебе помощник. Но и ты мне должен помочь! На одной ведь земле живем, так что...

— Спасибо, Иван Захарыч, — перебил его отец, — вот мы и приехали.

Председатель протянул руку сперва отцу, потом Лехе. Причем, пожимая руку, он повернулся так, что Лехе был виден только один глаз — грустный. И глаз этот глядел печально, будто и у Лехи помощи просил.

Засыпал Леха в этот вечер поздненько.

— А как же синий камень? — вдруг вспомнил он. — Неуж потерял?

Камень был на месте, в кармане штанов. Леха осторожно достал его, положил себе под подушку.

«Ладно, — решил, засыпая, — я его завтра председателю подарю: пусть у него оба глаза станут веселыми».

Круглая

МОЛНИЯ

Повесть

1

Вернувшись домой поздним вечером, Иван Макарович еще сумел заставить себя загнать машину в гараж, выключить зажигание, а вот чтоб выйти из машины, сил уже не хватило.

— Сейчас, сейчас, — сказал он сам себе, откидываясь головой на спинку сиденья, — сейчас...

Но глаза помутнели, закрылись, и так сладко сделалось телу, будто с ходу, с жару нырнул он в прохладную воду, распластался на мягком, колышущемся дне. Волны тихо убаюкивали его, и чей-то протяжный голос запел песню. Песня была чистой и прозрачной, как речная вода, и очень знакома, хотя слов и нельзя было разобрать — только голос, ласковый и печальный, как голос матери в далеком детстве. И долго-долго, нескончаемо долго плыл этот голос, то затихая, то вновь разрастаясь и заполняя все вокруг.

Вечер между тем сменился ночью — глухой, крупнозвездной. Правда, звездам недолго пришлось гореть в небе; взошла луна и затмила их своим зыбким латунным светом. Луна всходила низко, из-за леска, и заглянула в раскрытый настежь гараж, коснулась мягким лучом сначала руки Ивана Макаровича, потом щеки. Он вздрогнул и отмахнулся от луны, как от кошки: дескать, пошла прочь, нашла время ласкаться. Но так как кошка не уходила, а продолжала водить лапой по лицу, он открыл наконец глаза. Так вот какая это кошка — небесная.

Иван Макарович взглянул на часы: ого, уже половина третьего, скоро, глядишь, и светать начнет. Ворочая затекшей шеей, он прошел в дом, лег на широкий диван под окном. Теперь лежать стало удобно, и подушка нежно таяла под щекой, но сон, как нарочно, не шел. В голове неприкаянно заворочалось: как завтра с погодой? Хотя какое — завтра! Уже сегодня...

Даже с закрытыми глазами он будто видел перед собой ясное небо и луну с чуть вогнутым боком — на

ущерб пошла, значит, с погодой, считай, повезло. Вот только надолго ли? И тут же — мгновенно — без какой-либо связи он вспомнил Федора Драча, его скорчившуюся фигуру: схватило прямо под комбайном. Язва желудка, будь она трижды неладна, а чтоб полежать в больнице, подлечиться как следует — об этом Федор и слышать не хочет. Вот и прижало, да как не вовремя... Лучший механизатор колхоза, кем его заменить? Правда, сам Федор заверил, что отлежится ночку, а завтра, как штык, опять на комбайн. Хорошо бы, конечно, но может ли он так рисковать людьми? Технике каждую весну устраиваем профилактику, а людям?

— Нет, — решил Иван Макарович, — чего бы это ни стоило, а Федора от работы завтра отстраню. Не последний ведь день живем. Не последний...

Повернувшись на другой бок, Иван Макарович снова попытался заснуть, но не тут-то было. Тогда он стал считать, говорят — помогает. Но вместо цифр в голову лезли все те же думы: кем же заменить Федора? У других то одно поломается, то другое, у Федора же всегда все в порядке. Потому что хозяин. Хороший хозяин ладит телегу зимой, сани летом. А сам-то он как? Все ли продумал? Вроде бы все. Специалистов накачал, с механизаторами поговорил. Техника тоже, как говорится, в полном боевом. Две бы недельки погоды, и хватит. За две недели они с лихвой управятся. И дожинки справят. И наградят победителей. Как на фронте после боя: у кого грудь в крестах, у кого голова в кустах. Ну, голова-то, если и достанется, то только его — председательской. Так намылят. Без венчика выпарят...

Иван Макарович усмехнулся: в первый раз, что ли? За десять лет работы — неужели уже десять? — ему всего доставалось с лихвой: то снимали, то орденами жаловали.

— А все это из-за бороды, — шутили над ним другие председатели, — да сбрей ты ее к шутам.

— Что вам далась моя борода?

— А то, что ты нам весь стиль портишь. Единственный во всей области бородатый председатель колхоза. А может, и во всей стране...

Он и сам не понимал, почему так упорствовал, не сбривал бороду. Может быть, в память об отце? Единственное, что осталось у него от отца, — это маленькая выцветшая фотокарточка, с нее молодцевато глядит на мир чернявый человек в аккуратной бородке.

«Может, наследственное? — думал Иван Макарович, а где-то подспудно тайлась мысль: — Пусть отец не дожил свое, я за него доживу, ведь все говорят, что я — вылитый батя. А что касается бороды, пускай шутят кому не лень. Каждому ведь не объяснишь, что да как. Да и стоит ли объяснять?»

Луна куда-то исчезла, и в окне проклюнулись звезды. Правда, свет их был неярок, потому что начиналось уже утро. Вдруг одна звезда вспыхнула ярко-ярко и полетела наискосок по небу, чертя за собой длинный огненный след. Говорят, увидеть падающую звезду — к счастью. Успей лишь загадать желание. Иван Макарович не успел. Хотя зачем ему загадывать? Желание у него сейчас одно: убрать хлеб. Как говорится, вовремя и без потерь.

Иван Макарович, задумавшись, еще долго глядел в окно, но звезд больше не падало. Тогда он встал, решил пройтись освежиться в сад.

— Папка, ты куда? — тут же вскинулась за перегородкой дочь Катя.

— Спи, спи, тут я. Жарко что-то...

Сквозь густую яблоневою зелень звезды едва прокалывались, зато с другого конца деревни, с пригорка, где стояла школа, ярко бил в глаза свет из окна. Кто ж это там тоже не спит?

Иван Макарович присел на пенек от старой срубленной яблони, задумался: наверное, она — Вера Сергеевна. А ей-то чего не спится? Книжку небось читает. Про антимир. Чудачка... Молнию хотела схватить...

Прислонившись головой к стволу яблони, Иван Макарович закрыл глаза, стараясь оживить в памяти тот день, когда он в первый раз увидел ее.

...Было это неделю назад. Возвращался он тогда с бюро райкома. Отчитывался о ходе строительства животноводческого комплекса. А тут дождь — внезапный, грозовой. Ему бы спокойно ехать по шоссе, а он свернул на проселочную — сократить путь. Нажал на газ, думал обогнать дождь — не обогнал. И скоро «Москвич» застрял в раскисшей колее. Ни вперед, ни назад — за-сосало по самое брюхо. Ну, он и отправился в третью бригаду, чтоб помогли вытащить машину.

На подходе к деревне ему встретился дед Кузьма. Маленький, круглый, он так и катился с пригорка, держа под мышкой мокрый, исхлестанный веник.

— С легким паром, дед Кузьма.

— Спасибо, Макарыч. А ты не желаешь отвести душу? Ох и ядрен ноне парок!

— Как-нибудь в другой раз.

— А ты чего пехом?

— Да вот машина застряла.

— А ты зайди обсушись. Пережди дождик. Видишь, окошко в небе проглянуло, значит, скоро кончится.

Изба деда Кузьмы оказалась просторной, но очень низкой — от старости в землю вросла — так что Ивану Макаровичу пришлось чуть ли не в пояс согнуться, входя на порог.

— Так и живешь один, дед Кузьма?

— Почему один? Вдвоем с котом. Тоже Кузьмой зовут. Вот и мыкаем горе — два Кузьмы.

И он показал на лавку, где сидел большой рыжий кот и плотоядно облизывался, глядя на копошащихся в углу цыплят.

Иван Макарович снял мокрую куртку, оглядываясь, куда бы повесить.

— Сейчас печку растоплю, — засуетился дед Кузьма и кинулся в сенцы за дровами.

Из-за дождя в хате был полумрак, может, поэтому Иван Макарович не сразу заметил сидящую в дальнем углу женщину.

— Простите, здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответила та, но даже не взглянула на него, занятая чем-то своим, а чем, Иван Макарович так и не разглядел.

С охапкой березовых дров в избу ввалился дед Кузьма.

— Везет мне сегодня на гостей, — сказал он, подкладывая в печь шуршащую, сухую бересту — для растопки. — Только собрался в баню, гостя на порог. А ты что же, Макарыч, не знаешь? Это ж ваша, снегиревская, учителька. Грибы в лесу собирала и заблудилась. А тут дождь...

У ног учительницы стояла корзина с несколькими колосовичками, сама же она сидела спиной к окну, а руку держала почему-то вытянутой вперед и чуть-чуть вверх, как для салюта. И только приглядевшись, Иван Макарович увидел, что по оголенной руке у нее ползет пчела.

— Укусит, — засмеялся он.

Учительница лишь улыбнулась:

— Зачем ей меня кусать? Я ей зла не желаю.

— Придвигайтесь к огню, — пригласил дед Кузьма, — сушитесь.

— Так вы новый биолог? — догадался Иван Макарович. — Вера Сергеевна, кажется? Ну, как там моя дочь Катя?

— Очень любознательная девочка, — ответила Вера Сергеевна. — Правда, иногда подленивается. Но с кем не бывает? Это ведь дети...

Она придвинулась к самой печке, стала смотреть в огонь. Короткие волосы ее, подсыхая, чуть курчавились и сползали на глаза. Тогда она нетерпеливо отбрасывала их взмахом головы, но волосы опять падали на лицо, мешая глядеть в огонь.

— Дети, — вздохнул Иван Макарович, — милые мои ребятишки.

— А вы что — тоже учитель? — спросила Вера Сергеевна.

— Бывший.

— Не понравилось?

— Просто судьба так сложилась.

— Судьба? — переспросила Вера Сергеевна, и в голосе ее он уловил насмешку.

— Не судьба — райком партии. Вызвали, рекомендовали.

— И вы согласились?

— Как видите, — Иван Макарович развел руками. — Теперь уж, наверное, все перезабыл. В каком году были Пунические войны?

Вера Сергеевна переправила ползшую пчелу на другую руку и лишь потом взглянула на председателя...

— Конечно, зарплата современного учителя...

— Не в зарплате дело, — не дал ей закончить Иван Макарович, — хотя...

Он взял кочергу, поправил в печи поленья, отчего огонь полыхнул так жарко, что Вера Сергеевна отодвинулась.

— Вы моей пчеле крылья опалите. А без пчел у вас и рожь не зацветет... — Приподняла руку, давая возможность ближе разглядеть мохнатую, в белых ворсинках пчелу. — А все-таки почему вы сменили профессию? — помолчав немного, спросила она.

Иван Макарович засмутился, сгреб в ладонь свою бородку.

— Как вам это объяснить... Понимаете, ведь я тут родился.

— Ну и что? — не приняла его ответа Вера Сергеевна.

— Да ведь уже по одному этому на мне лежит, думается, некая ответственность. А может быть, даже вина...

— Вина? Перед кем?

— И снова не знаю, как вам сказать... Ну, перед людьми, перед землей... Перед совестью своей, наконец. Нужно же было кому-то поднимать колхоз — совсем разваливался. Руководители — сплошь «варяги», что им до наших деревенских бед. Вот я и взялся. — Он улыбнулся: — К тому ж, можно сказать, я не менял профессии. Председатель колхоза тоже воспитатель.

— Выходит, вы смирились со своей судьбой?

Она посмотрела ему прямо в глаза — так смотрят судьи или дети, требуя ответа начистоту, и он честно признался:

— Кажется, смирился... И только иногда во сне уроки веду... Двоечки в журнал ставлю...

— Хорошо, что во сне хоть — двоечки-то, — раздумчиво согласилась Вера Сергеевна и умолкла, будто забыв и про самого Ивана Макаровича, и про их разговор.

Теперь они сидели молча, лишь огонь потрескивал в печи да за окном то и дело сверкали молнии, погромыхивал гром.

— Кажись, проносит, — крестился дед Кузьма. — Оно бы и хватит...

Ивану Макаровичу хотелось расспросить Веру Сергеевну, как попала она к ним — по распределению или по своей охоте, и надолго ли, но он почему-то не решался. К тому же хорошо было сидеть в старой деревянной избе, смотреть в огонь и ни о чем не думать. Сидеть и все. Но чтоб рядом сидела и она — такая строгая, большеглазая, с короткими волосами, все время падающими на глаза. Правда, сбоку Ивану Макаровичу был виден лишь один ее глаз, прикрытый длинными густыми ресницами. И был он странно похож на ползающую у нее по руке мохнатую пчелу.

Вера Сергеевна пошевелилась.

— Чему вы улыбаетесь? — спросила она.

— Я не улыбаюсь. Я завидую.

— Кому?

— Пчеле. Вы так на нее смотрите...

Она медленно повернула голову, с любопытством разглядывая его.

— Вот вы какой...

И вот тут-то и произошло. Полыхнула молния — яркая, слепящая, и раздался гром. Не гром — грохот. Разряд был такой сильный, что рыжий кот Кузьма встрепенулся на лавке, как бы соображая, куда бежать спастись.

Никто не увидел, откуда он появился, но он появился — маленький голубоватый шарик — и медленно поплыл по избе в ореоле туманного сияния. Выплыв на середину избы, он вдруг остановился, потом медленно поплыл обратно.

Как зачарованная глядела Вера Сергеевна на этот плавающий по избе шарик и, когда он подплыл совсем близко, вдруг вскинула руки, чтоб схватить его.

— Не троньте! — крикнул Иван Макарович.

Она не испугалась — испугался шарик. От крика он шарахнулся в сторону и вдруг исчез, словно растаял. В избе сразу потемнело, запахло серой, а ошалевший кот сиганул на печь. И только Вера Сергеевна осталась, как и была, — с протянутыми вперед руками.

Первым опомнился дед Кузьма.

— О, господи, — перекрестился он, — не даром я худой сон видел. Будто б меня конь лягнул. А конь — не к добру. Вот и лягнул бы на тот свет. Да, слава богу, пронесло...

Вера Сергеевна несколько раз качнула головой, словно стряхивая с себя наваждение.

— А что это было? — недоуменно спросила она.

— Круглая молния, — пояснил дед Кузьма. — Или как там у вас, по-ученому — шаровая. Я, признаться, и сам в первый раз с ней столкнулся. Слышать — слышал, а чтоб вот так: нос к носу...

— Но она какая-то странная, — сказала Вера Сергеевна, — поплавала-поплавала по избе, остановилась, дальше поплыла.

— Это она познакомиться с нами прилетала, — пошутил дед Кузьма, — а ты и рада. Руками хотела поймать. Поиграться... Она бы с тобой поигралась... Так бы шарахнула — и косточек не собрать...

Наверное, это был последний всплеск грозы — потому что, когда дед Кузьма открыл дверь, на улице уже всю сияло солнце.

— Вот старый дурень, — корил себя дед, — печку затопил. Разве ж можно в грозу печку топить?..

Вера Сергеевна все еще сидела перед печкой, беспомощно сложив на коленях руки.

— Выходите на улицу! — позвал ее Иван Макарович. — Красота какая!

Она словно не слышала. Между тем в углу, из-под корзинки, выполз маленький желтый цыпленок, кот Кузьма тут же углядел его и прыгнул с печки. Но его опередил дед Кузьма.

— Ишь, разбойник... Свежатики захотелось. Я тебе покажу свежатину! — Он поднял кота за шкурку и выбросил за дверь. — Иди-ка, освежись маленько...

Когда Вера Сергеевна выбралась на улицу, то даже зажмурилась от ярко бьющего, словно помолодевшего, солнца.

— Вы знаете, — задумчиво произнесла она, — я где-то читала, что шаровая молния — это сгусток антиматерии. Быть может, в этом маленьком голубом шарике заключена целая Вселенная. Представляете? А в этой Вселенной где-нибудь в уголке мы с вами. Не мы, а антимы.

— Как это — антимы? — не понял Иван Макарович.

— Ну, например, я — это вы, а вы, наоборот, — это я, — улыбнулась Вера Сергеевна.

Тогда Иван Макарович не придавал значения этим словам: что это за «антимы»? Но проходило время, и он все чаще задумывался: неужели есть какая-то другая жизнь, кроме той, которой живет он, и живет счастливо? Все у него есть: семья, дом, работа... Что еще человеку нужно? Но стоило только закрыть на мгновение глаза, как вставало в них одно и то же: низкая изба деда Кузьмы, маленький голубоватый шарик, плывущий сам по себе, и Вера Сергеевна с протянутыми к нему руками. А что, если б он не успел крикнуть, и она бы схватила этот шарик?..

Машину кое-как вытащили, и они поехали в Снегиревку. Учительница молча сидела сзади, время от времени тихонько охая, когда машину резко заносило в сторону.

— Держитесь! — кричал ей Иван Макарович и оправдывался: — Не могу ехать тише, иначе как бы опять не застрять.

Наконец выбрались на хорошую дорогу — впереди показалась Снегиревка, вся в зелени берез и лип.

— А у вас тут красиво, — сказала Вера Сергеевна.

— У нас? Значит, вы ненадолго к нам?

— Не знаю... Как сложится. Скучно очень.

— Скучно? — удивился Иван Макарович.

— Когда занятия, конечно, скучать некогда. А вот в каникулы...

— А хотите я вам работку подкину?

— Какую?

— Был я весной на одной опытной станции под Ленинградом. Они там новый сорт озимой пшеницы вывели. «Малышок» называется. Из одного корня десять — двенадцать стеблей. Урожайность до восьмидесяти центнеров с гектара. Но в производство сорт пока не сдан. Выпросил только два килограмма. Отдать агроному — боюсь, не загубил бы по молодости. Займитесь, а? На школьной делянке... Глядишь, и разведем свой «Малышок». Ну, так как?

— Я подумаю, — ответила Вера Сергеевна и протянула председателю руку, — спасибо, что подвезли.

— И вам спасибо.

— За что?

— За то, что послушались меня и не схватили молнию.

— Ну, это еще неизвестно, что лучше, — ответила Вера Сергеевна и как-то странно улыбнулась.

Что скрывали за собой эти слова и эта странная улыбка, Иван Макарович тогда не понял, не понимал и сейчас, и оттого становилось тревожно на сердце, хоть он и отгонял эту тревогу, заслоняя ее привычным — думами о погоде, об урожае, о земле.

Наступало утро. Потихоньку — куда ей торопиться? — стала бледнеть луна, а край неба на востоке густо заалел, радуясь восходящему солнцу. Пора было начинать рабочий день.

Чтоб не разбудить жену и дочь, прошел на кухню, вскипятил чай, но пить не стал — даже чаю в такую рань не хотелось.

— Ладно, к завтраку подскочу, — решил Иван Макарович и направился в контору.

Новый председательский дом стоял чуть на отшибе — сам место выбрал — на крутом берегу речки Лучесы, и прямо от калитки открывался широкий вид на заречные луга, переходящие в темный — на горизонте — лес. Красота! Особенно по утрам, когда луга стояли, затянутые туманом, а лес за ними будто висел в воздухе. Туман окутал и деревню. Лишь кое-где сквозь серую густую наволочь пробивались красные трубы над крышами домов. В середине деревни туман лежал особенно плотно — там было озеро, и Ивану Макаровичу вдруг подумалось

что улицы Снегиревки сбегали к озеру, как овцы на водопой.

Улицы эти были узки и кривы, одна же, за озером, тянулась ровно, как стрела. Там строился новый поселок, выходящий прямо на большак. В новом поселке уже светились окнами двухэтажные дома со всеми удобствами, но снегиревцы не торопились в них переходить, держались своих старых усадеб.

«Ничего, время покажет», — думал сейчас председатель, спускаясь кривыми улочками к конторе и слушая, как просыпается деревня. Громко звякнул где-то подойник, молодой петушок прочистил горло, корова промычала. И снова все затихло, притаилось.

Но вот тишину утра резко всколыхнул треск «Кировца». Иван Макарович оглянулся: кто это в такую рань? Трактор-то он различил, за рулем никого не увидел, будто «Кировец» шел сам, своим ходом. Не доехав до председателя шагов двадцати, он вдруг круто свернул в проулок.

— Стой, стой! — крикнул Иван Макарович и замахал руками.

Трактор остановился. И, только приблизившись чуть ли не вплотную, он увидел за рулем белобрысого мальчишку. Догадался: наверное, младший Драчонок.

— Ты — Костя? — спросил он наугад.

— Нет, я Петька. Костя уже в армии служит... А мы с вашей Катей в одном классе учимся. — Мальчишка шмыгнул носом и попросил: — Вы только мамку не ругайте, ладно?

— За что?

— За то, что она мне свой трактор дала. Она не давала, — узнает, говорит, председатель, убьет меня.

— Не убью, — улыбнулся Иван Макарович. — Отец как?

— Всю ночь соду пил, вот мамка одного его на комбайн и не пускает. Помрешь, говорит, в борозде. А зеленку все равно подвозить надо. Я умею. Честное пионерское. Я уже сколько разов ее подвозил. Трактор меня слушается...

И Петька грязной своей ладошкой ласково похлопал по радиатору, будто коня по холке.

— Ну, раз слушается, — усмехнулся Иван Макарович.

— Тогда я поехал? — обрадовался мальчишка.

— Давай жми!

От этой встречи на душе у Ивана Макаровича слов-

но бы потеплело. Хорошая семья у Федора. Механизаторская. Семь ребят — и все к технике тянутся. Самый младшенький и тот на подмогу пришел...

Впереди из тумана выплыли окна конторы. Он, грешным делом, думал, что придет раньше всех, но ошибся. В березнячке у крыльца конторы уже дымили папиросами главный инженер Саблин и парторг Семен Дмитриевич.

— С праздником вас! — сказал Иван Макарович.

— А какой сегодня праздник? — поднял на него глаза Саблин. Был он черен от загара, лишь зубы блестели.

— Как — какой праздник? Начало жатвы!

Скоро подошел и главный агроном. Этот работал в колхозе первый год и по молодости лет все звали его просто по имени — Николкой.

— Ну так как, Николка, с Выселок начинать будем, а? — спросил у него председатель, хотя все это было решено загодя.

— Да, там сразу можно пускать комбайны, — лицо молодого агронома было серьезным, озабоченным. — А на остальные пошлем жатки.

— Вот и добро! Ну что ж, как говорится — по коням! — скомандовал Иван Макарович и подмигнул собравшимся: не тушуйтесь, дескать, все будет в порядке...

На востоке, за леском, занималась заря. И вместе с ней двинулись на поля и комбайны, чуть приотстали от них трактора с жатками, машины потянулись следом.

Председатель стоял у широко распахнутых ворот машинного двора и, перекрывая грохот моторов, кричал каждому, кто проезжал мимо:

— В добрый путь, Семеныч!

— Счастливо, Коля!

— Братьям Драчам так держать!

— Иван Захарыч, я на тебя надеюсь!

— Не подведи, Василий!

В высокой кабине комбайна «Нива» он увидел Федора Драча: эх, все-таки выехал. Но как же так? Правда, рядом с Федором заметил жену его Наталью и тотчас успокоился.

— Счастливо!

И помахал им рукой.

Надежда решила встать нынче пораньше — знала, какой у мужа день: начиналась страда. Босиком, в ноч-

ной рубашке, вышитой по подолу голубыми цветиками, протопала на кухню, надела передник, задумалась: «Натру-ка я сегодня картошки да напеку драников — Ваня любит их со сметаной».

Пока чистила и терла картошку, много всяких дум передумала: «Когда-то он вчерась домой вернулся? Уже и радио замолчало... Ну ладно, пусть хоть сейчас подольше поспит, успеет наработаться. Как заиграет радио, тут и время, небось проснется. А ей недосуг ждать. Забава должна телиться. Как-то она там, бедняжка?.. Ты погоди, Забавушка, — мысленно обращалась к ней Надежда, — вот я драников напеку, кур-гусей накормлю, корову подою и прибегу. Пусть уж сами тут без меня справляются... Катька, бесстыжая, как малины вчерась принесла, так и бросила, не перебрала, некогда все, за делом и беготню забросила... А Ваня ругается, что радио никогда не выключаю. Так ведь целый день дом пустует, все в бегах, а Трезору скука. А так — полагает, полагает, прислушается: радио говорит, вроде кто-то живой в доме обретаётся...»

Прежде чем разбудить мужа, Надежда подошла к зеркалу, причесалась. Вдруг заметила сверкнувший на виске седой волос. «Батюшки... Неужто старость подошла, подкралась? А я и не заметила...»

Присев на валик дивана, она закрыла лицо руками и так просидела молча, горестно покачивая головой.

«Не то страшно, что старость, а то, что Ваня совсем, глядишь, еще молодой. Вот и выйди с ним на люди... Хотя... Где это они бывают на людях? Последний раз лет пять назад на свадьбе племянницы. Да и то Ваня сразу же от стола уехал — в райком на бюро вызвали. А без Вани какое веселье? Вот и старишься одна-одинешенька... Ну, нет!»

Она повернулась к зеркалу и с ожесточением вырвала седой волос. Зажгла спичку и сожгла его: чтоб и не было! Остальные волосы собрала в тяжелый жгут, замотала на затылке, заколола шпильками — все равно под платком не видно — и только тогда отправилась будить мужа.

— Ваня, пора.

А вместо Вани смятое одеяло, да возле дивана — тапочки: один носком вперед, другой — назад.

— Мам, это ты? — раздался сонный голос Кати.

— Я, дочунь.

— А кого ты ищешь?

— Да папку ищу. Ночевал он сегодня?

— Ночевал, только всю ночь не спал. Звезды выходил считать. Звездочет...

— Ладно! — в сердцах крикнула Надежда. — Не твое дело отца осуждать! — Правда, она тотчас же и пожалела, что крикнула на дочурку, и потому добавила уже ласковей: — Поспи, рано еще.

— А тебе помогать не надо?

— В обед поможешь. Да цыплят не забудь накормить, как вылезут, а то вчерась целый день небось бежали голодные.

— Ладно, покормлю.

Надежда уже дошла до калитки, как позади с треском распахнулось окно, высунулась лохматая спросонок голова Кати:

— Мам, а Забава когда телится?

— Может, сегодня, может, завтра.

— Тогда меня позови, ладно?

— Ладно.

Луг, по которому бежала Надежда к ферме, так и белел ромашками. Среди ромашек синенькими глазками выглядывали колокольцы. Не останавливаясь, Надежда на ходу сорвала ромашку, стала гадать: «Любит, не любит, плюнет, поцелует...» Вышло — «к черту пошлет». Не может быть. Она не поверила. Не такой Ваня, чтоб к черту посылать, если даже не любит. Но тут же ее мысли привычно переключились на другое. Как запоздала Забава с отелом. Другие первотелки уже давно опростались, а эта... Да и то сказать, самая слабенькая была, заморыш, а не телка. Зато уж такая ласковая да разумная. Ходит за Надеждой как привязанная и все норовит лизнуть ее в ухо.

— Отстань! Какая привязчивая... Тебя не Забавой, а Мухой надо бы назвать.

— Му-уу, — отвечает Забава, — дескать, ладно, зови Мухой, только от себя не гони.

Раньше Надежда работала телятницей, за телят и орден получила, а потом перешла на первотелок. План поголовья колхозу увеличили, вот и пришлось молодняк раздаивать. Трудней с первотелками, и заработок сразу снизился, но Ваня сказал: «Надо! Куда тут денешься?» Правда, он сперва Марине Квакиной предложил, но Марина так раскричалась:

— Ты свою женушку на первотелок поставь! Все под крылом держишь? А раз мой в бегах, заступиться, гля-

дишь, некому, вот и ездите на Марине? Пусть ее сопливики с голодудохнут. Пожалеть их некому...

— Марина ты, Марина,— покачал головой Иван Макарович,— язык у тебя без костей, вот и городишь что попадя... Правильно, без отца, но неужто твои дети чем обижены? А с первотелками трудно первый год перебиться, а там и пойдет. Доярки ведь больше телятниц зарабатывают!

— Год не урод, в году триста шестьдесят пять дней, а мне сейчас пожить хочется!

Кричала, кричала Марина, отказывалась, а как Надежда перешла на первотелок, и та за ней — чужое все завидно!

Надежда не корила мужа, что не сумел на своем настоять. Значит, так надо. Она хоть и старше его была, а во всем слушалась. Жалела. Да и как не жалеть, ежели он ни разу, ни единым словом не упрекнул ее. А ведь было за что, ой было! Сколько уж лет прошло, а она себе не простила, что связалась тогда с Костей-шаромыжником. Горы золотые сулил, квартиру в городе. А как своего добился, так и исчез. Был Костик, песни пел, на гармонии играл, и — нет Костика. Будто корова языком слизнула. Вместе с гармошкой.

Всю весну проплакала она тогда, убивалась, руки хотела на себя наложить. А летом вернулся после окончания института в деревню Ваня. Уже не Ваня — Иван Макарович. Купалась она однажды в озере, а он мимо шел. Ну, и остановился.

— Теплая вода? — спросил.

— Ой, теплая, Иван Макарович!

— А чего ты меня по отчеству кличешь? Не вместе ли в школу бегали?

— Когда это было? Быльем поросло...

До позднего вечера просидели они тогда на берегу, и он все ее выпрашивал, все выпрашивал. Не то что Костик. Тот сам любил поговорить, никому слова не давал сказать. А этот все слушал. И незаметно для самой себя Надежда рассказала ему все-все. Никому не рассказывала, все в душе таила, но, видать, лопнула пружина — выплеснулась обида через край вместе со слезами, с проклятьями, и не только на Костика, а на весь растудыканный мужской род, чтоб глазоньки его никогда не видели, чтоб ушеньки никогда его не слыхивали.

— Зачем так? — утешал ее Иван Макарович. — Не

все ведь подлецы. Один, другой попадется, а вы — весь мир виноват...

Он и еще что-то говорил тогда, утешал ее — Надежда не слышала. Лягушки мешали. Как оголтелые кричали они в озере, и не только в озере, но и в кустах. Их скрипуче-призывные голоса наполняли всю ночь. Казалось, сам воздух скрипел от их любовного верещания.

Надежда пошарила рукой по берегу, отыскала в темноте камень и наугад запустила им в воду.

— Ты чего? — засмеялся Иван Макарович.

— А пусть не верещат, всю душу выматывают.

— Ну вот, теперь и лягушки виноваты... — И вдруг совсем невпопад он предложил ей: — Выходи за меня замуж.

Ей показалось, что она ослышалась, и снова запустила камнем в лягушек: уймитесь, бесстыдницы! Но, взглянув на Ивана Макаровича, поняла: не шутит. Но как же так? После всего, что она ему рассказала? И, сгорая от стыда, от жгучего чувства раскаяния, Надежда пустилась наутек. Помнится, она вбежала в сенцы, переполошив спящих за стеной кур, бросилась на кровать и снова проплакала всю ночь, и лишь под утро пришло наконец облегчение. Она села в кровати, обхватила руками голые плечи, будто впервые почувствовав свое тело, и тихонько рассмеялась:

— Чего-то я плачу? Радоваться нужно, а я плачу...

И, повалившись в подушки, крепко заснула. Дома заволновались: не могли никак разбудить, будто летаргический сон на нее навалился, пробовали даже водой в лицо брызгать и пятки щекотать — ничего не помогает, бросили и ушли на работу. А вернулись, она все еще спит, правда, уже на другом боку — значит, живая...

С той ночи и полюбила она Ваню, Ивана Макаровича, всем своим сердцем, всеми жилочками.

Спроворили все честь по чести — зарегистрировались, свадьбу справили, хоть Надежда до последней минуты все страшилась: бросит, уйдет. Не бросил, не ушел. Словом не упрекнул. А уж Надежда за это! Дочку ему родила, как две капли воды — Ваня. Все крошки его подобрала. Был бы и сынок, да только не выносила. Телят из хлева выгоняла, споткнулась нечаянно, закричала от боли. Так и сгинул сынок, еще не родившись. И тут Ваня промолчал. Другой бы: такая-сякая-разэдакая, а он смолчал. Пожалел жену. А может, просто не до того было. В те поры как раз собирались его снимать. За то,

что картошку поморозил... Так ведь погода указке не подчиняется. Одно не доглядишь, другое упустишь — за все в ответе председатель. Не раз Надежда уговаривала его:

— Да плюнь ты на эту должность. Что мы без нее не проживем? — И грозилась: — На следующем выборном я сама против тебя выступлю.

— Смелости не хватит.

— Хоть бы немного пожить, как люди живут. Вон учительница Клавдия Ивановна. Как летние каникулы, так она и пошла по свету шастать. На самой Кубе уже побывала!

— Ты тоже на Кубу хочешь? — смеялся Иван Макарович.

— А что? Хоть будет что вспомнить на старости лет. А тут...

Нет, не сказала она тогда мужу, лишь про себя подумала: «Одно только звание, что жена председателя, а как возилась всю жизнь в навозе, так и теперь возись. На что деньги-то, на что? Хоть бы куда-нибудь съездить — охотку сбить. Куда там! Три года в отпуске не был. Все некогда. Подсчитать, сколько раз за последний месяц его дома видела. Раз пять, не больше. Вечером спать ложится, его еще нет. Утром проснется, его уже нет. В обед если заскочит, поспит с часок и опять на колеса».

Уже на подходе к ферме Надежду догнала Марина Квакина.

— Ну, девка, — сказала она, — совсем ты, видать, заполошилась. Платок наизнанку надела. А это к слезам!

— Ишь ты, гадалка-кудесница!

Надежда быстренько перевязала платок, поспешила к коровам. Задала корма, наладила доильные аппараты. «А ты, Забава, молчи, не реви — тебя еще рано доить. Вот принесешь телóчка, тогда уж...»

Не успела Надежда наладить дойку, как к ней подлетела Марина:

— Ты что, оглохла? Забава телится!..

Подхватила Надежда — ведро с водой опрокинула.

— Ох ты, никудышная, — корила она себя, спеша к проходу, — она уж давно меня зовет, а я — как оглашенная...

Мокрого, скользкого теленочка доярки осторожно положили на солому, и Забава принялась его облизывать.

— Ну вот, — облегченно вздохнула Надежда и по-

вернулась к Марине, — а ты говорила — к слезам... Неверная, выходит, твоя примета.

— Может, и неверная, — согласилась та. — Не я ез выдумала. А ты с радости словно бы не в себе. Поглядела бы — бычок или телочка?

— Телочка, телочка, — засмеялась Надежда, — кормилица...

Стали думать, как назвать новорожденную.

— Лысуня, — предложила Надежда.

— Иди ты со своей Лысуней, — сказала Марина. — Надо что-нибудь посовременней. Фантазия, например, или Акселератка.

Подошел скотник Никита.

— Ишь, какая красавица. Рекордсменкой будет. В Москву вместе поедет. На выставку.

— Понравилось, — подмигнула товаркам Марина, — в одной клетке с быком сидеть. И чтоб тебя люди разглядывали.

— А что? Интересно! — засмеялся Никита. — Они нас разглядывают, а мы их. Кого я только там не перевидал! И белых, и черных, и желтеньких. Как яичко на пасху. А уж одеты! Не то, что вы — каждый день все в тех же халатах. Тьфу, смотреть на вас и то муторно!

— А то ты красавец! Да твой бык и то красивше тебя!

Надежда не слушала их перебранку, торопилась управиться с дойкой.

«Вот нескладеха, — запоздало корила она себя, — не взяла с собой Катьку. Она бы мне скоренько помогла. Да и теленочка хотела поглядеть. А теперь обидится: дескать, нарочно спать заставила...»

Мысли ее были суетливые, перескакивали с одного на другое, а руки тем временем делали свое дело: закрепляли соски, включали аппараты, сливали молоко в бидоны. Молока было много, и Никита, видя, что Надежда не справляется, подошел к ней:

— Давай подмогну, а то надорвешься, мужик любить перестанет.

— У тебя одно на уме. Седина в бороду, бес в ребро...

— Гляди, Надежда, пока ты с коровами возишься, как бы твой Иван к молодой не переметнулся.

— По себе судишь, Никита? — обожгла его взглядом Надежда.

— А хошь бы и по себе! Я тебе так скажу: как нашему брату за сорок перевалило, дюже мы охочи до молодого тела...

И он облапил проходившую мимо Марину. Та, недолго думая, хрястнула его кулаком:

— Думасшь, раз меня мужик бросил, то и лапать можно? Я тебя как лапну, что и лапалки отобью.

— Ничего,— потер скулу Никита,— зато пенсию хорошую назначат.

— Это за что ж тебе пенсию?

— А как же? На рабочем посту, стало быть, производственная травма.

— Ну, и шут ты, Никита...

Возвращалась Надежда с утренней дойки совсем раздосадованная. Разбередил ей душу Никита: «Как нашему брату за сорок перевалит...» Неужто и Ваня такой же? Да ведь и то рассудить: не пара она ему, ох не пара. И годами постарше, и умом потяжелше. Да и грамотенкой послабже.

Всю жизнь это мучило ее, терзало, хоть раньше Надежда над этим реже задумывалась. Говорят, мужику от бабы что нужно? Чтоб любила жарко. Нет, мало, видать, любить, еще что-то нужно. А что — Надежда не знала. Только чувствовала: не тянет к ней больше Ваню, не тянет. Вторую неделю на диване спит. Может, и вправду кто-то у него есть?

От одной этой догадки все похолодело внутри у Надежды, а глазам, наоборот, сделалось жарко. Она подставила лицо ветру, чтоб обдувал разгоряченные щеки, сушил непрошеные слезы.

«Не смей так думать о нем! — твердила она себе, но через минуту, забываясь, опять думала: — Раньше вон какой ласковый был. А теперь? Что теперь? Годы не те. Да и устает он, выматывается. Уставшему какие ласки? Наденькой звал... В ухо любил целовать...»

— Бессовестная, — стыдила она себя вслух, — о чем вспоминаешь. Ну, было и прошло. Каждому овощу свой срок. Хорошо хоть, что было. Так что не жаловаться, а спасибо судьбе говорить. В ножки ей кланяться...

3

Ничего нельзя предугадать заранее. Правда, вчера, возвращаясь с планерки — во время жатвы планерку перенесли с утра на вечер, — Иван Макарович заметил небольшое, выплывающее из-за леса облако. Может быть, он и не обратил бы на него внимания — облако не туча, если бы не странный его цвет — темно-лиловый, как жар потухающего костра. Подивился, глядя на облако: «Кра-

сота-то какая!» А что эта красота может обернуться бедой, и в мыслях не было...

Жатва шла своим чередом: уже убрали комбайнами шестьдесят гектаров озимых, гектаров сорок сжали жатками, и рожь доспевала теперь в валках. Погода стояла отличная. И вдруг...

Иван Макарович спокойно завтракал, просматривая непрочитанную вчерашнюю газету, и тут услышал затарахтевший под окном мотоцикл. Бригадир третьей бригады пожаловал.

«Что там еще случилось?» — забеспокоился председатель, потому что знал: Захарыч — мужик обстоятельный и зря, да еще в такую рань, беспокоить не станет.

— Заходи, чем порадуешь? — пригласил бригадира.

Но Николай Захарович, прежде чем войти, долго топтался на пороге, обмахивая веником заляпанные грязью сапоги.

— Да заходи, что ты там возишься!

Николай Захарович ступил через порог, снял кепку. Вокруг головы у него топорщился венчик седых волос, отчего голова напоминала одуванчик.

— Беда у меня, председатель. Градом весь озимый клин побило.

— Каким градом? — не поверил Иван Макарович. — Что вчера, что сегодня — чистое небо.

— В том-то и дело. Полосой прошел. Как ножом срезал.

— Когда?

— Видать, ночью. Ты вчерась видел — облако на закат плыло? С него небось и полоснуло. Весь клин. Гектаров двадцать.

— А яровые?

— Не зацепило. Стоят.

— Ладно, сейчас доскочим, поглядим.

— Что глядеть? — уныло произнес Николай Захарович. — Я уже все выглядел. Лежит рожь, будто косой подрезанная. Ты не глядеть, Иван Макарович, а давай-ка мне лучше Федора Драча, потому как моим механизаторам там не справиться.

— Заболел наш Федор.

— Тогда ребят его отряжай.

— Значит, ломать весь график? Сколько раз я тебе говорил: отдавай своих механизаторов на курсы повышения. Все их выгораживаешь; ездить, дескать, далеко. А как что, так плачешься...

— Не дашь? — Венчик на голове Николая Захаровича взъерошился, как гребень у петуха перед дракой.

— Нету у меня людей, понимаешь!

— Ну, гляди, Макарыч, как бы потом не раскаяться.

Бригадир натянул на голову картуз с длинным лакированным козырьком, не спеша надел кожаные перчатки.

— А ты что — вроде грозишься? Да что ты мне сделаешь?

Николай Захарович уже заводил свой мотоцикл.

— А вот скажу своим девкам, чтоб за ваших ребят замуж не шли.

— И послушаются?

— А то!

— Ну и хитер ты, Захарыч. Сидишь там, в своем Ополе, как удельный князь. Рад, что бригада самая отдаленная...

Он вернулся в дом, снял телефонную трубку.

— Алло, гараж. Это ты, Саблин? Ну, здорово, главный. Погляди-ка, не выехали там братья Драчи? Хорошо, тогда удержи их покамест. Я сейчас подскочу. А ты приготовь подъемники. Какие? Которыми полеглый хлеб убирают!

Он в сердцах бросил на рычаг трубку.

— Не знает, какие подъемники. Ну и специалистов мне бог послал. С дипломами...

Братья Драчи, Сергей и Виктор, копошились у своего комбайна, но, как только председатель подошел к ним, выпрямились и с недоумением уставились на него. Были они совсем не похожи на отца, все в мать:

— Мы тут живем и в ус не дуем, — вместо приветствия проговорил председатель, — а в третьей бригаде всю рожь градом положило. Так что придется вам, ребята, перебираться в третью бригаду, нужно спасти побитую рожь.

— Всегда у Захарыча не так, как у людей, — проговорил один из братьев — Сергей, — вот чертов одуванчик!

Пока механизаторы прилаживали к комбайну подъемники, Николай Захарович сидел в сторонке, курил, молча наблюдая за работой.

— Признайся, — сказал ему Сергей, — чем ты прогневил господ бога, Захарыч, что среди ясного неба на тебя вдруг град повалил? Согрешил небось с какой-нибудь молодойкой?..

— Согрешишь тут, — недовольно пробурчал тот, — за страду намаешься, свою собственную женку забудешь.

— Ладно тебе лясы точить, — упрекнул его Иван Макарович и обернулся к братьям: — Отец как?

— Лежит, — в один голос ответили те.

Иван Макарович дождался, пока подвесили подъемники, отправил комбайнеров вместе с бригадиром в третью бригаду, а сам решил заскочить все же к Федору. Узнать, что да как.

Федор лежал в саду на маленькой, чуть ли не детской раскладушке, читал газету.

— Что же там пишут? — спросил, подходя, председатель.

— Про погоду? — догадался Федор. — На эту декаду обещают хорошую.

— Они наобещают...

Чтоб не расстраивать Федора, Иван Макарович решил ничего не говорить ему про град в Ополье. Присел рядом на опрокинутую вверх дном деревянную бадейку, поинтересовался:

— Твои где?

— Как где? На уборке. Ты разве не видел?

— Я про младших.

— На экскурсию поехали. В Хатынь.

— На экскурсию — это хорошо, — задумчиво проговорил Иван Макарович. — Значит, за тобой и приглядеть некому?

— А чего за мной приглядать? Лежи себе и плюй в потолок. Видишь? — И он показал на целую батарею пузырьков с лекарствами. — Фельдшерица принесла. Через каждые три часа, как по графику,

— Глотай, раз надо.

— Да я глотаю. А толку?

— Болит?

— Будто тупой пилой пилят.

— Вот и надо в больницу. До каких пор мучиться?

— А в больнице что? Те же лекарства. Тут хоть небо над головой... Не так страшно помирать будет.

— Рано еще нам с тобой помирать.

Но Федор будто не слышал.

— Лежу тут, жаворонков слушаю, и такие мысли в голову лезут...

— Какие мысли?

— Помру, что после меня останется? Ничего.

— Ну, это ты брось! — прикрикнул на него Иван Макарович. — Не тебе приbedняться. Вон каких сынов вырастил. Да не двух-трех, семерых сразу! Поглядел я сегодня на твоих старших. Не парни — дубы. Почему не женишь?

— На ком? — заворочался на своей раскладушке Федор. — Парни в колхозе еще остаются, а девки? Что девочкам у нас делать?

— Вот, погоди, комплекс построим...

— Ты жданками нас не корми. Я-то, может, и подожду, а молодые? Вчерась мой Сергей и говорит: «А не махнуть ли мне, батя, куда-нибудь в Сибирь?»

— А тут тебе не Сибирь? Вон простору сколько...

— Я ему так и сказал. Но у молодых-то своя правда! Федор замолчал и молчал долго, вглядываясь в небо сквозь густую яблоневую листву, словно хотел найти там ответ на все свои сомнения. Вдруг резко обернулся к Ивану Макаровичу.

— Ты как думаешь: тот свет есть?

— Какой — тот? — не понял председатель.

— Ну, загробный. Душа помирает вместе с телом или же нет?

— А то ты сам неграмотный, — усмехнулся Иван Макарович.

— Грамотный. Знаю, что помирает, а не согласен. Не должна она помирать! Не имеет такого права! И пусть там ученые говорят, что нет никакой души, я знаю... Есть душа! Есть! Иначе зачем бы Васька Субботин ко мне приходил?

— Какой Васька Субботин?

— Друг мой фронтовой. Можно сказать, из одного котелка ели. «Эх, — говорит, бывало, Васька, — ты как хочешь, Федюха, а я буду жить!» Погиб в сорок четвертом. Весной. Сидим это мы с ним на пригорке, беседуем. А ландышами пахнет! А соловьи заливаются! Васька вот так глаза закрыл и сидит, наслаждается. Только что он это так долго сидит и не двигается? Смотрю, а его пуля насквозь прошила. Шинель на спине еще дымится. Даже сказать ничего не успел. А я вот живой.

Иван Макарович тронул Федора за плечо:

— Ты что себя коришь? Не всем же погибать. Кому-то нужно было и в живых остаться!

— Да я не за то себя корю, что живой, а за то, что забыл я Ваську. Напрочь забыл. Будто он и не жил на

свете. А каково это Ваське? Обидно же, правда? Вот он и пришел ко мне...

— Как — пришел? — изумился Иван Макарович.

— Забылся я. То ли заснул, то ли задумался. Гляжу: Васька стоит. В шинели. Окурок во рту. «Ты что ж, говорит, мать твою... Один хочешь сто граммов принять? Без меня? Не выйдет!» — Федор рванул на груди рубашку — дыхание перехватило. — Нет, не язва это во мне, — помолчав, проговорил он, — а совесть проснулась. Душа устыдилась. Душу мне Васька Субботин разбередил. Он-то погиб, а что я за него сделал? Чем отплатил отпущенный мне жизнью долг?

Иван Макарович достал папиросу.

— Дай и мне, — попросил Федор.

— Тебе ж нельзя...

— Да ладно. Что с одной сделается?

Они закурили, пуская дым прямо в небо, но он не уплывал высоко, а собирался под ветками яблони, висел синим облачком.

— Так-то оно так, — заговорил наконец Иван Макарович, — но ты напрасно на себя наговариваешь, Федор. И перед другом твоим Васькой совесть твоя чиста. Ты что, забыл, как после войны колхоз поднимали? Одна машина, да и та без мотора. На месте Снегиревки поле голое. А теперь, смотри, какой поселок строим! Люди по-людски жить начинают. И в этом твоя заслуга, Федор. Твоя. Ну, и других, конечно. Помирать тебе еще рано, но, если и придет смерть, ты ей можешь в глаза прямо смотреть. Ты свое дело на земле сделал. Что человеку положено. Прикинь, сколько за все эти годы ты земли наворочал? Сколько хлеба собрал? Целый полк прокормить можно. А ты говоришь — совесть проснулась. Пусть других совесть мучает, которые руки в брюки ходят по земле. Ты своим рукам не давал отдыха, так что и душа твоя должна быть спокойна.

— А чего ж тогда Васька приходил? — спросил Федор.

— Навестить тебя, — усмехнулся Иван Макарович, — вспомнил ты его, вот он и пришел. Как к другу.

Федор задумался.

— Хорошо, ежели б так. А может, за мной, как думаешь?

— Сказал бы я тебе!..

Иван Макарович поднялся, сорвал с ветки недозревшее яблоко.

— Слушай, не хочешь в больницу, поезжай на курорт.

— Куда, куда? — сощурился Федор.

— В санаторий. Целебной водички попить. Тебе, как ветерану войны...

— Иди ты со своим курортом знаешь куда! — рассердился Федор. — Рано меня в запас списываете. Я вот отлежусь дня два и на комбайн.

— И думать не смей! — сказал Иван Макарович. Он наклонился над Федором, спросил: — Разве у нас с тобой эта страда последняя? — И сам же себе ответил: — Нет, шалишь, не последняя!

4

— Веруша, ты дома ай нет?

Школьная уборщица баба Маня колотила своим сухоньким кулачком в дверь, но так как ей никто не открывал, она влезла на перилку крыльца и мелом под стрехой написала: «Веры дома нету».

— Ты что там делаешь, баба Маня? — спросила Вера Сергеевна, выходя в сени и сладко позевывая.

— Это тебя не касается, — задиристо ответила баба Маня, сползая с перилки в вытопанную под крыльцом траву.

Вера Сергеевна подозрительно поглядела на нее, потом перевела взгляд под стреху:

— Как же меня нет дома, когда я тут? Люди прочтут...

— А это не для людей, — сказала баба Маня и, прищурив один глаз, добавила: — Это для хворобы. Придет, увидит, что тебя нету, и повернет обратно.

— А разве хвороба читать умеет? — засмеялась Вера Сергеевна.

— А как же! — взмахнула своим сухоньким кулачком баба Маня. — Теперь они грамотные! А меня еще мама-покойница научила, как хворобу обманывать. Бывало, я все стены в избе распишу: «Мамы дома нет». И братьев. И сестер. Вот хвороба нашу семью стороной и обходила.

— Но ведь я не болею, — пожала плечами Вера Сергеевна.

— Болеешь, — заявила баба Маня, — только болезнь твоя внутрих сидит. Сидит и ждет момента, чтоб наружу вылезть. А мы ей не дадим вылезать. Нас дома нету. Вот так...

— Смешная ты, баба Маня.

— Какая уж есть. — Она протянула Вере Сергеевне

горлач молока. — Попей спросонок. Топленое. С корочкой. Как ты любишь.

— Спасибо. Зачем вы меня так балуете?

— А кого ж мне и побаловать, как не тебя? Сама видишь, живу как перст одна.

— А где ваши дети?

— Разлетелись, как птицы бездомные. Кто куда. — Баба Маня подперла кулачком голову. — Нет, грех на душу не возьму: дети у меня хорошие. Старший — Юрка — военный. На границе служит. Младший — Петя — нефть добывает, ну и дочери — Наташа с Ольгой — тоже пристроены. За добрыми мужьями чего не жить? Одно плохо — все им некогда. Мать родную навестить — некогда. Да ладно — сами. Внучат на лето и тех не пускают. Ты, говорят, мамань, портишь их нам своей добротой. Дескать, дети домой вертаются, ни отца, ни мать не слушаются. Глупые, глупые, — заплакала она, — разве ж добротой кого испортишь? Злом — сколько угодно, добротой — никогда.

И плакала баба Маня как-то смешно: не всхлипывая, а лишь роняя слезы с кончика маленького аккуратного носика. Будто плакали не глаза, а именно нос. Рот у нее был тоже маленький, глубоко запавший — без единого зуба, отчего в лице постоянно сохранялось какое-то ласково-детское выражение. Поплавав немного, баба Маня тут же и успокоилась. Заметив на кровати раскрытую книгу, она набросилась на Веру Сергеевну:

— Опять всю ночь читала? Глазеньки б свои поберегла. Ослепнешь, очки на нос нацепишь. А в очках кто тебя замуж возьмет? Добрый человек на очкастую-то и не глянет...

— А зачем мне замуж, баба Маня? — улыбнулась Вера Сергеевна. — Мне и так хорошо...

— Вижу, как хорошо! На корню, глядишь, высохла. Но я тебе помогу. Ты мне только доверься. Имя скажи!

— Какое имя?

— Ой, как маленькая, — усмехнулась баба Маня. — По ком сохнешь, назови. А я уж... Ко мне девки, бывалыча, наперебой бегали. Врать не буду, не всем, но многим помогала.

— Чем?

— Как чем? Приворотом. Приворот на любжу знаю. Наговорю водицы, девка той водицей суженого напоит, он и готов. Ни в жизнь от нее не отвертится! Так как зовут-то?

— Кого?

— Ну, суженого.

— Виктор.

— Тогда уходи! — потребовала баба Маня.

— Зачем?

— Приворот тайну любит.

Вера Сергеевна вышла в сени, но дверь не закрыла и тайком наблюдала, как баба Маня, набрав в кружку воды, хукнула на нее три раза, зашептала громким шепотом:

— На море-океяне, на острове Буяне лежит сер-камень. Под тем камнем лежат три черта, они бьют-выбивают пуд укладу на тоску рабе божьей Вере, чтоб полюбил меня, девицу, раб божий Виктор больше родимого отца и матери, больше роду-племени... — Она передохнула и снова хукнула на воду: — Матушка Романья, дуй рабу божьему Виктору в лицо белое, в очи черные, во все его кости и молодые шалости, в семьдесят семь жил, чтоб ел — не заел, чтоб спал — не заспал, а полюбил меня, рабу божью Веру, до смертного часу. Аминь... Иди! — позвала она Веру Сергеевну. — Готово!.. Мой приворот тяжелый, — сказала она, — дай ему выпить на утренней зорьке, по пятам за тобой будет ходить.

— Спасибо, баба Маня, но все дело в том, что я не хочу, чтоб он ходил.

— Зачем же я тогда бога гневил? — рассердилась баба Маня и выплеснула из кружки приговорную воду. — Не стыдно тебе? А еще учителька...

И, обидевшись, она гордо удалилась из хаты.

Вера Сергеевна глядела ей вслед, чувствуя, как теплая волна нежности заполняет ее сердце. Баба Маня, баба Маня... Что б она без нее делала? Особенно полгода назад, когда только приехала в Снегиревку.

«...Я люблю тебя, — сказал Виктор, — если б ты знала, как я тебя люблю! Больше неба, больше солнца, больше себя самого, но ребенок тебе сейчас совсем ни к чему». Он так и сказал: не «нам», а «тебе»...

Все завертелось, поплыло у нее перед глазами: деревья парка, огни фонарей, бронзовый слень с ветвистыми рогами.

Здесь они обычно встречались — в городском саду, у оленя, и Вера почти бежала с работы, чтобы сказать Виктору то, что она готова была выпалить первому встречному и лишь с трудом сдерживалась: у них будет

ребенок! Сын, дочка — все равно, лишь бы глазенки у него были чуть-чуть вкось, как у Виктора. Это нисколько его не портит, скорее наоборот, к тому же для других это совсем незаметно. Это видно только тогда, когда смотришь близко — глаза в глаза.

Они встретились у бронзового оленя, у которого бока были вытерты до огненного блеска, и Вера тут же, еще запыхавшись от быстрой ходьбы, выпалила:

— У нас будет ребенок!

Ей нужно было тогда только одно, чтоб Виктор поделил с ней ее радость. Эта радость была так велика, что не вмещалась в ней и рвалась наружу. А Виктор сказал:

— Сейчас тебе ребенок совсем ни к чему.

Бронзовый олень взмахнул своими ветвистыми рогами и опрокинулся наземь, хотя вытертые до блеска бока все еще продолжали гореть и слепить глаза.

Виктор подхватил ее, усадил на скамейку и тут же, на виду у всех, стал целовать ей руки.

— Тебе плохо, да? Вот видишь... Милая, желанная, тебе уже сейчас плохо, а что будет потом? Ты слышишь меня, слышишь?

Она не слышала, не хотела ни слышать ничего, ни знать.

Зато она до сих пор слышит резкий стук каблуков по деревянной рассохшейся лестнице...

Больница стояла на пригорке, и, чтобы выйти на дорогу, нужно было спуститься вниз по деревянной лестнице. Правда, можно было пройти парадным входом прямо на шоссе, но Вере казалось, что каждый встречный увидит на ее лице то, что она сделала. «Убийца, — говорила она себе, — ты убила его, не дав возможности даже родиться. Убийца!»

Она спускалась по лестнице, и каждый ее шаг глухой болью отдавался в сердце.

Как Виктор догадался, что она пойдет именно по этой лестнице, Вера не знала, но даже не удивилась, увидев его внизу, в самом конце ступенек. В руках у Виктора были цветы.

— Здравствуй, Верочка.

— Здравствуй.

Она ответила, но глаз не подняла, смотрела на цветы — красные, чуть-чуть распустившиеся розы.

— Вот видишь, все оказалось не так страшно.

Сейчас она боялась только одного: взглянуть ему в

глаза. Ей казалось: стоит только взглянуть, и она разрыдается.

— Посмотри на меня, — просил Виктор.

Она взглянула и не узнала его. Перед ней стоял совершенно незнакомый человек.

«Кто это? — подумала она. — И что ему от меня нужно? Зачем он пришел? Да еще с цветами...»

И, вместо того чтоб разрыдаться, Вера вдруг расхохоталась.

— Ты чего? Что с тобой? — испугался Виктор.

— Ничего. Просто смешно. Потому что ты это вовсе не ты.

— Как это не я? — в глазах у Виктора застыл ужас.

— Тебя подменили. В роддоме. И дай мне, пожалуйста, пройти.

С тех пор она не видела Виктора и даже не вспоминала о нем. Навсегда вычеркнула из своей памяти. И если б не стук каблуков по деревянной лестнице... Как будто забивают гвозди в крышку гроба. Этот стук долго преследовал ее утрами и вечерами, на работе и дома. По ночам она часто просыпалась именно от этого назойливого, несмолкаемого, размеренного стука. Наконец, когда стало совсем невмоготу, она пошла в облоно и попросила:

— Пошлите меня куда-нибудь в деревню. В самую глухую. Где тишина.

— У вас неприятности по работе? — участливо спросила ее инспектор по кадрам.

— Нет. На работе у меня все в порядке. Просто мне нужно уехать отсюда. И как можно подальше. В деревню.

— Но почему в деревню?

— Понимаете, я в детстве очень болела, — сказала Вера Сергеевна, — у меня отнялись ноги. Ни больницы, ни врачи — ничто не помогало. И тогда меня отвезли в деревню к бабушке. Она водила меня босиком по росе. И вылечила. Поставила на ноги. Сейчас мне тоже нужно походить босиком по росе...

Так Вера Сергеевна очутилась в Снегиревке. Новая обстановка, новая работа, новые вокруг люди... И встретили ее хорошо. Поселили в старом, но еще крепком учительском доме. С крыльца этого дома открывался просторный вид на озеро, на деревню, на синеющие за деревней леса. По вечерам, когда смолкал наконец школьный шум, тишина вокруг устанавливалась такая,

что ныло в ушах. Но и эта тишина не приносила успокоения. В тишине еще явственней, еще отчетливей раздавался стук каблуков по деревянной лестнице. Вера Сергеевна не знала, что и делать. Но уже где-то на третий день к ней в дом заявила школьная уборщица баба Маня.

— А ты, девка, что смурная ходишь? Молодая, красивая, что тебе еще надобно? Ну, распустила крылья... Придется мне, старухе, взять над тобой шефство. — С той поры баба Маня не стала давать ей ни минуты покоя. Будила еще на рассвете, заставляла выгонять в поле свою корову Сивку, потом встречать ее с поля. То затевала походы в лес — за грибами, за земляникой, то предлагала: — А не наладиться ли нам с тобой, Веруша, в колхоз ходить? Лен поднимать. Знаешь, сколько на льне заработать можно? По пятнадцати рубликов в день. А с деньгами в кармане, глядишь, и жизнь веселее пойдет.

— Да какой лен? У вас же хозяйство! Когда только и управляетесь?

— Здоровится, вот и управляюсь, — давала пояснение баба Маня. — А здоровится потому, что думать о здоровье некогда. К тому ж я тоже по всем углам написала, что меня дома нету. Пусть хвороба мимо топает.

Нет, соскучиться с бабой Маней было нельзя. Привела однажды в дом тракториста Семку Сазонова.

— Чем не жених?

— Так он же еле на ногах стоит!

— Ну и что? Протрезвится, человеком станет. А наше бабье дело прощать, жалеть. Мужики, они и есть мужики. Что с них взять? У них у всех души пробкой запечатаны. Который осилит пробку — выкинет. А иной так всю жизнь с пробкой и живет. Нет, ты нос от Семки не вороти. Под хмельком, конечно, зато здоров, чертяка. Утром воду на коромысле несла, а дорога под дождем размякла, не перейти. Так он меня вот так поднял и вместе с ведрами через дорогу перенес. — Баба Маня радостно вздохнула, подытожила: — И тебя тоже будет на руках носить.

— Боюсь, как бы в грязь не уронил.

Когда Семку выпроводили, баба Маня сказала:

— Гляди, девка, больно ты горда. Как бы с такой гордостью совсем в вековухах не остаться.

Сегодня баба Маня опять заговорила о замужестве,

предложила снова сделать любжу, на этот раз — соборотную.

— Как это — оборотную? — не поняла Вера Сергеевна.

— Не на суженого, а на суженую. На тебя, а чтоб ты сама кого-нибудь полюбила, потому как без любви молодым нельзя. И жизнь вся замрет, и род человеческий кончится.

— А может, я уже полюбила, откуда ты знаешь? — сказала Вера Сергеевна.

— Давай бог! — тотчас же откликнулась баба Маня. — Любовь — дело святое. — И тут она увидела наполовину собранный чемодан. — Уезжаешь?

— Да, хочу домой съездить.

— Домой? А кто тебя там ждет?

— Никто не ждет. Да я и не зайду, наверное, домой. Подруг навещу, в театр схожу.

— А к отцу все же зайди, — сказала баба Маня. — Какой-никакой — отец.

— У него теперь другая семья.

— Ну и что, что другая? А кровь-то родная. Тянет.

— Если бы тянула...

У бабы Мани снова неслышно закапали с носа слезы, но она пересилила себя.

— Все равно, на родителей нельзя обижаться. По гроб жизни мы им обязаны.

— Чем?

— Что на свет пустили. Хоть поглядеть, какой он тут! А ты уже взрослая, должна понимать...

— Что понимать, что? — Вера Сергеевна нервно заходила по избе. — Я ведь не за то его осуждаю, что он полюбил другую. Все в жизни бывает. А за то, что он размен квартиры устроил, когда мама еще жива была. Она в постели лежит, а тут чужие люди. Ходят, смотрят. Подождать не мог...

— Значит, не мог.

— Ты по своей доброте, баба Маня, всех хочешь оправдать. А подлость ничем не оправдывается.

На это баба Маня не нашла, что ответить. Заторопилась домой, но тотчас же и вернулась, принесла кусок сала.

— Гостинец тебе. На дорожку. — Провожала с порога советами: — Гляди, под машину не попади. А то ведь сколько машин развелось, больше, чем людей. Людям скоро и пройти будет негде.

Стоя на крыльце своей избы, долго махала рукой, и пока Вера Сергеевна шла к остановке автобуса, она спиной чувствовала добрый, провожающий ее бабы Манин взгляд.

Ждать автобус пришлось долго, хотя по расписанию, которое висело на одиноком столбике у развилки дорог, он уже давно должен был быть в Снегиревке.

От нечего делать Вера Сергеевна спустилась к озеру: деревенские мальчишки купали в нем коней.

— Один, два, четыре... — Она насчитала пятнадцать сытых, гладко лоснящихся лошадей. Подивилась: «Смотри-ка, в колхозе еще кони есть». Она уже давно их не видела, разве что по телевизору.

Мальчишки, занятые купанием, не замечали ее, ныряли, брызгались водой, вскарабкивались на спины лошадей, прыгали с них в воду. Лишь один из мальчишек узнал ее, крикнул:

— Здравствуйте, Вера Сергеевна. Не хотите проехаться на коне?

— Спасибо. Я не умею.

— А что тут уметь? Садись и скачи. Вот так.

И он, выгнав из воды лошадь, лихо помчался на ней по идущей в гору дороге. Вскоре его уже не стало видно, лишь серый клубок пыли несясь меж зеленых кустов, с двух сторон окаймлявших дорогу. Остальные еще продолжали вместе с лошадьми барахтаться в воде. Весело им было, и Вера Сергеевна тоже порадовалась их радостью, но, боясь прозевать автобус, вернулась все же на остановку. Автобуса все не было, и она уже подумала, не вернуться ли ей назад и уехать завтра утренним рейсом. Рядом остановилась машина — за рулем был председатель.

— Вы что — уезжаете? — удивился он, выходя из машины. — Совсем?

— Нет. На пару деньков. Глаза простудить, как говорит баба Маня.

— И давно ждете?

— Около часу. Может, автобуса совсем не будет сегодня, вы не знаете?

— Садитесь! — предложил Иван Макарович. — Так и быть, прокачу вас. С бубенцами.

«Газик» продувался насквозь, но это было и хорошо — не жарко. Правда, вместе с ветром несло внутрь и пыль, так что Вера Сергеевна тотчас же принялась чихать.

— Будьте здоровы, хотя по правилам хорошего тона, кажется, это не говорят.

— Спасибо. Какие уж тут правила...

Наконец-то выбрались на хорошую дорогу, и в лицо ударил запах смолистой сосны. Сосны двигались по обеим сторонам шоссе — ровные, прямые, но от скорости будто ломались, кланялись в пояс. Вера Сергеевна, подставив лицо ветру, невольно думала: «Куда я еду? Зачем? А тут грибы скоро пойдут. Не колосовики — настоящие. Хорошо бы пойти в лес и заблудиться, как тогда...»

Иван Макарович тоже молчал, следил за дорогой. Почему-то сегодня он замечал каждую рытвину, каждую выбоину, которых раньше вроде бы и не было. Спohватившись, что молчать вроде бы неудобно, спросил:

— Так как же насчет «Малышка»?

— Но ведь еще рано сеять.

Сосновый бор кончился, теперь дорога пошла открытым полем. На поле высились стога сена. Они были как старинные терема, и на одном из них, самом высоком, вытянув длинную шею в небо, стоял аист. Проехали еще немного — опять увидели аиста. Этот гордо вышагивал по лугу, осторожно переставляя белые, обутые в красные сапоги ноги.

— Какой важный! — сказала Вера Сергеевна. — Будто знает, что занесен в Красную книгу.

— Расскажите про аистов, — попросил Иван Макарович, — вы так интересно тогда про пчел рассказывали!

— Что рассказывать, вы, наверное, и сами знаете...

— Знаю только, что аисты приносят детей, — улыбнулся Иван Макарович.

— А что убивают собственных?

— Как — убивают?

— Аисты живут по законам древней Спарты: слабых сами уничтожают. Например, известный французский натуралист Жуэ пишет, что собственными глазами видел, как аистиха, недовольная своим птенцом-заморышем, тут же пробила ему голову клювом и выбросила из гнезда. А перед отлетом аисты собираются вместе, выделяют нечто вроде трибунала, и этот трибунал отбирает: кого можно допустить к перелету в жаркие страны, а кого нельзя — не долетит. Тут и начинается самосуд.

— Жестоко, — заметил Иван Макарович.

— Жизнь вообще жестокая штука.

— Зато уж что касается верности...

Но Вера Сергеевна перебила его.

— Неправда! Слухи о супружеской верности аистов сильно преувеличены. Тот же профессор Жуэ пишет, что он наблюдал одного аиста, который каждый год прилетал с новой супругой. — Она усмехнулась: — У них тоже, как и у нас.

— Значит, вы не верите в настоящую любовь? — спросил Иван Макарович.

— Что значит — настоящую?

— Единственную, неповторимую...

— А вы?

— Тогда держитесь! Я вам кое-что покажу!

И почти не сбавляя скорости, он круто повернул машину. Дорога пошла ухабистая, к тому же прямо в глаза било солнце. Одной рукой Вера Сергеевна загоразивалась от солнца, другой старалась удержаться, чтобы не вылететь с сиденья.

Ехали довольно долго, потом, оставив машину, пробирались лесом, пока не открылась наконец поляна. Некошенная и уже порыжелая трава стояла на ней чуть не в рост человека, и поэтому Вера Сергеевна ничего не увидела.

Иван Макарович нырнул в траву и уже оттуда позвал:

— Идите сюда!

Он стоял у большого серого камня, заросшего зеленым мхом. Но с одной стороны мох был очищен, и она увидела высеченные на камне буквы. С трудом прочла: «Сдес зарыт труп Ивана Федорова Лисиченки погипшево через Феклу Климову загорячую к ней любов».

— Что это? — обернулась она к Ивану Макаровичу. — Кто-нибудь пошутил, да?

— Ну почему? — серьезно ответил тот. — Настоящий могильный камень.

— Но ведь непохоже, чтобы здесь было кладбище.

— Самоубийц на кладбищах и не хоронили.

— Самоубийц?

— Я еще с детства помню, — сказал Иван Макарович, — мне бабушка рассказывала. Жил знаменитый сапожник Лисиченко. И полюбил он поповскую дочку Феклу. А та на него никакого внимания. И вот однажды он пришел к ней и полоснул себя по горлу сапожным ножом.

— А Фекла? — помолчав, спросила Вера Сергеевна.

— А Фекла, каждый раз проходя мимо этого камня, плевала на него. Угрызения совести ее не мучили.

— Неправда, — возразила Вера Сергеевна, — что плевала — неправда. Это не в характере русской женщины, тем более женщины, которую любили.

— Может быть. За достоверность фактов не ручаюсь. Однако этот факт, — он показал на камень, — налицо. Его поставил брат Ивана Лисиченки, тоже сапожник. Мне, бывало, бабушка рассказывает, а сама плачет. Только она почему-то жалела не Ивана Лисиченка, а Феклу.

— Феклу и надо жалеть, — согласилась Вера Сергеевна, — не ответить на такую любовь...

Неподалеку от большого могильного камня оказался еще один — поменьше, красный, гладкий, словно отполированный. Из-под него выбивалась струйка воды. Она поднималась чуть выше камня, но, обессиленная, падала на него, расплескивая мелкие брызги. Брызги, вобрав в себя цвет камня, сами казались красными и падали на него, как капли крови.

— Жутко здесь как-то, — поежилась Вера Сергеевна, — и лес гудит. Страшно.

— А я, наоборот, люблю здесь бывать, — сказал Иван Макарович, — устанешь от всяких дел, придешь, посидишь на камне... Никто ведь не знает про этот камень. Я сам только в прошлом году его обнаружил. Комплекс хотели здесь строить, пошли место высматривать, слышу: что-то булькает, ручей не ручей. Подошел, смотрю — могила. Почему здесь, среди леса? И как он вообще на это решился?

— Вы же сами сказали: любовь. Единственная. Неповторимая.

И вдруг он быстро шагнул к ней, обнял за плечи:

— Я не хочу, чтоб вы уезжали. Слышите? Не хочу. Я не знаю, что со мной, не могу объяснить, но вечером, когда светится в темноте ваше окошко... И все наделала молния. Маленький круглый шарик. Зачем вы хотели его схватить? Зачем?

— Не знаю, — медленно произнесла Вера Сергеевна, освобождаясь из его объятий. — Если б можно было все в этой жизни объяснить. Хотя бы самим себе. Не знаю...

Б

Катя поджидала Петьку у поворотки на Старый двор. Он будет ехать тут на тракторе, а она как выскочит, как закричит: «Ага, попался!» Петька испугается и наутек.

А она сядет на трактор и поедет как барыня. Только разве Петька испугается? Никуда он не побежит, а моргнет своими глупыми глазищами и спросит: «Ты что — с луны свалилась?»

Она сидела, прислонясь головой к изгороди — от коров, чтоб в огороды не забредали, — и думала: как заставить Петьку научить ее управлять трактором? Просьбами — не помогает. Грозьбами — не боится. А что, если вообще перестать с ним разговаривать?

Солнце припекало ей голову, скошенная стерня колола ноги, а тут еще муравьи почуяли сладкое — так и лезли в карман за конфетами. Катя стряхивала муравьев с платья, корила их:

— Ну, чего навалились на дармовщину? Я конфеты Петьке берегу. За конфеты он меня на тракторе покатает. Вы тоже хотите на тракторе?

Прошла мимо тетка Марина — торопилась домой с фермы, — все же приостановилась, спросила:

— Ты кого это тут дожидаться, а, Кать?

— Никого.

— Матери бы лучше помогла.

— Я ей в обед помогаю.

— Ну, посиди, посиди, может, чего и высидишь...

И тетка Марина прошествовала мимо. Катя украдкой показала ей вслед язык, но, услышав, как затарахтел трактор, мигом вскочила, выбежала на дорогу:

— Петечка, я тут!

Трактор остановился.

— Садись, — хмуро пригласил Петька.

— Нет, я не кататься, я хочу, чтоб ты меня поучил.

— Чего, чего? — Петька так сощурил глаза, что их совсем не стало видно.

— Ага, Петечка, сам умеешь, а меня научить не хочешь.

— Твой папка так тебя научит!

— А как он узнает?

Петька немного подумал, а когда он думал, то становился похожим на лягушонка: глаза выкатывались, а нижняя губа оттопыривалась.

— Не имею морального права, — наконец вымолвил он.

— Какого права?

— Морального. Трактор не мой, а мамкин.

— Вот и врешь, Петечка, — с обидой произнесла Ка-

тя, — трактор колхозный, значит — всехний. А я тебе за это конфет дам.

— Конфетами покупаешь? — обиделся Петька. — Нужны мне твои конфеты... От кашля. — Но он все-таки не уехал, а, чуть подвинувшись на сиденье, сказал: — Ладно, садись.

Катя быстренько подобрала подол платья, зажала его меж колен и взялась за руль.

— Ехать — нажимай рычаг сюда, остановиться — сюда, — начал пояснять Петька.

Кате уже не раз случалось ездить с Петькой на тракторе, поэтому она давно знала, что нужно делать. А вот как делать? Да еще в присутствии Петьки.

— Петь, сойди с трактора, — попросила она.

— Это еще зачем?

— Я хочу сама, одна. Не бойся, я умею. А то я тебя стесняюсь...

— Вот дура! — рассердился Петька, но послушно спрыгнул наземь. — Езжай давай!

Намертво вцепившись в руль и глядя через него на педали, Катя напряглась вся, пытаясь сдвинуть трактор с места.

— Куда глядишь? — крикнул стоявший рядом Петька. — Вперед гляди!

Катя глянула вперед, увидела пыльную, с разбитой колеей дорогу, а там дальше — длинное здание фермы, над фермой кружилось воронье... И — поехала.

Петька бежал рядом, кричал:

— Молодец! Не дави сильно на газ! Куда опять глядишь? Тьфу, недотепа...

— Сам ты недотепа!

Она имела право так сказать — чувствовала, что имела, потому что все-таки ехала. «А Петька еще ругается... Говорил — страшно. А ничуть и не страшно. Наоборот — даже интересно и весело. Вот как нажму сейчас на газ, раз и Петьку обгоню. Что это он там кричит?»

— На муфту жми! — кричал Петька.

А где она, эта муфта, где проклятая?

Пока ноги, мешая одна другой, судорожно искали педаль, трактор вдруг вывихнулся в сторону, вылез из колеи и двинулся в поле.

— Куда ты? Стой, стой, говорю!

Она бы рада остановиться, но как?

— Петечка, не могу, — взмолилась Катя, — тормоза нету-уу!

— Как это нету? Как нету? — Петька уже исходил криком. — Ты не левой ногой ищи, а правой!

Катина нога наконец нащупала тормоз. Трактор подпрыгнул на кочке, как взнузданный конь, и замер.

«Как хорошо, — подумала Катя, оглядываясь, — все-таки я проехала. Хоть чуточку, но сама». Но тут же вспомнила, как Петька ругался на нее, и приготовилась к самому худшему. Как подбежит сейчас, как ударит!

Но Петька, вот чудак, вместо того чтоб ударить ее, вдруг протянул руку и улыбнулся:

— Ну, с первым тебя боевым крещением!

— С каким крещением? — удивилась она. — Я ж тормоз потеряла.

— Потеряла, а потом нашла. Значит — соображаешь. А в нашем деле главное — сообразить.

Катя от радости хотела поцеловать Петьку, но он, уловив ее движение, недовольно дернулся всем телом, и она только спросила:

— А правда, я не очень испугалась?

— Правда, правда, гляди папке не похвастайся.

— Что я, совсем дурочка?

— Кто тебя знает... Кричишь: «Тормоза нету!» А он вот, голубчик...

Петька по-хозяйски оглядел кабину: все ли на месте?

— Петечка, — попросила Катя, — разреши мне еще разочек проехать.

— Нет уж, дудки!

Петька презрительно взглянул: дескать, что ты понимаешь в колбасных обрезках? И нажал на газ.

Катя достала из кармана конфеты. Одну сунула себе в рот, а другую положила на щиток, прямо Петьке под нос. Пусть-ка не возьмет, когда слюнки потекут.

— Убери! Не мешай! — прикрикнул Петька.

Тогда Катя развернула бумажку и сунула конфету прямо Петьке в рот: выплюнет или нет? Не выплюнул. Спросил:

— Еще есть?

И так они ехали на тракторе: Петька управлял, а Катя кормила его конфетами.

Когда проезжали речку, Катя предложила:

— Давай искупаемся, а?

— А зеленку кто подвезет? Я и так с тобой провалялся.

Пришлось ехать за зеленкой. Вдвоем они быстро на-

кидали ее в кузов прицепа, даже утоптали, чтоб больше влезло, подвезли к ферме. Скотник Никита уже дожидался у транспортера.

— Ты что же это запоздал? — пожурил он Петьку. — Зеленку хоть свежую привез?

— Сам бы ел, да коровам надобно, — пошутил Петька и сгрузил зеленку на транспортер.

Никита нажал кнопку, и вико-овсяная смесь потекла прямо к кормушкам.

— Скоро еще подвезу, — пообещал Петька, — за мной дело не станет.

Но Никита попридержал его.

— Погодь, я тебе расписку дам.

— Какую расписку?

— На обратном пути заверни в магазин. Отдашь Глашке-продавщице. Она мне в долг никогда не отказывает.

Никита писал записку и морщился от натуги: пальцы дрожали, и карандаш так и плясал между ними.

— Вот еще! — вздернула плечом Катя. — Петька, не бери записку!

— Душа просит! — взмолился Никита.

Но Катя даже не стала с ним разговаривать, схватила Петьку за руку и отвела к трактору.

Никита с тоской поглядел ей вслед:

— Еще командует... Сопля мороженая!

Петька на тракторе уехал, а Катя долго смотрела ему вслед, потом направилась на ферму помочь матери — наступала как раз обеденная дойка.

Мать она застала в стойле возле Забавы — глаза у нее были заплаканы.

— Мам, ты чего? — встревожилась Катя.

— Ничего, дочунь, ничего. Смотри, какая крепкая телочка.

И хоть Катя злилась на мать, что та ее не позвала, когда Забава телилась, руки сами собой невольно потянулись к телочке.

— А как назвали? — спросила она.

— Никак. Пока никак. Сама придумай.

Катя задумалась.

— Давай назовем ее Звездочкой. Видишь, какая звездочка у нее на лбу?

— Пусть будет Звездочкой. Только б молока давала поболе.

— Ах ты, моя ласковая, ах ты, моя хорошая, — гла-

дила Катя Звездочку по курчавой головке. — А ты, Забава, не мычи, ничего я твоей дочке не сделаю.

Надежда между тем прилаживала к вымени Забавы доильный аппарат.

— Мам, дай мне, — попросила Катя.

У нее получалось не так ловко, как у Надежды, но в конце концов Катя все же справилась с аппаратом, и молоко потекло густой струей в бидон.

Вдвоем они быстро закончили дойку, сдали молоко, вымыли аппараты, но Надежда все это время чувствовала на себе настороженный, вопрошающий взгляд дочери.

Когда возвращались домой, она спросила:

— Мам, а ты плачешь из-за... папки?

— Кто тебе сказал? — вскинулась Надежда.

— Что мне говорить? Я и так вижу.

— Ничего я не плачу.

— Ага, говоришь не плачешь, а у самой глаза все время на мокром месте. Скажешь, что и сейчас не плачешь, да? Привыкли обманывать, дескать, маленькая. А я уже не маленькая, все вижу, все понимаю...

Надежда снова заплакала. Кате стало жаль мать, нестерпимо жаль, она кинулась к ней на шею, стала утешать:

— Мамочка, родненькая, не плачь, ты ж у меня лучше всех. Самая красивая... Самая добрая... И — плачешь...

6

Не успел Иван Макарович переступить порог конторы, как секретарша Нина доложила:

— Из сельхозуправления требуют сводку по надоям. В третьей бригаде не вышел на работу пастух. Из райкома звонили насчет графика уборки. К тому же вас ждут.

— Соедините с третьей бригадой.

Не заходя к себе в кабинет, Иван Макарович тут же, из приемной, вызвал Николая Захаровича.

— Бригадира нету, — ответили из третьей бригады, — погнал коров в поле.

— Сам погнал?

— Больше никому.

— А пастухи?

— У них свадьба.

— У всех троих?

— У одного, но гуляют трое.

Первым его побуждением было тут же вскочить в

машину и лететь на свадьбу. «Я им покажу! Нашли время свадьбы играть. Раньше ведь как было? Свадьбы справляли только по осени или зимой, когда с работой управятся. А теперь никаких тебе сроков, гуляй, когда вздумается. Ну, я им сейчас!»

И все-таки он смирил себя, спросил у секретарши:

— А кто женится?

— Женька Горюнов, такой конопатенький.

— На ком?

— Из города берет. Шефами они в третьей бригаде работали. Ну, Женька и заарканил одну. Ничего, симпатичная.

— Значит, собирается в город? — спросил Иван Макарович.

— А вот и нетушки, — засмеялась Нина. — Женька условие поставил, чтоб не ему в город, а ей, наоборот, в деревню.

— Согласилась?

— А куда денешься? Не оставлять же ребенка без-батьковичем. Женька ведь хитрый, все заранее рассчитал.

— Ну, тогда ладно, пусть погуляют.

Гнев у председателя прошел, теперь можно было спокойно заняться делами. Он вошел в кабинет к специалистам, попросил у главного зоотехника сводку надоев.

— На вчерашний день триста восемьдесят два литра, — не задумываясь, отчеканила Галина Матвеевна.

— Плюс или минус?

— Как вам не стыдно? — обиделась Галина Матвеевна. — Конечно, плюс. Так что в этом месяце, кажется, выкарабкаемся.

— Молодцы. Но чтоб и в следующем месяце...

— Постараемся.

Он вернулся в приемную, хотел позвонить в райком, но раздумал. Оставалось убрать каких-нибудь сто пятьдесят гектаров, тогда и доложит.

— Иван Макарович, вас ждут, — напомнила секретарша.

— Ах, да...

Он вошел в кабинет. Лучи утреннего солнца, врываясь в окно, разрезали кабинет как бы надвое. По эту сторону лучей все видать: стол, знамена в углу, по другую сторону — все как в тумане. Туман колыхнулся, и он увидел Веру Сергеевну.

— Вернулись? Что ж вы так долго?

— Долго? Прошло только пять дней.

— А мне показалось — пять лет.

Она стояла по ту сторону разделяющего их снопа лучей, неясная и словно бы далекая, и Иван Макарович невольно протянул руку, чтоб вывести ее из этого туманного далека, но она опередила его и сама шагнула к нему навстречу.

— Боже, как я вас ждал!

Зазвонил телефон, и руки его опустились, глаза потухли.

— Да, я слушаю. Насчет сдачи мяса государству? Мы этот вопрос проработали. Да. Взяли повышенные обязательства. А как же? Труженики нашего хозяйства понимают. Да. Идем в графике. Сколько сдано? Шестьсот пятьдесят тонн... Конечно, ручаюсь. Да. Председатель колхоза Исачкин. — Он положил трубку, виновато улыбнулся: — Из газеты.

— Собственно, я тоже к вам по делу, — сказала Вера Сергеевна, — вы просили меня...

— Я — просил?

— А кто же — насчет «Малышка»...

— Ах да! — спохватился Иван Макарович. — Спасибо, что напомнили. Но «Малышок» у меня дома. Берегу как зеницу ока. Я вам его принесу. Хорошо?

— Куда принесете?

— Домой... Или в школу. Куда прикажете.

Несколько секунд она колебалась.

— Лучше в школу. В кабинет биологии.

— Только, пожалуйста, я прошу вас, чтоб не пропало ни одного зернышка. И спасибо вам, спасибо.

— За что?

— Что взялись помочь нам. Ах, какая ж вы славная!

Он не удержался и обнял ее за плечи. Это произошло случайно, как бы мимоходом, но, обняв ее, Иван Макарович вдруг почувствовал, что не в силах разжать руки.

Снова зазвонил телефон, и они оба разом вздрогнули.

— Простите...

Он слушал, что говорили ему на другом конце провода, но ничего не понимал из того, что говорили. Тогда он осторожно положил трубку на стол:

— Пусть поболтает.

— А кто это? — шепотом спросила Вера Сергеевна.

— Понятия не имею.

Теперь они стояли по обеим сторонам большого про-

седательского стола, между ними лежала телефонная трубка и все говорила, говорила.

— Ну, я пойду? — тихо спросила Вера Сергеевна. — Вам ведь некогда.

Он молча, кивком головы согласился, но, когда она уже подходила к двери, остановил:

— Можно, я приду к вам сегодня вечером?

— Нет, — сказала она, — ни за что! — И, улыбнувшись, добавила: — Неужели вы сами этого не понимаете?

— Я понимаю...

Она ушла, и, глядя через окно ей вслед, он только сейчас почувствовал, как тяжело, видно, ей здесь. Среди чужих. Может быть, поэтому она и хотела схватить тогда молнию?

Трубка на столе все еще продолжала говорить, и Иван Макарович поднял ее.

— Почему не слушаю? Просто задумался.

Он так и не понял, с кем разговаривает и что было нужно звонившему.

Несмотря на то что Вера Сергеевна сказала решительное «нет», весь день после ее ухода у Ивана Макаровича было хорошее настроение. Он звонил в сельхозуправление, сообщал свежую сводку надоев, отчитывал главного бухгалтера, который к своему отпуску самовольно приписал лишних три дня, решал с прорабом стройки время сдачи нового Дома культуры, а где-то в глубине души теплилось чувство, которому, может быть, еще и не было даже названия, но которое грело сердце и помогало работать. Во всяком случае, он прислушивался к себе и понимал, что ничего подобного до сих пор еще не испытывал в жизни. Будто затлел на ветру уголек. И он берег его, боясь, что тот вот-вот потухнет, и в то же самое время страхась, что разгорится.

Вечером, как только он вернулся с работы домой, Катя спросила:

— Что с тобой, папка?

— А что? — не понял он.

— Какой-то ты не такой сегодня...

— Почему не такой?

— Тебе лучше знать — почему!

— Ах ты, моя выдумщица!

Иван Макарович схватил дочь и закружил ее по комнате. Но Катя не порадовалась, как всегда бывало раньше, наоборот, нахмурилась.

— Есть будешь?

— Конечно. Я сегодня голодный, как стая волков.

За столом Катя сидела тихая, задумчивая, не сводя с отца пытливых глаз, спросила:

— Пап, а ты кого-нибудь боишься?

— Боюсь, а как же!

— А кого, пап?

— Ну что ты, дочуш, все выпрашиваешь-то? Сама-то что целыми днями делаешь? Небось на тракторе гоняешь, а?

— А ты, папочка, откуда знаешь? — испугалась Катя и призналась: — Мне Петька только разочек и дал по-рулить. Жадина он...

— Правильно делает, что не дает. Трактор — оно ведь не женское дело. Вот суп ты вкусный сварила — хорошая хозяйка из тебя получится...

После обеда они вышли в сад, и Катя затеяла с отцом игру:

— Ага, не поймаешь, не поймаешь! Ну-ка, догони!

Они бегали вокруг яблонь, и Катя весело смеялась, видя, как безуспешно отец пытается ее догнать.

— Ага, мало каши ел, мало... — радовалась она.

Один раз он все же изловчился и ухватил ее за подол платья, но Катя дернулась, и он неловко упал. Хотел подняться, и вдруг резкая боль полоснула его по груди.

«Наткнулся на что-то острое», — мелькнуло в голове, но тотчас же и забылось. Чугунной тяжестью налилось все тело, мгновенно захотелось спать.

— Пап, ты чего? А, хитришь, папуля, притворяешься... Знаю я тебя...

Голос дочери звучал где-то далеко-далеко, но не было сил даже открыть глаза, чтоб увидеть ее, — дыхание перехватило.

— Папка, вставай, ну чего ты? А?

Катя принялась тормошить его. В глазах у нее не было страха, а лишь недоумение: лежит и лежит и даже не пытается встать. Что с ним такое?

Наконец Иван Макарович встряхнулся, отгоняя от себя внезапную сонную одурь. «Что это со мной? Сердце? Но ведь я никогда его раньше не чувствовал. Даже не знал толком, где оно находится...»

Дышать стало легче, голос Кати зазвучал совсем близко, и он поднялся.

— Пап, ты куда?

— К речке спущусь.

— Зачем?

— Жерлица там у меня. Может, щучка попалась. Проверить надо.

Но он не стал спускаться к речке, а завернул почему-то за гараж. Здесь у него было тайное местечко, где он любил иногда посидеть, поразмышлять. Когда начал строить гараж, вдруг увидел, что старая, пригнувшаяся к земле ива мешает строительству. Срубить — жалко. Тогда он подставил подпорки, приподнял ствол. Работать было неудобно, зато ива будто накрыла гараж своими густыми ветками, а между стеной и стволом образовалось нечто вроде шалаша. Иван Макарович сделал крышу, навалил на нее соломы, так уютно стало. Никто тебя тут не видит, зато ты видишь все. И далеко-далеко. Луга за рекой, сосновый бор, за бором снова луга. Земля отсюда казалась выпуклой, как с борта самолета.

«И такую-то красоту оставить, — подумал он, — уй-ти, чтоб никогда больше не видеть ее...»

Он сидел в своем шалаше, рассеянно вглядываясь в вечеряющие за рекой дали. Вершины сосен будто зубья пилы вгрызались в заходящее солнце.

«Как же я мог жить, даже не зная, что она есть на свете. И как хорошо, что она приехала именно сюда, в Снегиревку... И мы встретились. Как хорошо».

Две бабочки сели ему на рукав: желтые лимонницы. Он давно не видел их так близко: можно было различить паутинный узор на крыльях. Давно не ловил их — с детства. Рука машинально приподнялась, чтоб хлопнуть хотя бы одну из них, но что-то — а что, Иван Макарович так и не понял — внезапно остановило руку: пусть живут. Пусть радуются жизни...

7

Это раньше здесь была деревня Выселки, теперь же вместо деревни гуляло, качалось под ветром пшеничное поле. Почва в Выселках тяжелая, глинистая, поэтому и пшеница вызревала здесь позже, чем на других полях. Лишь в самой середине этого поля, как зеленый островок, шумела старая береза. Агроном как-то собрался срубить ее, механизаторы воспротивились.

— Пусть растет, — сказал Федор Драч, — кому она мешает?

— Да вам же и мешает, каждый раз объезжать ее надо.

—Объехать не трудно, зато глаз на ней отдыхает.

Так и осталась береза — одна среди огромного поля. И хорошо, что осталась. Устал тракторист, где отдохнуть? Под березой. Жена поесть принесла, где отобедать? Под березой. Всех привечала она своей тенью, всех обласкивала шумом густой листвы. Механизаторы даже имя ей придумали — Кудряшка.

К этой Кудряшке и подъехал председатель на своем неизменном «козлике».

«Подожду здесь, пока подойдут комбайны», — решил он, присев под копну ржаной соломы, забытой с прошлой осени. Рядом, как уставший конь, отдыхал «газик». С брезентовой крыши его, нагретой солнцем, поднимался белесый пар.

Начало пригревать солнце, и Иван Макарович почувствовал, как тяжелеют у него веки: все-таки давала о себе знать бессонно проведенная ночь.

Он лежал на соломе, теребя в руках необмолоченный, пахнувший приторной гнильцой колос, глядел в небо. Было оно высоким, без единого облачка, но не голубым, а каким-то бесцветным, словно и не было его вовсе: пустота, да и только.

Странно, но и тогда небо показалось ему пустым — лет этак тридцать назад. Вспоминать об этом не хотелось, и Иван Макарович недовольно покрутил головой, словно отгоняя воспоминание. Но раз оно уже пришло...

Почему небо запомнилось ему пустым, ведь собственно он и не глядел в небо, потому что нужно было во все глаза смотреть наземь: чуть неосторожно ступишь и можешь взлететь на воздух. Мало — себя взорвешь, но и погубишь целый отряд, идущий шаг в шаг следом.

Дождь хлестал, помнится, всю ночь, нудный, осенний, и вот именно в ту ненастную ночь в деревню пришли партизаны. В Снегиревке они просто остановились, а шли громить полицейскую управу в соседней деревне Ополье. Лежа на печке, куда мать загнала его, чтоб не путался под ногами, Ваня слышал, как партизаны говорили о захвате полицейской управы.

—Обойти бы справа, но там болото, слева тоже нельзя — железная дорога, — говорил бородатый партизан, склонившись над самодельной картой, — так что придется в лоб.

С шумом распахнулась дверь, в избу вошел еще один партизан.

— Товарищ командир, — отрапортовал он, — разведка донесла, что все подступы к Ополю заминированы.

— Положим, не все, — помолчав, произнес бородатый, — проходы-то они оставили.

— В темноте разве найдешь?

Партизаны задумались: неужели сорвется операция?

— Дяденьки, я знаю, где нет мин! — вдруг раздался с печки хриплый от волнения мальчишеский голос.

— Не врешь, малый? — спросил бородатый, даже по голосу было понятно, что он и есть партизанский командир.

— Не вру.

— В таком случае слезай с печки, рассказывай.

— Так я лучше вам покажу!

Командир привлек мальчонку к себе, обдав таким родным отцовским запахом, что зачесалось от слез в носу.

— Звать как?

— Иваном.

— Да ну? Стало быть, мы с тобой тезки. Ну, тогда давай помогай нам, тезка...

В зыбком утреннем свете все расплывалось перед глазами, и кусты обочь дороги казались какими-то странными чудовищами. Ваня шел осторожно, ощупывая глазами все, что лежало окрест. Вот знакомый серый камень с макушкой, похожей на петушиный гребень, вот купинка, сплошь заросшая брусничником. Позади себя он слышал дыхание партизан. Оно было громче их шагов, потому что каждый старался ступать бесшумно. И дыхание это будто подстегивало Ваню, не давало остановиться хотя бы для того, чтоб перевести дух.

Шедший вслед за ним партизанский командир тихонько позвал:

— Тезка, подожди-ка! Видишь?

Из-за пригорка вставало солнце, било в глаза, поэтому Ваня не сразу увидел, а когда увидел, сердце у него подпрыгнуло и часто-часто забилося в груди. Командир призывно поднял руку, тотчас же партизаны ринулись вперед. Они бежали мимо Вани, словно забыв о нем, бежали с автоматами наперевес. Ваня было побежал вслед за партизанами, но вдруг, зацепившись за что-то, упал. И, падая, ощутил, как земля рванулась ему навстречу, грохоча и раскалываясь. Спустя минуту опять стало тихо, зато со стороны деревни раздалась ухающие разрывы гранат и резкие, отрывистые хлопки выстрелов.

Сколько прошло с тех пор времени, Ваня не знал, он не ощущал его течения: оно то катилось быстро, и солнце вставало и тут же заходило, то текло медленно, а его все время поднимали, чтоб нести куда-то, и не могли поднять.

Потом он слышал голоса, но не рядом, а откуда-то издалека. Словно он лежал на дне реки, а голоса доносились с берега — глухие и неясные сквозь толщу воды.

— Что же делать с мальчишкой?

— В госпиталь его.

— Донесем ли живого?

— Надо донести.

Партизанский командир, наклонившись к самому лицу, позвал его:

— Ваня, тезка!

Ваня слышал, но ответить не мог. Его положили на наспех сколоченные из березовых палок носилки, подняли и понесли. Это было самое приятное — качаться на носилках, как в люльке, и чувствовать на лице и руках прикосновение прохладных веток — несли его, видно, по лесу. Случалось, что носилки куда-то проваливались, и этот провал резкой болью вскрикивал во всем теле, но вслед за этим наступала тишина и подходила мама, садилась рядом, спрашивала:

— Что у тебя болит, сыночек?

У него ничего не болело, потому что тела своего он словно бы не чувствовал — занемело. Оно стало болеть лишь тогда, когда его начали резать. Ваня ничего не мог понять: почему его режут? Но чей-то ласковый женский голос, похожий на голос матери, уговаривал:

— Потерпи, дружок, потерпи.

Скоро терпеть ему стало невмоготу. Но спокойный голос все уговаривал его:

— Сейчас, дружок, сейчас...

Потом он уже перестал слышать этот ласковый голос и перестал ощущать боль — сладко потянуло ко сну, и он заснул, чтоб проснуться уже почти здоровым.

— Вот видишь, — сказал ему все тот же ласковый женский голос, — теперь будешь жить до самой смерти.

На женщине был белый халат, но рукава и полы его были забрызганы кровью.

— Двенадцать осколков я из тебя вынула, дружок, попробуй теперь умереть — не разрешаю!

...Иван Макарович лежал под копной ржаной соломы, смотрел в высокое белесое небо, а в ушах его будто

все еще звучал тот далекий, почти забытый голос: «Не разрешаю!»

8

Анна Максимовна обещала Исачкину навеститься в колхоз и сдержала обещание. Правда, получилось не совсем удачно. У кого ни спрашивала, где председатель, никто не знал.

Между тем жатва на полях шла и без председателя: гудели комбайны, стрекотали жатки, машины одна за другой отвозили хлеб на зерносушилку, одна жатка сломалась, и к ней прямо на поле подрулила машина техпомощи. Тут же из машины выскочили главный инженер с механиком, засуетились вокруг жатки, выясняя причину поломки.

Все это Анна Максимовна видела, все замечала, глядя из кабины новенькой райкомовской «Волги», но ей нужен был Иван Макарович, а его-то как раз нигде не видно.

— Да что он, сквозь землю провалился? — досадовала Анна Максимовна, гоня шофера Гену с одного поля на другое. Разгневанная, она уж было хотела повернуть назад, а председателя вызвать в райком по телефону, как вдруг Гена приметил:

— Не председательский ли это «газик»? Вон, у Кудряшки, отдыхает.

Анна Максимовна, приглядевшись и действительно узнав «газик», приказала живо ехать туда. Подрулив прямо к березе, шофер чуть не наехал на председателя, зарывшегося в копну так, что наружу торчал лишь сапог с разорванным и аккуратно залатанным голенищем.

— Это его сапог? — спросила Анна Максимовна.

— Его! — подтвердил Гена.

— Ну-ка, дерни!

Шофер Гена дернул, но, видать, не рассчитал сил и шлепнулся наземь. В руках у него оказался сапог вместе с портянкой, а председатель, не просыпаясь, подтянул и спрятал в солому босую ногу.

Анна Максимовна нахмурилась.

— Иван Макарович! — громко позвала она. Солома зашевелилась. — Вот так, Гена, — насмешливо заметила она, — председатель передового колхоза «Рассвет» проводит уборку урожая.

Иван Макарович быстро поднялся:

— Простите, всю ночь не спал, а тут сморило... — Он стоял перед секретарем райкома, весь обсыпанный соломенной трухой, припадая на босую ногу, виновато теребя черную бороду. — Я не ждал, что вы так рано можете заявиться...

— А разве рано? Двенадцатый час...

Он надел сапог, отряхнулся:

— Что вас, Анна Максимовна, интересует у нас?

— Все, — проговорила она строго. — Решительно все. — Она опустилась на развороченный ворох соломы, сняла с головы косынку — черные густые волосы так и потекли по ее плечам. — Хорошо-то как, а? Хлебом пахнет...

Иван Макарович недоверчиво взглянул на нее.

— Да, да, — улыбнулась она в ответ на его немой вопрос. — А почему бы мне и не поваляться на свежей соломке? Я ведь тоже человек. Ты никогда не задумывался над этим, Иван Макарович?

— Никогда, — честно признался он.

— Спасибо за откровенность. Но давай хотя бы на время забудем, что я секретарь райкома, а ты председатель колхоза, давай поговорим просто как люди. Допускаешь такую возможность?

— И даже приветствую.

— Тогда садись рядком, — слегка отодвинулась на соломе Анна Максимовна, — и поговорим ладком.

Лицо у Ивана Макаровича было темное, и на нем, как пучки спелого овса, кустились светлые брови. Борода же была черная, а глаза под цвет бровей — тоже светлые, хотя и не понять, какого оттенка: не то голубого, не то зеленого.

Анна Максимовна мягко, но требовательно заглянула в эти непонятные глаза, попросила:

— Расскажи мне о себе, Иван Макарович. Я ведь так мало о тебе знаю.

Он загреб в кулак пучок соломы, стал завивать ее тугим жгутом, как для вязки снопа.

— Мое личное дело всегда у вас под рукой.

— Какой ты ершистый, однако, — недовольно проговорила Анна Максимовна, — я ведь не настаиваю — прошу.

— Слова-то у вас просительные, а голос...

— Ладно тебе, не придирайся к голосу. Он у меня, можно сказать, от природы такой.

Иван Макарович перестал вить жгут, отбросил его

в сторону, сел, прислонясь головой к стволу березы.

— Ну, что о себе? Сразу и не сообразишь.

— Где родился? Какая семья? Я ведь недавно у вас. Свои кадры мало знаю...

— Родился здесь, в Снегиревке. В семье пятеро. Я последний. Что называется, подскребыш. Отец и двое братьев погибли на фронте. Ну, кое-как жили. Щи, как говорится, лаптем хлебали. Это когда они были — щи. Потом и мать умерла, надорвалась на тяжелой работе. Остались я и две сестры. Дед с нами. Занятный он был, мой дед. Бывало, колосок на дороге найдет, в платок его завернет и на правление колхоза. Расшумится, разбушует. Всех мироедами звал. Самое страшное ругательство — мироед. Тот, кто мир ест. «Вы, мироеды, — говорил, — цену хлебу не знаете!» Семью держал в строгости, хоть сам ничего уж делать не мог. После его смерти растили меня сестры. Учили. Сами-то по четыре класса закончили, а меня — в институт. Да чтоб непременно на учителя... Лет пять учительствовал, потом выбрали председателем. Вот и вся моя биография.

— А семья как? — поинтересовалась Анна Максимовна.

— Семья как семья. Правда, долго я не женился — сестрам помогал детей растить. Потом подвернулась одна...

— Хорошая?

Иван Макарович усмехнулся:

— Жены все хорошие...

— Что ж ты так обобщаешь? Даже колосьев одинаковых на поле не бывает, а ты всех под одну гребенку... — Она подобрала волосы, снова повязала косынку. — Ты ко всем женщинам непримирим или есть исключения?

— Есть, — признался Иван Макарович.

— Кто?

— Мои пенсионерки. Вот кому нужно в ноги кланяться. И ордена давать. За добросовестность. Не такое уж частое в наше время качество.

— А много их у тебя?

— Да половина колхоза! Молодежь норовит, где поглубже. А эти... Не перестаю удивляться. Вытянуть на себе войну, детей, колхозы, уйти на отдых, но каждый день все еще бегать на работу. Причем бегать как на праздник!.. Позавчера было. Еду мимо Касьяного ляда, глядь, а Антиповна от меня за куст прячется. Думаю, в

чем дело? Они с внучкой землянику собирали. Спрашиваю у внучки: чего это, дескать, Антиповна от меня за куст прячется? Стыдится, отвечает, что на работу не вышла. Вы понимаете — стыдится. А спросите, сколько той Антиповне лет? Восемьдесят пять! Что ни говорите, крепкое поколение!

— А дочка как? — помолчав, спросила Анна Максимовна.

— Ну вот, а говорите, что ничего про меня не знаете. Дочка? Дочка у меня забавница. Как выдумает что-нибудь...

— Выдумает?

— Ага. Заскочил я как-то на обед, вдруг слышу: «Граждане пассажиры! Наш лайнер ТУ-104 летит на высоте девять тысяч метров. Прошу сохранять спокойствие и улыбаться». Стюардессой хочет стать.

— Учится хорошо?

— Да пока учителя не жалуются.

— С урожаем нынче как? — помолчав, спросила Анна Максимовна.

Иван Макарович обрадовался: он уловил замешательство и ждал какого-нибудь каверзного вопроса, но, слава богу, пронесло.

— Центнеров по двадцать пять на круг соберем, — ответил он.

— А не прибедняешься? Смотри-ка, рожь как вымахала!

— Чересполосицы много. Пустотела.

— А твой сосед Струков на тридцать пять замахнулся.

— Замахнуться можно и на сто, да как бы не промахнуться.

— Осторожный ты человек, Иван Макарович, расчетливый.

— В нашем деле без расчета нельзя. Сами знаете.

— Ну, хорошо! — Анна Максимовна собралась встать и даже протянула председателю руку, чтоб помог подняться, Иван Макарович нагнулся, и на ключице у него она увидела рваный шрам.

— Что это у тебя, Иван Макарович?

Он подергал плечом, поправил ворот рубахи, чтоб закрыть шрам.

— Война.

— Но ведь ты молод был для войны.

— Всем тогда досталось.

— Мину небось разряжал? — усмехнулась Анна Максимовна.

— Угадали — мину.

— И здорово она тебя?

— Двенадцать осколков вынули.

Анна Максимовна недоверчиво поглядела на Ивана Макарови́ча.

— Как же ты выжил?

— А куда денешься? Заставили выжить. Мужчин после войны, говорят, и так мало останется, кто будет жизнь налаживать? — Иван Макарович запахнул ворот рубахи: дескать, хватит обо мне. — Вы сами-то где в войну были? — спросил он.

Анна Максимовна вздохнула.

— Стыдно признаться, но я войны-то, как таковой, и не видела. Учительствовала в Казахстане.

— Какой предмет?

— Все предметы. Все до одного. Учительница младших классов. А учительнице той... самой кто бы сопли под носом вытер. Семнадцатый год шел. Ну, и воевала с ребяташками. Бывало, ругаюсь на них, чтоб не баловались, а самой так хочется побегать с ними, поиграть... Ну да что об этом. Давай-ка проедемся по полям. Хочу сама поглядеть, как ты хлеб убираешь.

Часа два колесили они по свежескошенному жнивью за комбайнами. Анна Максимовна придирчиво проверяла качество обмолота. Просила остановить тот или иной комбайн, беседовала с комбайнерами. Вдруг вспомнила:

— Что-то я не вижу вашего знатного комбайнера Федора Драча?

— Болеет Федор. Язва замучила, а в больницу не хочет.

— Что значит — не хочет? Прикажи!

— Разве в таком деле прикажешь?

Анна Максимовна укоризненно покачала головой:

— Не бережем мы своих людей, ох, как не бережем... Постой, а это разве не его комбайн? Вон, вон — синий...

— Сейчас на нем жена Федора работает. Наталья.

— Ну-ка, ну-ка, останови...

Иван Макарович, выйдя из машины, поднял руку, но комбайн протарахтел мимо.

«Не заметила, что ли?» Он побежал вдогонку комбайну, изловчившись, прямо на ходу вспрыгнул на подножку.

— Ой! — испуганно вскрикнула Наталья. — Это ты, Макарыч? А я уж думала: опять какой-нибудь корреспондент озорует!

Она заглушила мотор, сняв с головы платок, вытерла им вспотевшее лицо. Платок сразу стал серым — от пыли.

— Как здоровье у Федора?

Наталья была грузная, с длинным резким лицом, и вдруг лицо это обмякло:

— Совсем плох. Ну, скажи, Макарыч, с какого лиха такая болезнь приключилась? Добро б пил... Другие литрами глушат, и никакая черемерь их не берет. А он...

— Ладно, успокойся, с тобой вон поговорить хотят.

Наталья, тяжело спрыгнув наземь, подошла к машине, поздоровалась.

— Значит, мужа заменила? — спросила Анна Максимовна. — Это хорошо. Это молодец! Ну и как — справляешься?

— Да помаленьку... Главное, чтоб техника не подвела.

— А муж как? — спросила Анна Максимовна.

Лицо у Натальи снова погрузнело.

— Хотел сегодня выехать, а сам зеленый, как трава. «Лежи, говорю, а не то...» — Она беззлобно ругнулась. — До чего ж мужик сейчас квелый пошел. Заставить бы их рожать, как баб, совсем бы окочурились. А то с работы приедут, газетку в руки... Оттого, знать, и болеют. Застой крови у них получается.

— Может, его на курорт отправить? — предложила Анна Максимовна. — Пусть съездит, подлечится. Ему, как ветерану войны...

— Нам тут не до курортов, — ответила Наталья. — В первый раз, что ли? Ничего, даст бог, оклемается...

Она стояла перед машиной, а сама нетерпеливо оглядывалась на комбайн. Наконец, не выдержала:

— Ну, все? А то ведь некогда мне с вами тут разговаривать. Хлеб не ждет.

Когда Наталья ушла, Анна Максимовна произнесла:

— А ведь я еще помню, как серпом жали. Я сама жала...

Она представила себя маленькой девочкой с черными косичками. Эти косички так мешали ей в работе, то и дело спадая с плеч. Жать было тяжело, но вместе с тем и радостно. Серп подхватывал целую охапку ржи, звучно подсекал ее, и наземь ложились ровные влажные рядки. Когда жнива набиралось на целый сноп, руки про-

ворно связывали его и ставили в бабку. Уютными шалашиками вставали вокруг бабки. Под ними так хорошо было отдыхать, когда солнце поднималось высоко и начинало печь голову и спину. А еще приятней было, сидя под такой бабкой, уплетать круглый ржаной хлеб с топленым молоком, хлебая его прямо из горлачика. Молоко сначала не выливалось, натянутое сверху хрусткой подгоревшей коркой, и так сладко было прокалывать ее языком.

— О чем задумались? — спросил Иван Макарович, видя, как остановилась посреди поля Анна Максимовна. Остановилась и стоит неподвижно, лишь цветастую косынку рвет с головы ветер.

— Детство вспомнилось.

— А разве у нас было детство? — спросил Иван Макарович.

Анна Максимовна слегка улыбнулась.

— У нас... Ты себя со мной не равняй, я ведь старше тебя. Так что у меня-то детство было. И была радость. И было счастье. — Она повернулась к Ивану Макаровичу и с какой-то грустной материнской жалостью поглядела на него. — У нас-то как раз детство было. Не то, что у вас, детей войны... — Она повела вокруг себя рукой. — Как сейчас вижу... Село наше все в тополях. Низкая белая мазанка. А вокруг сад. Весной он так цвел, что яблони становились похожими на облака. Никогда потом я уже не видела таких садов. И каждый день длинный, как жизнь. Мне тогда казалось, что этому цветению, этому счастью не будет конца... Никогда...

9

Венок из тяжелых, необмолоченных колосьев висел прямо на сосне, а под сосной стояли столы. Грубые деревянные скамейки были вбиты ножками в землю. На столах — прикрытые лопухами, чтоб не смущали мужиков до поры до времени, — стояли бутылки. Вокруг них красовались закуски. Из магазинного, прикупного — одна колбаса, все остальное — свое, доморощенное: огурцы и помидоры, телятина и рыба, холодец под желтым гусиным жиром. Даже свежий хлеб из нови — постарались выпечь детсадовские повара.

Для сцены сдвинули кузовами две грузовые машины, украсили их красным сукном и зеленым лапником. Еще одна машина стояла с подарками механизаторам.

Сами же они, радостные, слегка возбужденные, кучковались среди сосен, лениво покуривали, напуская на себя вид, что они вовсе тут ни при чем, не из-за них затеян весь этот праздник. Они просто сделали свое дело, убрали хлеб и вот собрались на перекур перед другой важной работой. Так что им некогда за столами рассиживаться. Перехватить на ходу стаканчик-другой, кусок хлеба в руку — и нажимай на газ. Такая у них должность. А накрытые столы и затянутые сукном машины — это для женщин: дай им волю, они бы на соснах и занавесочки, как на окнах, развесили...

Начало праздника было назначено на двенадцать. Сейчас уже завернуло на половину первого, но с открытием торжества все еще медлили: ждали оркестр, который должен был прибыть из районного Дома культуры вместе с бригадой художественной самодеятельности.

Гости, как и положено гостям, задерживались.

Иван Макарович не выдержал, поднялся в кузов машины.

— Будем начинать, что ли? Как говорится, семеро одного не ждут.

— Правильно! — поддержали его снизу.

— Приедут под шапочный разбор!

— Жданок уже не хватает!

— Начинай, Макарович!

Председатель повел плечами, расправляя на себе новый коричневый костюм — все-таки заставила надеть Надежда, — доложил собравшимся, что нынешняя жатва колхозом «Рассвет» завершена. Послышались дружные аплодисменты, но Иван Макарович поднял руку: дескать, дайте сказать, потом похлопаете.

— Довожу до сведения всех: убрано три с половиной тысячи гектаров хлеба, собрано на круг по двадцать шесть центнеров с каждого гектара, таким образом, социалистические обязательства, которые мы брали, не только выполнены, но и перевыполнены. Особо отличились на уборке урожая...

И Иван Макарович начал перечислять фамилии передовых механизаторов. Парторг и главный агроном награждали победителей соревнования ценными подарками. Но тут вышла небольшая заминка. Как только председатель выкликнул фамилию Выгулова Степана, который больше всех по колхозу намолотил зерна, из толпы колхозников раздался ехидный голос:

— А сколько он при этом сгубил?

Все засмеялись и оглянулись на говорившего, хотя и оглядываться было незачем: все и так хорошо знали колхозного конюха Тараса Чугунова. Тарас слыл по деревне тихим, покладистым человеком, но стоило ему, что называется, «заложить за воротник», как в душе Тараса поднималось жгучее несогласие со всем, что ни есть на свете.

Двое сыновей и жена уговаривали его, чтоб не шумел, но он вырывался из их рук, продолжал требовать:

— Пускай Степан скажет! Честно, при всех: сколько он зерна в земле оставил? Так что никакого подарка ему не полагается!

— Как это не полагается? Умный какой нашелся...

— Сам бы взял да сел на комбайн!

— А то пошел в конюхи.

— Добро, что кони теперь безработные, считай.

В общем, Тараса не послушались и за хорошую работу наградили Степана мотороллером.

— Потому что в сельмаге мотороллеры уже никто не берет! — снова подал свой голос Тарас. — На тебе, боже, что нам не гоже!

Женщины со всех сторон зашикали на Тараса:

— Да что с ним церемониться?

— Ишь, зенки налил и корюзится.

— Удалить его с праздника!..

Когда выкликнули: Драч, за подарком подошло сразу двое — братья Сергей и Костя. Они смущенно переглянулись, получив от парторга отрез на платье. Оказалось, что подарок предназначался их матери Наталье Драч, но ее на празднике не было.

Послышались догадки:

— Федор не отпустил: ревнует, знать!

— Ничего не ревнует, — заступился за мать самый младший Драчонок — Петька, — мамка с папкой в больницу поехали!

Отрез на платье передали Петьке, хотя ему и самому полагался подарок: маленький на ремешке транзистор.

Катя тотчас же подскочила к Петьке:

— Дай послушать!..

Когда вручение подарков уже подходило к концу, тут-то и показался автобус районного Дома культуры. Видя, что они опоздали, оркестранты с ходу, не выходя из автобуса, ударили туш, но только вызвали этим смех среди колхозников:

— Приехали после драки кулаками махать.

— Собирались небось как на похороны.

— Губа не дура, чтоб сразу к столу.

К Ивану Макаровичу подошла заведующая детским садиком Марья Гавриловна.

— Детишки небольшой концерт приготовили. Сейчас выпускать наших или же после гостей?

— Раз опоздали, теперь пусть подождут. Давайте малышню. Нельзя их томить ожиданием.

Ребятишек по одному подняли на сцену, и они, взявшись за руки, нестройно, зато громко запели: «Я, ты, он, она — вместе целая страна...» Забавно было смотреть, как они старательно вытягивали свои тонкие шейки, помогая песне.

Женщины потихоньку шушукались меж собой:

— Ой, а моя-то, моя, какая важная, посмотри...

— Мой в носу ковыряет...

— А я свою и не признала. Где моя?

— Да вот же, с краешка.

— Где?

— Не видишь? В красных сапожках!

Одна девчушка в голубеньком платице, с голубым бантом в кудрявых волосах — чья же такая? — пела, пела и вдруг разрыдалась. Песня сразу погасла. Ребятишки, сбив строй, тотчас окружили ее, дергали за голубенькое платице:

— Светка, ты чего?

— Ну, чего ты?

— Писать хочу-уу! — громким плачем оповестила всех девчушка. Вот уж было смеху, пока ее снимали с машины и отводили подальше в кусты. На сцену девчушка уже не вернулась, но ребятишки и без нее довели до конца песню, после чего все дружным хороводом пустились в пляс.

От души хлопали матери, отцы, дедушки и бабушки своим малолетним отпрыскам.

Дивились:

— Это ж надо: дома ничего делать не заставишь, а тут в пляс!

— Артисты!

После детсадовцев выступили гости из районного Дома культуры. Агитбригадовцы пели песни, читали стихи, причем каждая песня и каждый стих объявлялись подарком тому или иному механизатору. Те были довольны, хоть и притомились уже в ожидании приглашения к столу.

Наконец торжественная и художественная часть праздника закончилась, и Иван Макарович объявил:

— А теперь давайте посмотрим, чем нас попотчуют наши хозяйюшки!

Ответственной за праздничный обед была агроном Галина Матвеевна, она же и предложила первый тост:

— За богатый урожай! А будет что в закромах, будет и у нас на столах!

Вторым тостом Иван Макарович предложил выпить за механизаторов.

— Что б мы делали без вас? — сказал он. — Ведь вы основная и решающая сила сейчас в колхозном производстве. А я так просто-напросто удивляюсь. Работать до седьмого пота, спать по два-три часа в сутки и не жаловаться, нет! Потому, что каждый из вас чувствовал ответственность. Ответственность за хлеб. Спасибо вам за это!

В ответ слышались шутки:

— У нашего преда мрачный вид до обеда. После обеда лучше нет нашего преда!

— Этот понимает: мужик — что трактор. Пока горячим не подзаправишь, не поедет.

— А вам лишь бы за щеку залить! — корили мужиков женщины.

— Нет бы — пригласить нас на танцы.

Мужики, как могли, отбивались:

— С вами только свяжись...

— Уморите до смерти.

— Вы танцуйте, а мы на вас поглядим, полюбуемся.

Лишь после третьего тоста начали потихоньку выходить из-за столов. Оркестр играл вальс, и пары закружились под соснами. Женщины тянули за руки своих мужиков:

— Под такую музыку да не станцевать?

— Хоть раз в году разговеться...

Но мужики стойко держались своей независимости, пришлось женщинам самим быть и за кавалеров и за барышень. Ну, что с них возьмешь, с этих женщин: одни пляски на уме. Мужиков же интересовало совсем другое.

Парторг Семен Дмитриевич яростно доказывал главному инженеру Саблину:

— Окунь разве рыба? Вот карась — это да!

— Да еще в сметане! — соглашался Саблин.

— Видал, как он клюет? Карась — интеллигент, с ходу клевать не станет. Имеет к себе уважение.

— Какой он интеллигент, если у него одни кости? — возражал Саблин.

Под другой сосной разгорался иной спор:

— На кабана разве теперь поохотишься? Выдумали какие-то лицензии...

— Лицензий не было, — кабаны водились. Ввели лицензии — кабаны исчезли.

— Испугались лицензий!

— А зачем мне лицензия? Я и так на прошлой неделе одного уложил. Пудов восемь потянет.

— Гляди, как бы он тебе в копеечку не обошелся. За каждого кабана семьдесят пять рубликов штрафа.

Иван Макарович все оглядывался по сторонам, искал Веру Сергеевну. Ведь он просил ее непременно прийти, и она обещала. Однако ее нигде не было видно. Зато он увидел Надежду. Смотри-ка, как нарядилась! Надела вишневое платье с кружевами по вороту, прическу сделала.

— Видишь, какая красивая у тебя жена, — сказала Марина Квакина, подталкивая его к Надежде. — И такую-то красавицу ты заставляешь под коровами сидеть. Была бы я женой председателя!..

— Ну, и что б ты сделала? — спросила Надежда.

— А вот что!

И Марина потянула Ивана Макаровича на круг.

— Эй, оркестранты, сыпаните-ка нам с председателем «барыню»!

Раньше Иван Макарович плясал. И на гармонии играл. Считался лучшим гармонистом в Снегиревке. Марина знала это и поэтому, выйдя на круг, поводила плечами и глазами, зазывала:

Выходи, милой, плясать,
Покажи сноровочку.
Разутешь меня скорей,
Несчастную девчоночку...

— Иди, чего стесняешься? — подтолкнула и Надежда мужа. — Раз люди просят!

Просили не только люди, просилась и душа. Давно не плясал Иван Макарович, не отводил ее, бедную, и так вдруг захотелось. Будто свежий холодок прошел где-то под сердцем.

— И-эх! Где наше не пропадало!

Он вышел на круг, но в первом колене, с выходом, лишь прошелся по нему, широко расставив руки, словно приглашая всех последовать его примеру. Потом

тановился, подался корпусом чуть назад и ударил дробью. Сначала дробь была крупной, размашистой, но с каждым тактом все мельчала и мельчала, пока не слилась в один протяжный, колеблющий землю звук.

Вокруг него носилась Марина. Она то приближалась к нему, то удалялась от него и вдруг, остановившись, будто споткнувшись обо что-то, заводила:

Приходи ко мне, милой,
Приходи-ка в середу...

— Марина, бесстыжая! Председателя б постеснялась!

— А чего его стесняться? Чай, сам не первый раз замужем!

Но Иван Макарович не слышал. Он так был увлечен пляской, что, казалось, ничего вокруг себя не видел, не замечал. Даже оркестранты вытянули головы, с любопытством глядя на пляшущего председателя колхоза — им небось в диковинку, а свои знают, не раз видели, правда, в последнее время все реже и реже. Может быть, поэтому и сгрудились все вокруг, даже мужики отчалили от столов, хотя на них кое-что еще стояло под лопухами.

Иван Макарович и сам чувствовал, что пляшет хорошо, не повторяясь ни в чем, выдавая все новые и новые коленца и постепенно как бы пьянея от азарта пляски. И вот уже закружилось все: сосны, люди, земля и небо, какой-то огневой вихрь подхватил его душу и помчал над лесами и пашнями, над реками и озерами. Ощущение и в самом деле было такое, что он словно летит над всем этим поющим, кричащим, грохочущим, молчащим миром, летит и не может остановиться.

Оркестранты и те устали и с мольбой поглядывали по сторонам: «Эй, кто-нибудь, остановите его!»

Но никто не хотел останавливать. Наоборот, захваченные ритмом русской «барыни» люди и сами стали приплясывать, но на месте, в круг же никто не решался войти, боясь осрамиться.

Иван Макарович сам остановился, почувствовав, что куда-то падает, в какую-то темную бездну. Мужики подхватили его под руки, усадили на скамейку, а Надежда подошла и, как когда-то в молодости, вытерла ему кружевным платочком вспотевший лоб.

— Ох, Ваня, на тебя и угомону нет.

Немного отдохнув, Иван Макарович встал, прошелся

меж сосен, снова оглядываясь. «Ну, где же Вера? Вера Сергеевна? Почему ее не видать?»

— Иван Макарович! А я вас ищу!

Он увидел спешившую к нему секретаршу Нину.

— Что случилось?

— Ой, Иван Макарович!.. — Нина торопилась, запыхалась, никак не могла выговорить. — Вас вызывают... Срочно.

— Куда?

— В райком.

— Нина, сколько тебя раз учить! — упрекнул ее председатель. — Сказала б, что меня нет.

— Я так и сказала. Все равно говорят: разыщите. Хоть из-под земли достаньте! Срочно нужен.

— Вот так всегда, — недовольно пробурчал Иван Макарович, садясь в машину, — как нам жениться, так и ночь коротка.

10

— Вы почему же, товарищ Исачкин, не выполняете решения бюро райкома? — такими словами на пороге своего кабинета встретила его разгневанная Анна Максимовна.

— Какое решение?

— Не прикидывайся, Иван Макарович. Сам знаешь какое.

— Теряюсь в догадках, — пожал плечом Иван Макарович, — их так много...

— Ах, теряешься? А как устраивать коллективные пьянки!..

«Вот оно что...»

Конечно, Иван Макарович знал, что проведение колхозных праздников такого рода начальством не одобрялось. Особенно в последнее время. Случилось это после того, как в колхозе «Правда» на празднике Весны и Труда утонул в озере колхозный механизатор Венька Гавриков. Утонул бы в какой другой день — ничего, а то во время праздника. На виду у районного руководства. Причем утонул на спор. Пьяные дружки подзадорили: дескать, слабо переплыть озеро? Озеро было нешироким, и Венька не раз его переплывал, но, во-первых, не весной, а летом, во-вторых, трезвый. А тут от студеной воды зашло разгоряченное сердце, и он пошел ко дну, едва отплыв от берега, Веньку тут же вытащили, но не

откачали. С тех пор и запретили такие празднества. Иван же Макарович на заседании бюро райкома с таким решением не согласился и единственный из членов бюро голосовал против.

Сейчас он попробовал напомнить об этом секретарю райкома, но она перебила его:

— Это не имеет никакого значения: был ты за или против. Решение райкома состоялось, и выполнение его обязательно для всех коммунистов! Слышишь — для всех!

Анна Максимовна не пригласила даже присесть Ивана Макаровича, и он стоял перед ней как провинившийся второгодник.

— Свое персональное, единоличное мнение нужно было доказывать до принятия решения!

— Я и доказывал. Тогда доказывал и сейчас убежден. Нужна ведь людям хоть какая-то отдушина. Работать на уборке день и ночь, работать на пределе сил и возможностей. Без сна, без отдыха! И вот уборка хлеба завершена. Передышка перед копкой картошки. Почему же не отдохнуть, не повеселиться после трудов праведных? И не за углом, на троих, как говорится, на честном пиру. Испокон веков так делалось у нас в России. Я еще помню послевоенные наши праздники. Ничего не было, а веселились от души. Теперь же всего вдоволь. Люди уже забыли, как это радоваться вместе!

— Ты говоришь красно, — проговорила задумчиво Анна Максимовна, — но ведь с твоим мнением члены бюро не согласились? Не согласились. Стало быть...

— Где уж им согласиться, если вы против...

— Не согласились и правильно сделали — иначе до чего мы можем докатиться!

— До чего? — усмехнулся Иван Макарович. — Все равно пьют. Только в одиночку. А мы закрываем глаза, будто ничего не видим. Будто наша хата с краю.

— Вот что, — сказала Анна Максимовна. — Ты мне тут агитацию не разводи. Не с краю, нет! Но и поощрять коллективные пьянки!.. Знаю я твою манеру: вроде бы соглашаться, а делать все по-своему. Вот и сегодня устроил, понимаешь ли, праздник, а на поверку самое что ни на есть игнорирование решения райкома партии. Но я не позволю!..

Анна Максимовна еще долго отчитывала его, шагая из угла в угол своего кабинета, но Иван Макарович за десять лет работы председателем уже ко всему привык,

поэтому терпеливо стоял опустив голову и лишь переминался с ноги на ногу, как застоявшийся в конюшне конь. Нужно было просто-напросто переждать, пока начальство не выплеснет всего своего возмущения. Но, видно, и молчание не всегда обезоруживает оппонента. Анна Максимовна продолжала горячиться:

— Ведь я к тебе все по-хорошему, Иван Макарович. По-человечески. Уважала я тебя...

— А теперь, стало быть, не уважаете? — не удержался он.

— Да как же тебя уважать? Правду в народе говорят: один неблаговидный поступок влечет за собой и другие. Сперва развел шашни с молодой учительницей, теперь...

— Что вы сказали? — переспросил Иван Макарович.

— То и сказала, что есть. А ты думаешь, я тут сижу в своем кабинете и ничего не знаю, что делается у меня в районе? Все знаю! И не хотелось обращать внимания вот на эту анонимку, но... — Анна Максимовна порылась в столе, достала помятый конверт. — Видать, придется все-таки заняться твоим персональным делом. А еще уверял, что не грешен...

Она еще что-то говорила — Иван Макарович не слышал.

«Так вот как называется то чувство, — думал он, — которому я не мог найти названия. Шашни. Ни больше ни меньше. Шашни. Слово-то какое — шершавое...» Но откуда известно об этом здесь, в райкоме, когда он даже сам еще не разобрался в своих чувствах. Откуда?

С тяжелым сердцем вышел Иван Макарович из райкома. Его слегка пошатывало. И если бы кто-нибудь из знакомых встретил его, непременно бы подумал: «Пьяный». Но никто ему не встретился, никто не спросил: «Что с тобой?» В этот вечеряющий час площадь перед райкомом была пуста.

Медленным шагом Иван Макарович прошел эту площадь, вступил в небольшой скверик. За сквериком в тени старого тополя его поджидала машина. Но до нее нужно было еще дойти. Стало трудно почему-то дышать, закружилась голова. Чтоб не упасть ненароком, он присел на яркую ребристую скамейку. Вокруг скамейки шелестели листвой молоденькие, посаженные только весной липки. Кора у них была нежной и гладкой даже на взгляд. А сквозь редкую листву липок буйно пробивалось солнце и веселыми зайчиками прыгало у ног. От

их прыганья больно зарябило в глазах, так больно, что пришлось прикрыть их рукой. Но боль все равно не проходила, наоборот, росла, разливаясь волной по всему телу. Потом он ощутил, как эта разлившаяся боль стала сосредоточиваться где-то в левой половине груди. По-темнело в глазах.

Иван Макарович пошевелился, усаживаясь поудобней, и сидел долго, а может, ему так показалось, сидел, ни о чем не думая, лишь прислушиваясь к себе, к своей непонятной, никогда не испытываемой боли, которая все разрасталась и разрасталась в груди, взбухая, как на дрожжах.

С трудом открыв глаза, он посмотрел в небо, увидел высокие перистые облака, успел подумать: «Хорошо, к погоде». И начал медленно проваливаться куда-то в темноту.

— Ве-ра-ааа!..

11

Обычно Вера Сергеевна ложилась спать поздно. И все равно никак не могла с вечера заснуть. Лезли в голову всякие непрошсные мысли. Тогда она снова зажигала свет и подолгу читала. В основном фантастику, которая хорошо отвлекала от всех земных житейских дел. Но и чтение не приносило успокоения, как только она закрывала книгу...

В этот вечер Вера Сергеевна тоже долго читала, потом, закутавшись в шаль от ночной августовской свежести, сидела на крыльце, слушала неясные шорохи, доносившиеся со стороны деревни, смотрела на звезды. Звезд было так много, что они сливались в одно молочно-голубое зарево, не оставляя меж собой промежутков.

Наконец продрогнув, она снова легла в постель, а сон все равно не шел. Вспомнилась мама. Приближалась годовщина ее смерти, и поэтому Вера все чаще и чаще вспоминала ее, особенно такой, какую видела в последние дни перед смертью. Болела мать долго, мучительно, и лишь в редкие минуты боль словно отступала. Так случилось и всего за один день до смерти.

— Посиди со мной, — позвала она Веру, — давай поговорим по душам. Давно я тебе собиралась все рассказать, да все никак не решалась. А теперь, видно, пора. А то уйду и унесу все с собой.

На всю жизнь запомнила Вера тот последний откровенный разговор по душам.

— Отца ты не кори, что ушел от меня, — сказала тогда мать, — он ни в чем не виноват.

— Как не виноват? А кто же тогда виноват, если не он?

Мать задумчиво поглядела куда-то в пространство, в никуда.

— Война, — ответила она наконец.

— Война? Да она уже сколько лет как кончилась!

— И все-таки война...

Мать попросила поправить подушки, села, облокотясь на них, и так сидела долго, закрыв глаза, вспоминая. По лицу у нее словно пробежали тени. Наконец она открыла глаза, погладила Веру по голове тонкой, как плетень, исхудавшей рукой:

— Ты никогда не задумывалась над тем, почему ты у меня такой поздний ребенок? После войны я долго не выходила замуж. И не только потому, что мужчин было тогда мало. Просто я не могла никого полюбить. И отец... Он ведь знал, чувствовал, что я его не люблю. Никогда не любила... — Помолчала и добавила: — Давно нам нужно было разойтись. Из-за тебя не решались. А теперь ты уже взрослая.

— А почему не могла полюбить? — спросила Вера.

Мать достала из сумки сигарету и, хоть ей и нельзя уже было курить, закурила. Пальцы, державшие сигарету, дрожали. Вера уже пожалела, что своим вопросом так расстроила мать, ведь она любила ее. Матери жилось нелегко, и каким-то внутренним чутьем дочь угадывала это, хоть и не могла понять причин. Все у них вроде бы в семье хорошо, все есть, живут не хуже других, и при всем этом мать частенько бывала резка, раздражительна. В такие минуты отец говорил: «Ну, опять раскуковалась». А мать еще больше нервничала и раздражалась.

— Ты хочешь знать, почему не могла любить? — переспросила мать, комкая в руке горящую сигарету. — Потому что война убивает не только людей, но и любовь. Иногда даже еще не родившуюся.

— Как это — неродившуюся? — не поняла Вера.

— А ты знаешь, на кого ты похожа? — в свою очередь спросила мать и достала из шкатулки фотографию. Фотография была маленькая, вся помутневшая, так что Вера с трудом различила на ней незнакомое молодое лицо солдата. В недоумении обернулась к матери:

— Значит, мой отец — не мой отец?

— Успокойся, — ответила мать, — твой отец это твой отец, но похожа ты совершенно на другого человека. Вот это-то и удивительно. Можно сказать, непостижимо...

— А кто этот другой человек? — осторожно спросила Вера.

— Он погиб на фронте...

Вера взяла из рук матери фотографию, долго разглядывала запечатленного на ней сержанта. И чем больше разглядывала, тем большее находила в нем сходство с собой: тот же длинный разрез глаз, те же ресницы, нос с горбинкой... Ни у отца, ни у матери ничего похожего.

— Но ведь такого не может быть!..

— Не может, — согласилась мать. — Однако ж есть. Ты родилась спустя десять лет после того, как он погиб, и все равно похожа на него... Не на меня, не на отца — а именно на него — Генку Сизова!

«Но почему, почему? — задавала себе вопрос Вера и не могла ответить. — Может быть, потому, что мать постоянно думала о нем, носила его образ у себя в сердце в то время, когда под сердцем зарождалась другая жизнь...»

После этого рассказа Вера долго не могла прийти в себя. В ней самой будто что-то рождалось мучительное и радостное, пока она не поняла, что именно: глубокая, светлая нежность к матери и такая же глубокая, глухая неприязнь к отцу. Хотя тот и не был ни в чем виноват. Разве лишь в том, что мать его не любила. А не любила потому, что не могла забыть другого.

Наплакавшись над судьбой матери и словно бы немного успокоясь, Вера заснула, а наутро ее как всегда разбудил веселый голос бабы Мани:

— Вставай, соня-засоня! Добрые люди уже давно на ногах. Собираются на праздник.

— На какой праздник?

— Обжинки справлять. Тебя ж председатель приглашал. Неуж забыла?

Вера Сергеевна не забыла, но решила на праздник не ходить. Зачем своим горестным видом портить другим настроение? С другой стороны, от бабы Мани ведь не отвяжешься. Все равно уволокет. И тогда она тайком от старой ушла в лес. Может, грибов соберет. Или просто так побродит...

Хорошо летом в лесу. Сквозь густую зелень листвы солнце едва пробивается длинными дымчатыми полосами. Кажется, что лес прошит гигантской иглой с шелко-

вистой нитью. Сшиты меж собой березки и осинки, дубы и клены, сосны и ели. Их ветки переплетены друг с дружкой, перевиты, перехвачены солнечными лучами. А вот и лесная полянка. Здесь игла уже не шьет, а вышивает ковер разноцветными травами: зелеными, лиловыми, голубыми. Среди зеленого, голубого вдруг красным мелькнет мухомор или заалееет поспевшими ягодами брусничник. А кто это там притаился и стоит тихонько на толстой ножке, прикрывшись коричневой шляпкой набекрень? Так ведь это боровичок спрятался от любопытных глаз в темную зелень мха. Скорей срезай его да в корзину. Но не торопись уходить с этого места. Остановись и зорко оглянись вокруг. Непременно где-то рядышком отыщется еще один боровичок, а может быть, подберезовик. Издали он тоже похож на боровичка, только ножка у него тоненькая, как только и держится на такой?

На одной лесной поляне Вера нашла целый выводок красноголовых подосиновиков. Настоящая грибная семейка с папой, мамой, дедушкой и бабушкой. Вокруг них дружно водили хоровод молоденькие подосиновички, как малые ребятки, взявшись за руки. Полкорзины набрала она красноголовиков, а потом уже и искать грибы перестала — зачем их много? — ходила просто так по лесу, вдыхала хвойные смолистые запахи, слушала пенье разноголосых птиц.

«Вот бы научиться понимать птичий язык, — думала Вера, — сколько бы можно было узнать интересного из потайной жизни леса. Они ведь не просто поют, а передают друг другу информацию: где летали, где что видели». Видно, не напрасно пошла она учиться на биологический факультет, ее еще с детства влекла к себе таинственная жизнь природы. Но в детстве все казалось гораздо проще. Захочу и проникну в тайну птичьих разговоров, в шепот травы, в журчанье воды... Помнится, маленькой она со всеми ими разговаривала: с рекой, травой, кустом сирени под окном. Ей даже казалось, что они не только понимают ее, но и отвечают ей. А вот что отвечают, понять не могла и потому злилась на себя за это.

Правда, со временем она перестала с ними разговаривать, но то жгучее детское желание проникнуть или хотя бы прикоснуться к душе природы не уходило. Может быть, поэтому так и любила бродить по лесу, слушать шум деревьев, наблюдать жизнь муравейников. «Вот у кого стоило бы нам поучиться, — думала она, —

организованности, дисциплине, у муравьев. У них не только в житейских делах высокая организация, но и в государственных. Целая непонятная нам вселенная».

Уже под вечер Вера набрела на заросли малинника. Малину никто здесь не брал, и переспелые ягоды уже не красного, а сине-бурого цвета сами падали в подставленные ладони. Она не только наелась малины, но, сделав из ольховой коры кузовок, и его набрала целехонький — бабе Мане на угощение.

Однако пора было возвращаться и домой, в деревню. Выйдя на опушку леса, Вера увидела несколько копен свежескошенного сена. И так ей захотелось полежать на нем, отдохнуть.

По небу плыли высокие облака, но вроде бы стояли на месте, а плыла, наоборот, земля — маленьким шариком в просторах Вселенной. Космонавты говорят, что из космоса он видится голубым, этот шарик, как и тот, что подплыл к ней в избе деда Кузьмы. Что, если бы она поймала его? Может быть, и открылся бы ей какой-то другой мир, о существовании которого люди не только не знают, но даже не догадываются. А в этом, другом, мире все устроено так, что можно понимать и без слов.

Сено пружинило у нее под головой, так одурманивательно пахло, что сразу же захотелось спать. Она бы и заснула, если бы внезапно кто-то не позвал ее:

— Вера!

Она быстро подняла голову: вокруг никого. Да и кому здесь быть? Но голос она узнала. Это позвал ее Иван Макарович, она не могла ошибиться. Но позвал откуда-то издалека, как будто из-под земли.

«С ним что-то случилось? — мелькнуло в голове. — Но что, что случилось? А может, я незаметно заснула и слышала его зов во сне?»

Она вздрогнула — внезапный озноб пронзил все ее тело. «Что же все-таки случилось с ним? Зачем он меня позвал? И откуда?»

Иван Макарович открыл глаза, но вместо неба увидел над головой белый потолок. Повернув слегка голову, он обнаружил такие же белые стены, белые занавески на окнах. Догадался: он в больнице. Но почему в больнице, ведь у него ничего не болит? Та боль, которая придавила его к скамейке в райкомовском сквере, прошла, словно ее никогда и не было.

«Но тогда почему я здесь и что со мной?» — подумал он, поднимаясь с кровати.

— Больной, — слышался сзади чей-то незнакомый голос, — лежите спокойно, вам вставать нельзя. — Молоденькая сестричка в высоком накрахмаленном колпаке склонилась над ним, привычным жестом поправляя подушку. — Доктор предупредил: никаких резких движений.

— Почему? — спросил Иван Макарович.

— Потому. Много будете знать, рано состаритесь.

— Я и так уже старый.

Сестричка лукаво улыбнулась:

— Я бы этого не сказала. Мужчина, что называется, в форме. Жаль только, что к нам попали. А то бы... — Она не договорила, заставила оголить руку и чуть выше локтя всадила в мышцу здоровенную иглу. — Если почувствуете себя плохо, нажмите вот эту кнопку. Сумеете дотянуться? А пока лежите. Вам нельзя двигаться. — Уходя, она еще раз улыбнулась Ивану Макаровичу: — Не переживайте. Все будет хорошо. У меня глаз верный. А сейчас я позову доктора.

Когда доктор вошел в палату, большой, грузный, с объемистым животиком, выпиравшим в прорезь халата, Иван Макарович сразу даже не узнал его.

— Ну, как ты чувствуешь себя, Иван?

Только по голосу и можно было признать в нем бывшего школьного однокашника.

— Костя, ты?

— Тихо, тихо! Никаких эмоций!

Это был Костя Болотный из соседней деревни Выселки, но в школу он ходил снегиревскую. И учились они в одном классе, вплоть до девятого.

— Помнишь, Вань, как мы с тобой в город рванули? На «Тарзана». Подряд раз пять смотрели.

— А потом ты все по деревьям прыгал как сумасшедший.

— Ага, пока ногу себе не сломал.

— Точно, а я и забыл про ногу...

— Не твоя ж нога, зачем тебе помнить?

Костя засмеялся, придерживая руками живот и весь колыхаясь от смеха.

— С этой ноги, пожалуй, все и началось, — отсмеявшись, сказал он, — а не сломай я тогда ногу, не быть бы мне и хирургом.

— При чем тут твоя нога? — спросил Иван Макарович.

— Да понимаешь, очень мне тогда доктор понравился. Который кость мне вправлял. Такой миленький доктор с веснушками на носу.

— Узнаю старого ловеласа.

— А ты? — спросил доктор Болотный.

— Что я?

— Ну, как существуешь? Странно, живем в одном районе и не видимся.

— Правда — почему?

— По разным орбитам крутимся: ты по своей, я по своей.

— Вот и пересеклись наши орбиты, — сказал Иван Макарович, — но лучше б и не пересекались.

— Да ладно, не горюй, поставлю я тебя на ноги, — снова засмеялся доктор, — по старой дружбе. На рыбалку еще с тобой поедем. Как там у нас в речке, рыбка еще клюет?

— А ты со школьных лет так и не был дома?

— Не был, — признался Костя. — Никого у меня в Выселках не осталось.

— А теперь и Выселок уже нет, — сказал Иван Макарович.

— Вот видишь...

Они помолчали, задумчиво глядя друг на друга, но словно и не видя один другого.

— А знаешь, Ваня, как страшно жить, — наконец произнес доктор Болотный, — если знать, что на земле не осталось даже того места, где ты родился.

— Ну, почему не осталось? — успокоил его Иван Макарович. — Деревни нет, но место-то есть. Даже старая береза растет, с которой ты прыгал Тарзаном.

— Правда? — оживился Костя и пообещал: — Приеду как-нибудь, непременно приеду. Только ты с меня слово возьми.

— Какое слово?

— Что приеду. Как бы клятву.

— Хорошо, беру.

— Вот теперь мне уж не отвертеться. Я себе за правило взял: свои обещания, кровь из носу, но выполнять.

— Завидное правило. Но ты, я вижу, специально меня все заговариваешь и заговариваешь, чтоб не говорить о главном.

— О главном? Ты знаешь, что в этой жизни главное?

— Знаю. Например, почему я оказался здесь у тебя? Для меня во всяком случае — главное.

— Тебе лучше знать, почему ты здесь, — опять засмеялся доктор Болотный. — Вот и объясни мне все по порядку.

— Но я ничего не помню. Сидел на скамейке в райкомовском сквере, облака плыли по небу...

— Вот там-то тебя и подобрали. Хотели сначала в вытрезвитель направить. Хорошо, что милиционер оказался внимательным. Разглядел, что непьяный. Привезли сюда.

— Инфаркт? — спросил Иван Макарович.

— Не знаю. Пока ничего не знаю.

— Какой же ты доктор? — усмехнулся Иван Макарович. — Что, сразу расписываешься в своей некомпетентности.

Но Костя не принял его иронии.

— Нужно провести детальное обследование — вот все, что я могу сказать. Будущее покажет. Ну, а сейчас как? На что жалуешься?

— Ни на что. Здоров я.

— Прекрасно. Люблю иметь дело со здоровыми людьми. Правда, они мне почему-то редко попадаются. Ну-ка, подними рубаху. — Доктор приставил к груди Ивана Макаровича стетоскоп и долго слушал. Затем спросил: — Признайся, раньше с тобой ничего похожего не случилось?

— Нет.

— Подумай. Вспомни. Это очень важно.

— Было однажды, — сказал Иван Макарович, — по саду бегал, дочку догонял. Резкая боль, в глазах потемнело. Но — быстро прошло.

— Почему ж в больницу не обратился?

— Ну, знаешь ли, если по всяким пустякам. Да и некогда мне. Страда у меня.

— У всех страда, — сказал доктор Болотный и поднялся. — Вот так и бывает: сперва некогда, потом поздно. — Он позвонил, и в палату вошла сестра. — Кардиограмму, кровь на общий анализ, рентген, — приказал он ей, — и все, что полагается в таких случаях.

— Хорошо, Константин Петрович. Будет сделано.

Доктор уже дошел до двери, но Иван Макарович остановил его:

— Подожди, Костя. Как долго я все-таки буду здесь лежать? Домой ведь как-то надо сообщить.

— Уже сообщили.

— Оперативно работаете.

— Фирма. Так что ни о чем не волнуйся. Спи. Сон, как ты, наверное, знаешь, лучшее из лекарств.

Доктор Болотный ушел, и остался Иван Макарович один в палате. Вернее, это была даже не палата, а скорей реаниматорская. Он видел однажды такую по телевизору. Весь угол был занят какой-то непонятной аппаратурой, перевитой, как змеями, гибкими шлангами. Один аппарат похож на большой насос.

«Неужто это и есть искусственное сердце? — с ужасом подумал Иван Макарович. — А вот эти мехи — это легкие?»

Впечатление было такое, что он попал в какую-то страну роботов, которые вот сейчас зашевелиятся и начнут действовать самостоятельно. Что они сделают тогда с ним, с живым и непонятным для них человеком, лишенным машинной логики?

— Стой! Стой! — сам себе приказал Иван Макарович. — Ведь так невесть куда можно занестись.

Усилием воли он переключил свои мысли на другое: как там в колхозе? Мирно ли закончился праздник? Начали ли уборку картошки? Картошка в отличие от зерновых нынче не уродилась, поэтому и предстояло убрать ее так, чтоб не потерять ни единого клубня. Первым делом засыпать на семена...

Перед уходом с дежурства Костя Болотный опять заглянул к Ивану Макаровичу.

— Ты еще не спишь?

— Да вот что-то не спится на новом месте.

— Хочешь, снотворное дам?

Но и сонная таблетка не помогла. Иван Макарович тихо лежал, смотрел в белый потолок, стараясь ни о чем не думать. И вдруг, будто он сидел вот здесь, рядом, услышал голос Федора Драча: «Умру, что после меня останется?» Федора-то он утешал — всегда со стороны легче, — а самого себя чем утетишь?

«Ладно, давай разберемся спокойно, без эмоций».

В нем как бы появилось два человека: один задавал вопросы, другой отвечал.

«Как ты жил? Что ты сделал? Что у тебя было хорошего в жизни и что плохого?»

Он перебирал в памяти всю свою жизнь, будто песок пересыпал меж пальцами. Всего было. И хорошего и плохого — разного. А чего было больше? Ну, война, послевоенный голод, неприятности по работе, непогода — мало ли чего? Но ведь было и хорошее!

Иван Макарович вспомнил, какое стояло радостное майское утро, когда он вынес из родильного дома дочь. Он прижимал этот маленький теплый комочек к груди, и сердце его ликовало. Был бы у них и мальчонка, сынок... Но не повезло. А как было бы здорово... Дочка ведь — не сын, у нее другие интересы...

Вспомнил он и то, как каялась, просила у него прощения Надежда за то, что не уберегла сына. А ведь это не она, а он должен был просить у нее прощения, что послал на такую работу. Потому, знать, раньше времени и состарилась...

Думать об этом было мучительно. Виноват он был перед женой, как ни крути, виноват, особенно в последнее время. Но почему в последнее? Что случилось с ним? Что произошло? Как гром среди ясного неба... Та гроза и встреча в избе у деда Кузьмы? Вот уж никогда не думал, что такое может случиться с ним! И вот случилось. Произошло. И тут уж ничего не поделаешь, если бы он и захотел что-либо сделать. А он не хочет. Нет! Тех радостно-трепетных минут счастья, когда он видел Веру Сергеевну, говорил с ней, просто смотрел на нее, думал о ней, он не отдаст никому, не поменяет ни на какие блага на свете. Что бы ни говорили об этом, как бы ни судили, как бы ни называли то чувство, которое... Сейчас он даже не мог произнести то слово, которым оно было названо.

«А ведь она даже не знает, что я ее люблю, — внезапно подумал Иван Макарович, — но это и хорошо, что не знает. Чтоб никакая грязь не коснулась ее. А если уже коснулась? И пока он прохлаждается здесь, в больнице, сплетня уже пошла гулять по деревне?»

Он чуть не застонал: она такая чистая, такая беспомощная, такая одинокая... Хватит ли у нее сил вынести все это? Не сломаться, не убежать?

«Ты подожди меня, — молил он сейчас Веру, — я выйду отсюда и все решу сам».

Что он решит, Иван Макарович еще не знал, но твердо знал, что в обиду ее не даст. Заслонит, защитит, как только сможет. Трудней будет с Надеждой. Как он посмотрит ей в глаза? Как скажет ей и Кате...

Таблетка в конце концов все же подействовала, и он уснул, а во сне увидел, что идут они с Катей на рыбалку. Река еще вся в тумане, вода еле проблескивается сквозь дымные клочья, но рыба уже играет, это слышно по глухим ударам по воде.

— Эге-гей! — от избытка радости кричит Катя и далеко забрасывает удочку. — Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая... Эге-гей!

— Тише, — шепчет он ей, — здесь нельзя кричать. Рыба любит тишину.

— А ты кого любишь? — спрашивает Катя и начинает громко плакать. — Не любишь ты меня, папка, не жалеешь.

— Люблю! Люблю!

Он целует дочь, прижимает к сердцу, но та вывертывается из его рук и бежит по берегу. Остановившись на самой крутизне, Катя вдруг скидывает руки, чтоб кинуться в воду.

— Не любишь, не любишь...

— Катя, остановись! Что ты делаешь? — кричит Иван Макарович, и бежит за ней, и ловит ее, но вместо Кати в руках у него оказывается большая скользкая рыба, похожая на сома. У рыбы длинные, закрученные, как спираль, усы. Иван Макарович хочет удержать сома, но он скользит в его руках, извивается, как уж, и вдруг, широко разинув свой беззубый, весь в болотной тине рот, шипит:

— Шашни, шашни, шашни...

Но тут появляется Вера Сергеевна, Вера. Она стоит на берегу, держа в руках корзину с грибами, улыбается.

— Неправда, — говорит она, — это не шашни, это любовь. Как у Ивана Лесиченка. Ты ведь тоже Иван. Ваня. Ванечка...

Она подходит к нему, обнимает, целует в губы, и он летит куда-то в бездну...

— Больной, больной... К вам пришли...

Иван Макарович открыл глаза и рядом с сестричкой, разбудившей его, увидел Надежду. Лицо у нее было помятое, некрасивое, глаза опухшие.

— Ваня, голубчик ты мой! Что ж ты наделал, а? — заплакала она.

— Перестань! — поморщился он. — На улице и так сыро...

— Наоборот, солнышко, — всхлипнула Надежда, — а ты тут лежишь...

— Да это меня Костя по блату держит, — попытался отшутиться Иван Макарович. — Помнишь Костю Болотного?

Но она будто не слышала его, выкладывала принесенное:

— Вот свежего медку тебе принесла. Мед от всех болезней...

— Но зачем столько?

— Ешь, голубчик мой. Поправляйся. А это вот малины баночка. Катя насобирала — чуть свет встала и в лес...

— Как в колхозе-то дела? — поинтересовался он.

Надежда начала про дела в колхозе, про лён, про картошку, но постепенно опять перешла на него. Дескать, все за него волнуются, переживают, а Семен Дмитриевич даже подвез ее до самой больницы на своей машине. Вон там стоит, дожидается.

— Так что болей на здоровье, ни о чем не беспокойся, — заключила она, — отдохни хоть здесь.

— Здесь отдохнешь...

— Глупой, глупой, — журила она его, расставляя на тумбочке гостинцы, — все носишься с темна до темна, силушку свою укладываешь. И все мало, мало. Все давай, давай. Когда скажут: «Хватит, Иван Макарович, на всех угробляться. Поживи чуток для себя». Никогда не скажут. Не дожدهшься.

— Скажут, когда на пенсию будут отправлять.

— Вот-вот, на пенсию. А жить когда?

— Что ты называешь жизнью? — Иван Макарович взял жену за руку, усадил рядом с собой на кровать. — Погоди, не суетись, поговорить надо.

— О чем? — словно испугалась она.

— О нас с тобой.

Она отвернулась от него, глухо произнесла:

— Не надо, Ваня. Сейчас ни к чему. Зачем себя тревожить? Выздоровеешь, тогда уж...

— Нет, лучше уж сразу. — Он замолчал, и тихо стало в палате, лишь жужжала где-то муха, запутавшаяся в паутине. — Не хотел я тебя огорчать, да, видно, придется. Понимаешь...

— Понимаю, — тут же, как эхо, откликнулась Надежда. — Понимаю и знаю. Ничего не говори, Ваня.

— Уже наболтали?

Она глубоко вздохнула:

— Ох, и глупой. Никто мне ничего не болтал. Сердце само почуяло.

— Почуяло?

Он во все глаза глядел на жену, словно в первый раз открыл ее для себя.

— Помнишь, гроза была? — помолчав, спросила На-

дежда. — Ты в район уехал. Я жду, тебя нет и нет. Вышла на крыльцо. Молния как полыхнет! Я вообще-то грозы не боюсь. Люблю даже. А тут как ударит, страшно сделалось. Сердце затрепыхалось. Потом ты вернулся. Я гляжу на тебя и словно б таки не узнаю. Чужой какой-то. На меня смотришь, а меня не видишь...

Он опустил голову, жалея, что начал этот разговор, вот ведь как все обернулось. Ему было стыдно, нестерпимо стыдно перед женой, может быть, поэтому он и признался:

— Ты не думай, у нас ничего не было... Если б было, я б сказал.

— Верю, — ответила Надежда и погладила его по руке, — не кори ты себя, ведь ты не виноват.

— Не виноват?

— Со всяким может случиться. От судьбы все равно не уйти...

— От судьбы? Что ты говоришь?

— То и говорю. Рано или поздно человек должен полюбить. Без этого и жить нельзя. А меня ведь ты не любил никогда.

— Неправда, — прошептал он, — неправда.

— Правда. Горькая, но правда, — сказала Надежда. — И женился на мне ты из жалости. Разве не помнишь?

— Значит, ты не была счастлива со мной? — спросил Иван Макарович. — Значит, все эти годы...

— Нет! — перебила Надежда. — Не говори так. Не надо. — Она тихо и ласково глядела на него, будто не с ним, а с кем-то еще говорила: — Что вы понимаете в счастье? Вы — мужики. Мужик, он и есть мужик. Нет, бабы не так любят. Хотя что я за всех-то баб ручаюсь? Тут бы самой за себя поручиться... Большой ты у меня, Ваня, умный, а ничегошеньки не понимаешь. Как маленький. Счастье не в том, что тебя любят, а что ты любишь. Каждой клеточкой, каждой своей жилкой. Бывало, встанешь утром: «Что у меня хорошего в жизни? Ваня. А что плохого? Тоже Ваня». Весь свет в окне. Потому и угодить хочется. Рубашку простирнуть, обед приготовить, с работы дождаться. А вечером, ложась спать, опять: «Что у меня плохое — Ваня. Зато и хорошее — тоже Ваня». Так и заснешь с радостью... Не знаю, может, это не любовь. Может быть, как-нибудь по-другому называется. Только радостно мне с тобой было — вот и весь сказ. Так что напрасно ты меня хочешь обидеть.

Напрасно. Того, что у нас с тобой было, уже не отберешь. И я буду по гроб жизни тебе благодарна за это. А что сейчас случилось... Наверное, мне в наказание это...

— За что? — спросил он.

— Знаю, за что. Да и ты знаешь...

Надежда замолчала, задумчиво глядя в окно, где билась, трепетала на ветру ветка березы. Молчал и Иван Макарович.

— Ну, я пойду, — сказала Надежда. — Работа не ждет. Да и Катька взаперти мается... — Она поцеловала его, как маленького, в макушку и легонько оттолкнула от себя: — Выздоровливай, Ваня.

— Погоди! — он прижался щекой к ее теплой, ласковой руке, попросил: — Прости меня, Надя. Если можешь — прости.

13

Только что прошел дождь, умыл пыльные дороги и тротуары, освежил зелень газонов, наполнил воздух запахом парной, раздобревшей земли.

Доктор Болотный шел не спеша домой, наслаждаясь всем этим чистым, обновленным миром, как вдруг услышал рядом с собой скрип тормозов. Расплескав грязную лужу, впритык к тротуару остановилась райкомовская «Волга».

— Константин Петрович! — раздался из нее голос. — Садитесь, подвезу.

— Спасибо, Анна Максимовна. Я почти дома.

— Садитесь, садитесь, разговор есть...

Когда он уселся, едва втиснувшись своим грузным телом на заднее сиденье, секретарь райкома спросила:

— Как там наш Исачкин? Что с ним?

Доктор Болотный почесал глубокие складки на лбу:

— Задал нам задачку Иван Макарович. Понимаете, осколок мы у него обнаружили.

— Осколок?! — вскинула удивленные брови Анна Максимовна. — Откуда он?

— Видать, с войны.

— С войны?! Столько лет...

— В том-то и дело. Сидел, сидел тихо, а теперь вот зашевелился... Он ведь мальчишкой партизан переводил через минное поле, ну и подорвался. Несколько осколков тогда из него извлекли — оказывается, не все...

— И где этот осколок?

— В двух-трех миллиметрах от сердца.

— Так почему же его тогда не вынули? Не заметили, что ли?

— Может быть, не заметили, может, не решились. Ведь делали операцию в полевых условиях. Партизанский госпиталь. Вынули, что могли вынуть.

— Выходит, все эти годы Исачкин жил с осколком под сердцем? — удивилась Анна Максимовна.

— Жил и не знал, что достаточно одного лишь неосторожного движения... Или сильного волнения.

— Но я ведь тоже ничего не знала, — помолчав, проговорила Анна Максимовна.

— А при чем вы? — Доктор Болотный, взглянув в окно, попросил остановить машину. — Спасибо, что подвезли. Вот я и дома.

Он ушел, а черная райкомовская «Волга» еще долго стояла у его подъезда. Потом медленно покатилась под уклон.

Последние дни доктор Болотный находился в тяжком раздумье — сказать или не сказать об осколке самому Ивану Макаровичу? И что вообще делать с этим осколком? Оперировать? Каждая операция — риск. И не малый. А если... Ведь он столько лет жил с осколком, и тот ему ничуть не мешал? Не мешал до поры до времени. И вот же зашевелился. Есть ли гарантия в том, что осколок и впредь будет вести себя тихо? Нет таких гарантий. Что же в таком случае делать? Как убедить Ивана в том, что операция необходима? Согласится ли он? А может, вообще ничего не говорить про осколок? Пусть живет в счастливом неведении?

После вечернего обхода больных доктор Болотный зашел в палату к Ивану Макаровичу. Начал издалека:

— Не сыграть ли нам с тобой, Ваня, партийку в шахматы?

— Давай, — согласился тот и улыбнулся, — давненько я не брал шахмат в руки.

Доктор расставлял на доске фигуры, а сам украдкой наблюдал за больным: спокоен, даже весел, в игре азартен.

Легко выиграв у доктора партию, Иван Макарович предложил:

— Давай на интерес. Если выиграю у тебя три партии подряд, ты меня выписываешь домой. Идет?

— Ишь, какой хитрый. Ты сперва выиграй.

Они играли в шахматы, и Иван Макарович все уговаривал доктора отпустить его домой.

— Ну, закончил ты все свои обследования? Неужели не видишь, что я здоров? Или нарочно прикидываешься? Вот уж никогда не думал, что ты такой перестраховщик. Ну, чего ты боишься? Чего? Я тебе расписку дам.

— Какую расписку?

— В случае моей смерти, дескать, никого не винить.

— Ну и шуточки у тебя, Иван...

— Да какие шутки? У меня дел в колхозе, а мы тут с тобой лясы точим, в шахматы играем, ферзями перекидываемся. Смотри, Костя, добром прошу. Не то сбегу к чертовой бабушке!

— Как это ты сбежишь? — посмеивался доктор Болотный.

— А через окно. Прыг — и поминай как звали.

— Прямо в халате?

— Ну что ж делать, если ты такой несознательный. А еще друг детства называется.

Иван Макарович резко поднялся — рассыпались по полу шахматные фигуры.

— Выписывай, и дело с концом!

— Сядь, — сказал ему доктор Болотный. — Сядь и выслушай меня спокойно. Во всяком случае, постарайся спокойно выслушать. О выписке домой — забудь. Лечение тебе предстоит долгое. Возможна даже операция.

— Операция? Чего операция? Ну, говори, говори. Бей, раз замахнулся!

Доктор нагнулся, стал подбирать рассыпавшиеся фигуры.

— Сколько из тебя тогда осколков вынули? — спросил он.

— Когда?

— Ну, когда ты на mine подорвался.

— Вспомнил... Я уже про то и забыл давно. Сказали — двенадцать.

— А тринадцатый остался. Вот так-то, брат. А ты с ножом к горлу — выписывай. Не хотел я тебе говорить, да сам вынудил. Я...

— погоди, погоди, — перебил его Иван Макарович, — ты хочешь сказать, что все эти годы я...

— Именно. Все эти годы ты носил в своем теле осколок. И не где-нибудь, а в нескольких миллиметрах от сердца.

— Не может быть...

— Можешь сам убедиться, раз не веришь. Конечно, этого делать не полагается, но как другу...

Доктор Болотный сходил к себе в кабинет, принес оттуда грудку снимков.

— Вот смотри!

— Но я ничего не вижу!

Держа снимки на свету, Болотный стал объяснять:

— Вот это ребра, это легкие, это сердце. А вот этот светлый кружочек, видишь? Осколок. Тот самый — тринадцатый. Чуть бы повыше, и все. Так что считай себя, Ваня, счастливым. Не иначе как в рубашке родился.

Иван Макарович, взяв у доктора снимки, долго разглядывал их, потом сказал:

— Ну и удружил ты мне, Костя. Что называется, по дружбе...

— Ты считаешь, я удружил? — удивился тот.

— А кто же еще? Я бы так и прожил всю свою жизнь, не зная, а ты...

— Да я удивляюсь, как ты до сих пор вообще жив!

— Даже так?

Иван Макарович поглядел в окно, за которым ярко горел закат, золотил верхушки деревьев больничного парка.

— Ты только не волнуйся, Иван, — попросил доктор Болотный, — главное — спокойствие.

— Да я не волнуюсь, как видишь. Ну и что ты предлагаешь, Костя?

— Операцию, — помолчав, ответил доктор Болотный.

— Сам будешь делать?

— Нет. Отправим тебя в область. К более опытным специалистам. Я не возьмусь. Такой редчайший случай...

— Но ведь если бы я случайно не попал сюда, ничего бы и не случилось?

— Ты считаешь — случайно?

— А что? Все дело в осколке?

— Думаю, что да. Здоровое сердце, и вдруг... Вполне вероятно, что именно осколок и надавил на него. А что, если он надавит еще раз и прорвет сердечную сумку? Кто знает? Кто предугадает, как он поведет себя дальше? Сделать вид, что ничего не произошло и выписать тебя из больницы, — прости, но взять на себя такую ответственность я не могу. Не имею права.

— А если я не соглашусь на операцию? — спросил Иван Макарович.

— Заставить тебя силой лечь под нож я, конечно, не

могу. Но я бы на твоём месте... Жить под вечной угрозой... Так что решайся. — Он наконец собрал с пола шахматные фигуры, взял доску под мышку, собираясь уйти. — Но решать нужно быстро. Иначе...

— Что иначе?

— Иначе я ни за что не ручаюсь.

— Хорошо, Костя, я подумаю, — сказал Иван Макарович, — и спасибо тебе.

— За что? — удивленно вскинул глаза доктор Болотный.

— За откровенность и прямоту. Но скажи тогда и другое. Тоже прямо и откровенно. Это опасно?

— Как всякая операция, — пожал плечами доктор Болотный, — иногда и самый безобидный аппендицит...

— Нет, ты не юли. Мне это точно нужно знать. Понимаешь — точно.

— Я не бог, — развел руками доктор Болотный, — а в наше время даже бог и тот ошибается...

— Тогда вот что, — сказал Иван Макарович, — предположим, я согласен. Но если ты исполнишь одну мою просьбу. Обещай, что исполнишь!

— Все, что в моих силах.

— Отпусти меня домой, — попросил Иван Макарович, — хоть на один час, хоть на минутку. Отпусти, а?

— Зачем?

— Понимаешь, мне нужно сказать одному человеку... Женщине... Что я ее люблю. Только сказать, и все. Понимаешь? Я не могу ни на что решиться, не сказав ей этого. Не имею права... — Уловив мелькнувшую на губах у Кости Болотного язвительную усмешку, попросил: — Не надо, Костя. Это совсем не то, что ты думаешь.

— А я ничего такого и не думаю. Только зачем торопиться? Выздоровеешь, тогда и скажешь.

— Значит, не отпускаешь?

— Нет! — Он подошел к кровати и слегка похлопал Ивана Макаровича по плечу: — Эх, Иван, Иван, в наши-то годы и волноваться из-за каких-то... Разве они того стоят? О себе лучше подумай, о себе...

Когда доктор Болотный ушел, Иван Макарович подошел к окну, настежь распахнул его. На западе высокий, в полнеба, горел закат, а на востоке в туманной синеве уже взошла одна звездочка. Свет ее еще был неяркий, но с каждой минутой все набирал и набирал силу, будто кто-то невидимый все дул и дул на звезду, помогая огоньку разгореться.

«Боюсь ли я смерти?» — думал Иван Макарович, глядя на эту одинокую, вставшую над миром, звезду, и не знал, что ответить. Это не то, что утешать других, как утешал он недавно Федора Драча. Тот и в самом деле кое-что на земле оставил. А он? Иван Макарович Исачкин, сорока двух лет от роду? Прожил ли он свою жизнь так, как требовала собственная совесть? Или ловчил, изворачивался? Сейчас, перед лицом костлявой, нельзя было лгать, и он честно сам себе признался: «Да, ловчил, да, изворачивался».

А разве иначе в этой жизни можно прожить? Конечно, он пытался жить по совести, и если ловчил, то ведь не для себя же. Для пользы дела. Мысли его тотчас же переключились на привычное. Взять хотя бы комплекс. Приказали: «Строй!» А он все оттягивал и оттягивал. Комплекс построить — не мудреное дело. Нужно прежде всего решить кормовую проблему. Подвести, так сказать, базу. Он прямо так и заявил на бюро райкома. Ну, и, конечно, схлопотал выговор. А на проверку что вышло? Вон председатель соседнего колхоза Струков построил комплекс, размахнулся на тысячу голов, только чтоб отрапортовать, а надон молока резко снизились. Кормить такое стадо нечем. Теперь локти кусает. А он с выговором, но и с молоком. Неизвестно, где выиграешь, где проиграешь... Или с лошадьми. «Зачем столько лошадей оставляешь? В век техники и механизации на лошадях не выведешь!» Все правильно: век механизации. Но и лошаденкой нельзя пренебрегать. Он оставил лошадей и не прогадал. В прошлом году лили такие дожди, что гусеничные трактора застревали на поле. Вот и выручили лошади. Хоть и не весь, но спасли урожай. Рассчитались с государством полностью. Да мало ли? Если хочешь вести хозяйство по-хозяйски, привыкай ко всяким поворотам судьбы. Здесь как чет-нечет. Или пан, или пропал.

Он усмехнулся: «О чем это я? Какие мелочи лезут в голову: лошади, комплекс, выговор. Вот так и в жизни: мелочи, мелочи. Из-за них некогда бывает подумать о главном. Хотя что, собственно, главное в этой жизни?»

Закат уже догорел, и звезды повысыпали в небе, как белые зерна на черной пахоте.

«С огрехами посеяны, — невольно подумалось Ивану Макаровичу, — где густо, где пусто».

Да, что же все-таки главное? Может быть, в школе он бы принес больше пользы? Учить детишек уму-разу-

му... Это ли не высший смысл жизни? И не об этом ли ему напоминала Вера Сергеевна там, в избе деда Кузьмы. Высший смысл... Сама жизнь — может быть, это и есть высший смысл? Жить. Просто жить. Ходить по земле. Делать людям добро. Не лгать. Не обманывать...

Нет, наверное, он все-таки жил не так, как нужно было жить. Сколько он наделал в жизни ошибок — малых и больших. Скольких людей обидел! Самых родных, самых близких. Он вспомнил мать, как она лежала больная, почти умирающая, просила: «Посиди со мной, сынок. Дай хоть наглядеться на тебя...» Ему же было скучно сидеть у постели матери, и он убегал с ребятами: то ловить рыбу, то играть в лапту.

Вернуть бы сейчас все назад, начать все сначала! И горько было от сознания того, что уже ничего нельзя вернуть, ничего нельзя изменить, ничего в своей жизни не переделать.

За окном плыла темная ночь, и такая же темень лежала на сердце у Ивана Макаровича. И вдруг словно луч света блеснул во тьме: Вера! Но тотчас же и страшная мысль: а что, если и любовь к нему пришла в наказание? От этой мысли стало холодно, хотя ночь была удивительно теплой, даже душной. Холод родился где-то внутри, у самого сердца, и медленной волной стал растекаться по всему телу.

— Неправда, — сказал он сам себе, — любовь не может быть наказанием. Любовь — это благо. Любовь — награда...

А ведь он корил себя за нее, гнал из сердца, не давал разгореться. Боялся ее как огня. Все откладывал на завтрашний день. А что, если завтрашнего дня вообще не будет? Не будет ни завтра, ни послезавтра. Никогда...

С трудом — руки стали как ватные — он закрыл окно, лег в постель. Озноб не проходил. Ощущение было такое, будто он стоял на снегу голым. Как же согреться, как?

— А я печку сейчас растоплю, — сказал дед Кузьма и подбросил в топку тонких березовых полешек, — сейчас согреешься, сейчас...

Печка пыхнула жаром, и Ивану Макаровичу сразу стало тепло, а еще и радостно, потому что подошла Вера Сергеевна и тоже протянула к огню руки.

— Я здесь, я с тобой, — сказала она и улыбнулась своей тихой, чуть виноватой улыбкой, — что бы ни случилось, я всегда буду с тобой.

На протянутой к огню правой руке ее багровело круглое пятнышко.

— Что с тобой? — спросил он.

— А, это?.. — засмеялась Вера Сергеевна. — Это меня пчела укусила. Я не сделала ей ничего дурного, а она меня укусила.

Иван Макарович взял ее руку и поцеловал в то место, где виднелась припухлость от укуса пчелы.

— Спасибо, — прошептал он.

— За что?

— За то, что пришла. И теперь уж никуда не уйдешь. Я не пущу тебя, слышишь? Помнишь, ты сказала: анти мы. Неправда! Не анти мы, а живые мы. Куда ж нам деться от самих себя? Ты — это я, а я — это ты. Неразрывно. Понимаешь? Один в другом. Я только сейчас это понял, только здесь. А ты, а ты?

Она не отвечала, молча глядела на него своими мохнатыми глазами, на которые все время падали волосы.

— Я знал, что ты придешь. Потому что иначе нельзя, не должно быть иначе. Сколько лет я тебя ждал. Да что — лет? Всю жизнь.

— Вот я и пришла. Тебе тепло?

— Жарко. Потуши печку, — попросил он.

— Нет, пусть горит. А как ты думаешь, он прилетит?

— Кто?

— Ну, тот шарик. Помнишь? Можно, я позову его сюда?

Не дожидаясь ответа, она позвала, и шарик появился. Медленно поплыл по избе, лия вокруг себя холодно-мерцающее сияние, а когда подплыл совсем близко, она и вскинула руки, чтоб поймать его.

— Не тронь! — закричал Иван Макарович, но было уже поздно. Раздался долгий, длинный, нескончаемый взрыв, и шарик рассыпался. Он рассыпался веером ярких ослепительных искр, а в этих искрах то появлялось, то вновь исчезало лицо Веры, ее смеющийся рот, ее глаза, мохнатые, как пчелы. Оно будто текло, это лицо, переливалось во что-то другое, пока не остановилось наконец. А когда остановилось, оформилось, Иван Макарович чуть не вскрикнул: так оно стало прекрасно!

— Ты ли это? — спросил он Веру, потому что не мог поверить.

— Я, — ответила она, — а кто же еще? Ведь я — это ты, а ты — это я. Я и пришла за тобой. Вставай, идем.

Он лежал, распластавшись на кровати, не в силах

даже поднять голову от страшной, вдруг навалившейся тяжести, но Вера подошла и подала ему руку, и он сразу же и совсем легко поднялся. Стены палаты раздвинулись перед ними, открывая далекий, необозримый простор. Они шли, взявшись за руки, но будто не шли, а летели над цветущими лугами и зеленеющими перелесками, пролетали синие реки и топкие болота, пока не очутились наконец на лесной поляне. Посреди этой поляны лежал красный могильный камень. На камне сидели двое, они тотчас же узнали их. Это был Иван Лисиченко со своей любимой Феклой.

— Вы зачем сюда пришли? — крикнул Иван Лисиченко. — Это наше место! Убирайтесь отсюда! — И взмахнул своим коротким сапожным ножом.

Они поднялись с камня и полетели дальше.

— Куда мы летим? — спросил Иван Макарович. Ему никто не ответил, и тогда он догадался: путь их лежал к одинокой, горящей в небе звезде...

Спустя недели две после похорон Ивана Макаровича в кабинет к доктору Болотному постучалась невысокая молодая женщина, одетая в черное платье и черную, надвинутую на лоб, маленькую шляпку. Из-под шляпки строго и печально глядели на мир большие в мохнатых ресницах глаза.

— Я — учительница. Вера Сергеевна, — представилась она и попросила: — Расскажите мне, как он умер. Ему было трудно? Он сильно мучился?

«Так вот кого Иван так любил, вот к кому он тогда так рвался...»

— Могу вас утешить хоть этим: он совсем не мучился. Потому что умер во сне.

— Во сне? А разве бывает, что умирают во сне? — спросила Вера Сергеевна.

— Редко, но бывает. Хотите, возьмите на память. — И доктор Болотный протянул Вере Сергеевне маленький металлический осколок. Он отливал холодным тусклым голубоватым светом, и ей показалось, что этот осколок удивительным образом похож на тот шарик круглой молнии, который она хотела, но не успела схватить. Не успела, а он все равно взорвался...

Печка

на колесе

Повесть-сказка

— Убила, убила! Ой, мамушки мои, убила! — кричала Фрося и как заполошная бежала по деревне. — Ну хоть кто-нибудь, помогите!

Взывала она о помощи напрасно, потому что деревня была пуста. Да и какая деревня? Это раньше Лупановка была большой, многолюдной, дворов на пятьдесят, а теперь среди огромных лип и дубов ютилось шесть скобоченных изб, да и то половина из них заколочена. Но Фрося будто забыла про это, бежала заросшей, росистой с утра дорогой и голосила:

— Ой, мамушки мои, убила!

И все же в одной избе, самой крайней, стоящей прямо над речкой, обнаружился человек. Это был дед Степочка, недавно вернувшийся из дальних краев, — помирать на родной земле. Он сидел на поваленном стволе дуплистой ивы — та хоть и лежала на земле, а все еще зеленела — и плел корзину. Услышав Фросю, дед Степочка снял очки, прищурясь, поглядел на нее из-под седых лохматых бровей, но с места не сдвинулся.

— Чего блажишь-то? — спросил он, перекидывая корзину с одного колена на другое.

— Так ведь убила... — с крика на шепот перешла Фрося, прижимая к животу поварешку и пугливо оглядываясь.

Одета она была наспех: в ситцевый, держащийся лишь на одной бретельке сарафан, на ногах резиновые сапоги — один красный, другой зеленый.

— Кого убила? — спросил дед, продолжая заплетать корзину.

— Кого, кого? Мужика свово. Ваську. — Фрося робко приблизилась к деду Степочке и, дотрагиваясь рукой до его плеча, слезно попросила: — Сходил бы поглядел, а? Может, еще живой? А?

— Некогда мне, — насупил густые брови дед Степочка, — седни за корзинами приедут, а у меня еще плана нету.

И все же он отставил корзину, передвинулся по стволу ивы, как бы приглашая и Фросю присесть рядом.

— А чем ты его? — спросил он, помолчав.

— Половником.

— Каким?

— Каким, каким... Каким щи разливают.

— Вот непутеха... Деревянным али железным, спрашиваю?

— Вот этим самым... — И Фрося показала увесистый, выщербленный по краям деревянный половник.

— Ну, тогда очухается, даст бог.

И снова принялся за корзину. Фрося взяла прутьи, стала ему помогать.

— Волосы приberi, — сказал дед, — распустеха!

Фрося быстренько заплела распущенную косу и обернулась к нему:

— Сходил бы, дедусь, а? Поглядел...

— Я бы сходил, да поясницу схватило. Вчерась с Федькой Усачом бредешок закинули, а вода — уй! — холоднющая.

— От поясницы пчелиный яд помогает, — присоветовала Фрося, — выставь им спину.

— Да я уж выставлял. Не жалют.

— А еще заячью шкурку хорошо прикладывать.

— Да где ж взять шкурку-то?

Они сидели на поваленном стволе ивы, а в кустах, над речкой, звонкоголосили соловьи. Нигде больше, как в родной деревне, не слыхала Фрося такого соловьиного пения. Сперва начинал один, словно на пробу, кидал в утреннюю зарю два-три коленца и замолкал, прислушивался, кто откликнется. Откликалось сразу несколько, и так они рассыпались, будто соревнование друг с дружкой устраивали: кто кого перепоеет, кому первый приз достанется. Тогда и первый соловей включался в общий хор, и хор этот слаженно гремел на всю округу, хотя каждый из соловьев и вел свой голос, ни с чьим другим не сравнимый. Заслушались они соловьев, обо всем на свете забыли, пока дед Степочка не опомнился и не изрек:

— А скоро и соловьев изведут.

— Как изведут? — ужаснулась Фрося. — Не, их не поймаешь. Вон они какие махонькие...

— Зачем ловить? Сами улетят, когда нас с тобой сагитируют бросить Лупановку. Деревья выкорчуют, речка пересохнет, они и улетят.

— Куда?

— Новую жизнь искать. А у вас из-за чего эта... раз-погласия?

— Да все из-за нее, из-за проклятой «блондинки».

Дед Степочка чуть корзину не выронил.

— Из-за какой блондинки?

— Ой, дедусь, будто не знаешь, — засмеялась Фрося и пояснила: — Красную не пьет, подавай ему «блондинку». Каждый день по «блондинке», это ж какое здоровье нужно иметь? А как с ней посвиданькается, тут и зачнет куражиться: «Жена моя, лапушка... иди, я тебя поцелую!» Или: «Тьфу, нечисть! Глаза б мои не видели, уши не слышали!»

— Ну вот, а ты плачешь.

— Так ведь жалко. С молодости знаешь какой был!

— Какой?

— Ласковый, как теленок... Трех детей нажили.

— Вот детей бы и пожалела! — рассердился дед Степочка. — Нашла кого жалеть!.. Давно ли с трактора свалился?

— Ага, — тут же подхватила Фрося, — свалился в канавку и лежит. А трактор и пошел себе. Иду это я — что за наваждение? Трактор самоходом прет. Прямо на меня. А он и не заметил, как свалился. Лежит в канаве и орет во все тяжкие: «Шапки прочь, в лесу поют дрозды». Шапку всамделе потерял.

— Ну вот, — рассудил дед Степочка, — а ты плачешь. Не плакать надо, а радоваться. Заплачешь, когда очухается. Когда в силу войдет.

— Ох, и заплачу, — согласилась Фрося, — в кураже он сам не свой. Заставляет себя не Васькой — Артуром звать.

— Кем, кем? — не понял дед Степочка.

— Артуром. Книжка такая есть. «Овод» называется. Дед Степочка тихонько похихикал, спросил:

— А чего он дома-то оказался?

Фрося поправила сползшую с плеча бретельку.

— Выходной, говорит. Ну, выходной и выходной, я молчу, мое дело какое? Так нет, «блондинку» свою выпил, стал корюзиться. Ремязики свои выставляют: «Жена, а жена, ты меня любишь?» — «Любила, говорю, да всю любовь мою ты по стаканам расплескал. Отстань, говорю, рожа зеленая!» Он все равно — целоваться... Ну, я его и трахнула половником. Гляжу, сперва покачнулся малость, потом раз — и упал, пена из носа. Дед Сте-

пэчка, миленький, сходи ты. А я за тебя корзинку сплету.

— Сам управляюсь.

Он уже было приподнялся с ивы, выпрямился, ухватясь за поясицу, но тут же снова сел.

— А сама чего не сходишь?

— Боюсь. Нервы никуда. Как бы еще раз не стукнула!

Готовые ошкуренные прутики кончились, и Фрося принялась ошкуривать новые. Пальцы ее тотчас же пожелтели.

— Не марала б ты рук, — пожалел ее дед Степочка, — вон они у тебя какие красивые.

— Иди ты!

Фрося застеснялась, стала расплетать косу, хотела собрать волосы узлом на затылке, но они выплыли у ней из-под рук, рассыпались по полным мягким плечам.

— И родинки, как у матери, — продолжал дед Степочка, лаская глазами черные крапинки на ее белом лице: одна крапинка — на левой щеке, другая — на правой.

— А ты откуда про мать знаешь?

Дед Степочка покраснел, стушевался.

— Да это я так... предположительно.

Они еще немного посидели, послушали соловьев, и вдруг Фрося, будто вспомнив что-то, наклонилась к самому его уху, быстро зашептала:

— А хочешь, я тебе чтой-то покажу, а? Только поклянись, что никому не скажешь!

— Кому я тут скажу? Разве вон Трезорке...

Тогда Фрося, воровато оглянувшись, достала из-за пазухи синий конвертик, свернутый вчетверо, разгладила его, повертела перед глазами, словно сама удостоверясь, что это оно и есть — письмо.

— Вчерась получила. Читаю и глазам не верю: про любовь! Ну, думаю, Юлька — поганка, еще и тринадцати годов нету, а уже ухажера завела! А потом глядь на конверт. Письмо Ефросинье Сидоровне Крыльцовой. А Ефросинья-то я. Другой в деревне нету.

— Да уж такой не только в деревне, а на всем белом свете...

— Опять ты за свое! — отмахнулась от него Фрося. — Я про дело, а ты...

— От кого ж это? — поинтересовался дед Степочка.

Фрося всплеснула руками.

— В том-то и дело — не знаю! Фамилия неразборчистая. На, сам почитай.

Дед Степочка снял со лба очки, водрузил их на глаза, чертыхнулся, потому что длинные лохматые брови мешали ему читать, — и начал:

«— Здравствуйте, многоуважаемая Ефросинья Сидоровна! — Он замолчал и внимательно поглядел на Фросю: ишь ты, «многоуважаемая». — Не подумайте, что я какой непутевый, я еще никому в своей жизни не писал писем, разве что друзьям по службе. И никого еще не любил. Но как только услышал ваш голос, со мной будто что-то сделалось. Непонятное. Я будто заново родился. Голос у вас такой нежный, такой ласковый, что хочется слушать его и слушать...»

Дед Степочка приподнял очки и в упор поглядел на Фросю. Та сидела, не шевелясь, лишь глаза удивленно моргали.

— Ой, хитришь, баба! Как же ты не знаешь, от кого письмо, ежели он твой голос слышал?

— Вот ей-боженьки! — перекрестилась Фрося. — Во сне, что ли, я ему приснилась? Спяну...

— Может, и во сне, — согласился дед Степочка, но тотчас же и засомневался, — а адрес как же? Тоже во сне узнал? Видишь, деревня Лупановка. Фамилия, имя — все сходится.

— В том-то и загвоздка, — задумчиво произнесла Фрося и посмотрела на небо: оно было чистым, как вода в роднике, и на душе у нее посветлело.

— Может, и он сейчас смотрит на небо?

— Кто? — не понял дед Степочка.

— Ну, тот, что письмо написал. Ты дальше-то, дальше прочти.

«— Я ничего у вас не прошу, — прочел дед Степочка, — кроме одного: ответьте мне, и я буду знать, что вы есть, ходите по земле, смотрите на звезды, на которые и я смотрю...»

— Ответила? — строго спросил дед Степочка.

— Ты что?! — вскинулась Фрося. — У меня же детей трое. Васька четвертый!

Она вырвала из рук деда письмо, хотела разорвать, но раздумала. Погладила, снова сунула за пазуху.

— А Васька-то, Васька как же? Про Ваську мы и забыли. Небось уже похолодел...

Она рванулась со ствола ивы, корзинку опрокинула.

— Беги, беги! — напутствовал ее дед Степочка. — Жалей. Он тебя, глядишь, пожалеет...

Фрося бежала назад к дому, торопилась застать му-

жа еще в живых и тут услышала, как на другом конце деревни раздавалось:

— Фроська, мать твою! Где моя «блондинка»?

Фрося беззлобно ругнулась, кинула в траву половник и вернулась назад к деду Степочке.

— В следующий раз, — присоветовал он ей, — бей железным половником. Не прогадаешь.

— Не дожидаясь прихода мужа, она спустилась к реке, не спеша вымыла руки, ополоснула лицо. В воде качались опрокинутые деревья, они так сплелись кронами, что и неба не было видно, лишь солнце пробивалось меж ветвями, золотило зеленую воду. Лучи проникали и глубже, до самого дна, отражаясь от гладких, отполированных водой камушков.

Тем временем подросел и Васька. Был он бос, нечесан, в одной нательной рубаше, и та надета наизнанку.

— Фроська! — сказал он, правой рукой почесывая себе левый бок. — Последний раз тебя спрашиваю: кто я?

— Ну, Артур, — ответила Фрося.

— Не то. Хозяин я в доме или так... пришей кобыле хвост?

— Ну, хозяин, — буркнула Фрося, заставляя его переодеть налицо рубашку.

— А раз хозяин, должен я свой резон поставить. Думаешь ты переезжать в новый поселок или же нет?

— Отстань!

— Не отстану!

Васька икнул, повернулся к деду Степочке:

— Ну-ка ты, пень трухлявый, рассуди нас! Думаешь, из-за чего у нас с женой война? Я ее к счастливой жизни волоку, а она упирается. Фроська, мать твою, последний раз спрашиваю!

— Иди ты... проспись!

Васька немного подумал. А когда он думал, лицо его делалось важным и значительным, как у какого-нибудь начальника.

— Лады. В таком случае... Как это ни прискорбно, мне придется тебя оставить.

— Скатертью дорожка!

Но Васька не уходил, стоял, покачиваясь, и икал.

— Детей, — наконец сообразил он, — поделим поровну. — И стал подсчитывать: — Если Гавроша мне, то тебе Юльку... Нет, лучше мне Юльку... Пстой, а Оксанку как же?

— Оксанку разорвать придется!

Васька рассердился:

— Ишь, разорвать! Тебя бы саму разорвать... — И вдруг его осенило: — В таком случае я оставляю тебе всех! Под расписку. А сам уйду. Потому что тяжелым камнем висишь ты на моей молодой перспективной жизни.

Но так как Фрося не отвечала, лишь глядела жалостно, он снова начал куражиться:

— Слышь, Фроська! Заплачешь без мужа. Но не уговаривай, не надо. Я решил окончательно и бесповоротно — уйду! Просить будешь — не вернусь. Я все сказал!

И, подтянув штаны, он гордой походкой направился к дому.

Фрося плюнула ему вслёт.

— Иди, иди, живи там со своей перспективой, а мы и так как-нибудь проживем. Перспектива... Знаю я твою перспективу — к сельмагу поближе. К друзьям-приятелям.

Васька шел впереди и, подняв кулак, грозил небу, будто оно было виновато во всех его злоключениях:

— Я тебе покажу кузькину мать!

И так это было потешно, что Фрося не сдержалась, рассмеялась на всю улицу. Разбуженная ее смехом, из окна своей подслеповатой избы выглянула бабка Анисья:

— Ты чего, девка, заходишься?

Ответил ей Васька:

— Радует, что мужа из дому выгнала. Видишь, бабуля, как она надо мной надсмехается? Будь в свидетелях.

— Глухая я, в свидетели не гожусь, — отвернулась от него бабка Анисья. — К тому же муж и жена — одна сатана. Так что отчаливай от моего подворья. Знать я тебя не знаю, ведать не ведаю!

— Ага! Сговорились? — рассвирепел Васька и, растопырив руки, двинулся на старуху.

Но бабка Анисья тоже не растерялась и встретила его рогачом:

— Сперва протрезвись, потом добрых людей пужай! — Выпроводив Ваську, она пригласила Фросю к себе в избу: — Заходи, заходи, касатка, погляди на мово квантиранта.

Фрося с порога огляделась, но никого не увидела.

Правда, на кровати под одеялом кто-то шевелился, но маленький, как дитенок. Она приоткрыла угол одеяла и увидела круглый розовый пяточок. Поросенок!

— Вместях спим, — пояснила бабка Анисья, — не так скушно. Да ты глянь, какой он хорошенький. Аж в Сельцо ходила. Тридцать пять рубликов отдала.

— Подождала б, пока моя свинья опоросится, я б тебе даром дала.

— Мне чужого не надобно. Пензия, слава богу, — бабка Анисья обидчиво засморкалась в угол платка. — Ты б лучше мальчика прислала — дровишек мне поколоть.

— Пришлю, пришлю. Как из школы вернется, так и пришлю.

Фрося зашла домой, переоделась и отправилась на работу. Телятник перевели из Лупановки на центральную усадьбу колхоза, так что ходить на работу ей стало далече: версты три туда, версты три обратно. Это если по дороге. Она же частенько сокращала путь — напрямик через речку. На ходу скинув обувь и подобрав одежду, переходила речку вброд и дальше шла лугом по натопанной ею же самой тропинке. Правда, такой путь можно было проделывать только летом, когда вода теплая. А зимой, а весной-осенью?.. Ну и что? Можно и по дороге. Не заметишь, как и пробежишь эти три версты. Еще мало покажется. Потому что дорогой любил Фрося помечтать. Или повспоминать что-нибудь приятное. Как отправилась она, например, вот по этой дороге первый раз в своей жизни. Лет пять-шесть ей тогда было. И захотелось маленькой Фросюшке узнать: а что там за деревней, за травянистым бугром, из-за которого каждое утро встает солнце? Люлька, что ли, там большая качается? И какая она — круглая? Ведь солнышко большое и круглое. Но сколько ни шла Фросюшка, уже и на бугорок поднялась, и до соснового леса дотопала, а солнечной люльки не видать. Откуда же тогда солнце встает, где по ночам прячется? Может, в лесу ночует? Отправилась в лес. Шла она, шла и не заметила, как заблудилась. Деревни уже не видать, а вокруг одни деревья шумят. Кинулась Фросюшка в одну, в другую сторону — нет нигде конца лесу. И показалось ей, что это не деревья вокруг, а стоят какие-то растопыренные чудища, они вот-вот схватят ее своими корявыми руками-ветками. Схватят и сожрут, вон они какие голодные, прямо-таки воют от голода. Сердце у Фросюшки забилося куда-то под мышку, притаилось там, замерло от страха. Но она

все же продолжала идти, пока не услышала мамин голос.

— Заблудишься в лесу, не бойсь, а влезь на самую высокую елку и оглядись.

Фросюшка так и сделала, влезла на елку, глядь, а деревня вот она — рядом. Так и дымит трубами в ясное небо. Скорей долой с елки, бежать домой, но, повернув голову, она вдруг увидела... В самом деле, солнце качалось в люльке — между двумя пригорками, а сверху его прикрывало пушистое облако, как одеяло. «Так вот почему оно так долго не вставало, — подумала Фросюшка, — тепло ему в люльке, пригрелось...»

И тогда она закричала от избытка чувств:

— Эге-гей! Солнце! Люди уже печки топят, а ты спишь! Вставай, солнышко!

Чудное дело: солнце, будто услышало ее, и, устыдившись, поднялось из люльки, и всплыло в небо — красное, круглое. Оно так засияло, рассыпая по земле свои лучи, словно обрадовалось, что Фросюшка его разбудила...

Вспоминая сейчас тот давний поход за солнцем, Фрося рассмеялась тихонько, но и всплакнула: жалко ей стало себя, той, навсегда утерянной, когда каждый день, каждый час, каждую минутку открывалось ее душе что-то новое, неизведанное. Ведь в тот поход за солнцем она не только отыскала солнечную люльку, но и поняла, что мир широк и прекрасен. А за травянистым бугром, за дальним лесом он еще прекрасней. Стоит лишь протянуть руку, и он твой. С этим ощущением она и жила, хоть и не протягивала рук — боялась. Ей казалось, что этот прекрасный мир может выскользнуть из ее рук, раздавить, а то и растоптать, как малую невзрачную букашку. Точь-в-точь, как сейчас она чуть не раздавила ногой гнездо. Пичужка какая-то свила его из сухих травинок, обложила мягким пухом, а чтоб подальше укрыть от людских глаз, соображения не хватило.

Фрося наклонилась над гнездом, разглядывая: сделано наспех, нехозяйственная, видать, мамаша попалась; но ничего, даст бог, и в таком гнезде птенцы выведутся: природа свое возьмет. Она осторожно приподняла гнездо и переложила с дороги подальше в траву. Огляделась, замечая место, чтоб потом детям показать, как птенцы выведутся.

Вспомнив про детей, Фрося вспомнила вдруг и про письмо. Зря она все-таки показала его деду Степочке. Кто-то посмеялся над ней, а она и поверила. Наверное, потому, что уж очень хотелось — поверить. Узнать, а

что это такое, когда люди друг дружку любят. Девчонки, бывало, рассказывали, но Фросюшка лишь усмехалась, не верила. Замуж? Ну, вышла, потому что тетка Степанида припугнула:

— Гляди, девка, откажешь одному, другой не посватается, так и останешься, как я, вековухой.

И Фрося, поплавав с недельку, согласилась выйти замуж за Василия. Первые годы жили вроде бы и ничего — мирно. Трех детей нажили. И если б не эта «блондинка»-разлучница... И что с ним приключилось? Добро б семья была непутевая, а так — весь род трезвый, на Ваське же, самом меньшом, дал вдруг осечку. Запил как полоумный. Какая уж тут любовь, какое уважение? Придет с работы и за печь, в закуток. Храпит как паровоз. Ни поговорить с ним, ни посоветоваться. Но это еще хорошо, как завалится, а то приставать начнет, кочевряжиться... Ох, лучше уж про Ваську не думать, не вспоминать. Чем про Ваську, лучше про теляток вспомнить. Как они там — бедолажные? Ненадежный у нее помощник — скотник Гаврила. Как бы снова чего-нибудь не выкинул. С пьяных глаз.

И точно. Как приговорила. Подходя к телятнику, Фрося еще издали услышала громкий испуганный рев. Сердце у нее так и подпрыгнуло: что случилось? Не помня себя, вбежала она в телятник: бычки, подняв хвосты, метались по загону и ревели как оглашенные, бодали друг дружку. А в воздухе носился едва уловимый запах гари. «Неужто пожар? И где горит?» Фрося кинулась в кормоцех. Скотник Гаврила мирно спал, лохматая же шапка его, с которой он не разлучался ни зимой, ни летом, лежала на бачке и тлела. Тоненькой струйкой выбивался из-под нее дымок, растекался под потолком.

— Гаврила, шапку проспал! — крикнула Фрося и кинула ее в бидон с водой. Вода сразу зашипела, и из бидона повалил густой белый пар.

— Что? Где? Откуда? — ошалело лупал заспанными глазами Гаврила и единственной своей рукой шарил вокруг, искал шапку. Не найдя, он поднес сжатый кулак к носу и чихнул в него три раза.

— Ты что это, мать твою?.. — узнав наконец Фросю, по привычке ругнулся он, но та и слова не дала ему сказать, налетела коршуном:

— Ах ты, вражья твоя душа! Пожар чуть не устроил! Ты что — не знаешь, что телята даже запаха гари боятся?..

— Где моя шапка? — не слушая ее, взывал Гаврила.
— Да вот же она. Чуть совсем не сгорела.

Гаврила выкрутил шапку, мокрую нахлобучил ее на голову.

— А я такой хороший сон видел, — сказал он и сладко потянулся. — Будто меня в космос запустили.

— Вот я скажу председателю! Он тебя запустит... Подальше космоса. Иди выгоняй телят, проветривай помещение!

Выпущенные на волю телята взбрыкивали, резвились. Но две телочки так и остались лежать у прохода, придавленные остальными телятами. Вдвоем с Гаврилой они перенесли телочек в отгороженный закуток, положили на мягкую солому, и Фрося принялась звонить ветврачу.

Телефон, как назло, не работал.

— Видишь, что твоя дурацкая шапка наделала! — ругала она Гаврилу. — На кой она тебе, весна ж на дворе...

— Весна не весна, а голову всегда надо держать в тепле, — резонно заявил Гаврила, — потому как голова есть самый важный орган.

— Это у тебя-то самый важный? У тебя самый важный — горло!

Но Гаврила даже не обиделся на такое ее замечание.

— Молчи, баба, не суетись, — ответил он спокойно и поднял вверх свой прокуренный до черноты палец. — Кажись, начальство едет.

На «газике» подкатило сразу двое — председатель колхоза Иван Петрович и зоотехник Вилен Иванович.

— Что тут у вас случилось? — строго спросил зоотехник.

— Да ничего особенного, все в порядке, — Фрося отозвала его в сторонку, подальше от председателя.

Председатель был молодой, только что избранный из рекомендованных районом, и Фрося не хотела жаловаться ему на Гаврилу. К тому же она помнила, как новый руководитель еще на первом собрании заявил:

— Разгильдяев и пьяниц не потерплю! Буду рублем наказывать...

Вначале колхозники посмеивались: дескать, новая метла всегда чисто метет. Каждый новый со строгости начинает, а потом, глядишь, и обломается... И пословицу переиначили: «Новая метла чисто метет, да скоро изнашивается...»

Но председатель словно бы и не замечал косо бросаемых на него взглядов и продолжал упорно гнуть линию на укрепление дисциплины. Сам он в рот не брал спиртного, поэтому особо яростно относился к тем, кто закладывал за воротник. Те, в свою очередь, пустили слух, что председатель хоть и молодой, но хворый. Раз не пьет, значит, нельзя ему пить по болезни. А хворый в председателях долго не задерживается: эта работа для здоровых. Да и те не выдерживают. Вон в соседнем колхозе «Маяк». Считай, два года живут сами по себе, без председателя. Старый помер, а нового никак не сагитируют. Который бы и пошел — без института. А теперь, сказывают, такой закон: в председатели выбирают только с высшим образованием.

Фрося исподтишка поглядывала на нового председателя и жалела его: «Ишь, какой симпатичный, а не нашел себе работу полегче. Это ж каторга, а не работа... За всех отвечай, всем угоди. Бедный, бедный...» Вилену Ивановичу, зоотехнику, она шепнула про Гаврилину шапку и показала покалеченных телочек. Потом донимала начальство разговорами о рационе, о привесах, о травяной муке — возмущалась, когда же, мол, будут столько выдавать, чтоб телятам хватало вдоволь...

— Все это мы наладим, — пообещал председатель, — а скажите-ка вы мне лучше, почему так упорствуете с переездом в новый поселок?

— Да я не упорствую, — потупилась Фрося, — я б переехала... Да вот печка!..

— При чем тут печка?

— При том, что нельзя ее рушить. Мама умирала, наказ дала. Печка-то у меня особенная — на колесе!

— На каком колесе?

— От телеги колесо. И печка во все стороны вертится.

— Зачем? — удивился председатель.

— Просто так — для забавы. Для памяти. Вот я и обещала — не рушить печку. Нигде в целом свете нет больше такой...

— Так уж и нигде? — усомнился председатель.

— Нигде! — подтвердил и вернувшийся от телят Вилен Иванович. — Таковую печку только в Москву на выставку!

— А вы загляните как-нибудь в нашу Лупановку — сами увидите, — предложила Фрося.

И председатель согласился:

— Хорошо, заскочу как-нибудь.

На прощанье Вилен Иванович пообещал Фросе прислать ветеринара, и машина укатила.

Не успела она отъехать, прибежала, запыхавшись, Глаша. Работать она должна была во вторую смену, но увидела из окна своей избы, что председательский «газик» завернул на ферму, и примчалась:

— Чего он приезжал?

— Да так просто, наведаться. А ты чего всполошилась?

— Мало ли! Больно строг наш хозяин. Всюду свой нос сует. А я вчера не успела журнал привесов заполнить. Не смотрел журнал?

— Не смотрел. На слово поверил. Так что иди досыпай.

Глаша вздохнула:

— Какое — досыпать? Думала, в новую квартиру вселюсь, и делать будет нечего. А тут навалилось. Ведь в новую квартиру надо и мебель новую, а где ее взять? В нашем сельмаге одни стулья на трех ножках, а в город ехать некогда. Ты-то когда думаешь переезжать?

Фрося в сердцах двинула ведром так, что оно покатилося по дощатому настилу и шмякнулось в неубранную кучу навоза.

— Сговорились вы все, что ли? Не вашим головам болеть, когда я перееду!

— Да ты что, подруг? — с изумлением глянула на нее Глаша. — Чем я тебя обидела?

— Ладно, иди мебель покупай, а мне не мешай работать!

До самого обеда Фрося не находила себе места от дум. Руки привычно делали свое дело: кормили, поили, чистили теляток, выгоняли их в поле, встречали с поля, снова поили, кормили, а в голове ворочалось одно и то же: неужто и вправду придется переезжать? А как же изба, хозяйство, корова?

И главное — печка.

Мама умирала, наказывала:

— Избу надумаешь перестраивать — перестраивай, а печку не трожь. Никто на всем белом свете не сделает такую. Потому что не руками он ее делал, а душой.

— Кто, мама?

— Тот, кто меня любил.

— Отец?

— Нет, не отец. — Мать прикрыла глаза и замолчала и так лежала, не шевелясь, и Фрося испуганно подумала:

не померла ли? Но хоть глаза у матери и были закрыты, на губах тихонько тлела улыбка. Когда же она открыла глаза, то Фрося увидела, что они синие-синие, будто кто капнул в них слезинку весеннего неба. — И я тоже его любила.

— А где же он? — спросила Фрося. — Ты ведь никогда ничего про него не рассказывала.

— Никогда. Потому что нет его. «Жить, говорит, без тебя не могу, но и видеть, как ты мучаешься, тоже не могу. Лучше уж с глаз долой». Уехал. Печку вот на добрую память оставил.

— И ты не жалеешь? — спросила Фрося. — Ну, что вместе с ним не уехала? И вообще...

— Жалею, дочунь, ох, как жалею. А все ведь из-за вас. Четверо детей, муж хворый. Уезжай, говорю, не рви ты мою душеньку. Так и уехал.

— А кто он был? — допытывалась Фрося.

— Только с фронта вернулся. Раненый, но здоровый. После войны как считали? Руки-ноги есть, значит, здоровый. И что с ним случилось? Кругом девок полно, одна краше другой, а он ко мне. «Люба ты мне, говорит, и все тут. Сколько земель прошел, сколько людей перевидал, одна ты в душу влезла — не вылазишь». Вот и рассуди: судьба. Бывало, всю ноченьку под рябиной прождет, а я и на крыльцо не выйду. Не обижался, нет, все равно любил. А потом уж, когда я его вконец измучила: «Давай, говорит, хоть печку для тебя сложу. На память. Каких никто не складывал». Колесо откуда-то приволок и все ходил вокруг нее, все приглядывался...

Мать так и умерла, рассказывая о том, кто сложил ей печь, а имени не назвала. «Зачем? На том свете, если и увидимся, может, и не узнаем друг дружку. Хотя нет — узнаем. Сердцем почуем».

И вот теперь Фросе предстояло разрушить эту печку. Дорогую материнскую память. Как же она сможет жить после этого? Как детям в глаза будет смотреть?

Сдав напарнице смену и возвращаясь домой, Фрося забежала на кладбище. Одинокó возвышалось оно на краю деревни, одинокó и заброшенно. «Ну, уеду и я — последняя, а им-то каково будет здесь лежать, всеми покинутыми?»

Одна лишь могилка — Крыльцовых — и была ухоженной: посыпанная песочком, с недавно повешенными венками, остальные — заглохшие. Даже на радуницу людей было мало, не в моде теперь помнить родителей.

Фрося поправила веточки пушистой вербы, что стояли на могиле матери в поллитровой банке, и, припав головой к сырой, песчаной земле, тихонько заголосила: «Ты, рódная моя мамушка, горькая моя ягодка. Прожила ты жизнь тяжелую, бедным-бедную. Ты встань, встань, моя родная, да погляди, как сейчас мы живем. Все-то у нас есть, всего-то вволюшку, только нет одного счастья...»

Она передохнула, сглотнула слезы и продолжила: «А как говорила ты мне, мамушка, наказывала: не то-ропись, дочунь, замуж идти, оглянись вокруг да пора-дуйся. Доля девичья что маков цвет, доля женская что дубовый крест. Не послушалась я тебя, не раздумалась, вот и маюсь теперь, горемычная. Ты встань, встань, моя рódная, да помоги мне советом-разумом...»

Поголосив и словно бы успокоившись, Фрося оторва-лась от могилки и глянула вверх. На макушках клад-бищенских кленов и лип грачи вили гнезда, суетились, кричали, были заняты хлопотами. Она тут же вспомни-ла, что и ее дома ждут дела, так что мать пусть не оби-дится. Попрощалась с могилкой и пошла. Лишь по до-роге одумалась, что не поголосила по отце. Правда, от-ца-то она, считай, и не помнила. Умер он, когда Фросе, самой меньшей, исполнилось три годика. По рассказам же матери она представляла его тихим, молчаливым, за-битым хворью. Из-за хвори и на фронт не взяли. Так и пришлось ему всю войну в колхозе с бабами горевать. Сперва председателем, потом, когда поздоровей и по-башковитей с фронта вернулись, колхозным бригадиром. Непосильная эта работа и в могилу его свела раньше времени. Осталась мать с четверыми на руках, но сдю-жила, всех, как говорится, в свет вывела. Теперь вон какие орлы: старший в Ленинграде инженером на заво-де работает, средний в Донбассе на шахтах начальни-ком. Светлана на агронома выучилась. И только она, Фроська... Не могла бросить постаревшую мать, хоть и мечтала: после школы пойдет в педагогический. Очень уж хотелось ей стать учительницей. Не довелось. Так и осталась на всю жизнь колхозницей.

Дети уже были дома, старшие уроки готовили. Вер-нее, готовила одна Юля, Гаврош же, как всегда, зани-мался плансрами. Настоящее имя его было Костя, но отцу это имя не нравилось, и он окрестил его Гаврошем. Как выпьет, так: «Гаврошик, сынок мой, наследничек». Постепенно и сам Костя привык к этому имени. Гаврош

так Гаврош, не мешали б только заниматься любимым делом — планерами.

— Гаврош, ты уроки сделал? — лишь переступив порог, спросила Фрося, хотя об этом можно было и не спрашивать, ведь в ответ всегда звучало одно и то же: «Давно уже!» Хотя часто случалось, что, придя из школы, он даже не открывал учебников.

— Это только недоразвитые учат уроки. Я и так все знаю.

И странное дело, никогда не уча уроков, Гаврош действительно многое знал, во всяком случае за все три года его учебы Фросю ни разу не вызывали в школу и не ругали за неуспеваемость сына. А за Юлю вызывали, хоть она и тянулась изо всех силенок. Просто мало ей оставалось времени для уроков — считай, все домашнее хозяйство лежало на ней: и в доме прибраться, и корову выгнать-пригнать, и подоить, когда матери дома не бывает, да и за тем же Гаврошем присмотреть. Не говоря уже про Оксанку. Вот кто больше всех тревожил Фросю — самая меньшая. И в кого такая уродилась? До трех лет молчком молчала. К кому только Фрося не обращалась: и к врачам, и к бабкам. Не говорит, и все тут, хоть по глазам видать — все понимает. Как будто нарочно зарок себе дала — молчать. А тут молния. Да такая страшная! Как полыхнет во все небо! Оксанка как раз на окне сидела, в куклы играла. Со страху с окна свалилась, попкой об пол ударилась. Но не заплакала. Встала, попку почесала и говорит: «Сейте нынче побольше овсов — урожай будет хороший».

Фрося и рот раскрыла, ушам своим не поверила.

— Это ж кто сказал? Ты, Юлька?

— Нет, мам, не я.

— Гаврош, ты?

— Не-а.

— Неужто Оксанка? Заговорила! Ах ты, моя ясынька! Ах ты, моя разумница! Заговорила!

Но Оксанка, сказав про овсы, опять замолчала — на целый год. Фрося и так к ней и эдак — молчит. И лишь недавно, когда Василий ввалился в избу в обнимку с «блондинкой», Оксанка посмотрела на него и сказала:

— Смотри, папань, допьешься до чертиков.

— До каких чертиков? — удивился тот.

— До зелененьких.

— А ты откуда знаешь, что они зелененькие? — еще больше удивился отец.

— Знаю, — отрезала Оксанка и снова замолчала.

После этого Фрося стала прямо-таки бояться своей меньшей: что она еще скажет? И когда?

В доме все было чисто убрано — Юленька, как всегда, постаралась.

— Мам, садись есть, — пригласила она, — я овсяный кисель сварила.

Фрося оглядела избу, метнула взгляд на печку.

— Отец где?

Гаврош только рукой махнул, дескать, где ему быть — в сельмаге, а Юля разъяснение сделала:

— Гераська Глумной приезжал, вместе на мотоцикле уехали.

— Нашел дружка...

Глумной было прозвищем, а не фамилией, потому что и вправду был он глумным: носился на своем мотоцикле как заведенный и всегда под хмельком. Брат у него работал в районном центре милиционером, вот потому этот Глумной никого и не боялся, летал напролом. Все шофера, кто знал его, сами отворачивали, а кто не знал... Три раза попадал Гераська в аварии, но оставался живым.

— Я везучий, даже не ранетый, — хвастался Глумной и отправлялся покупать новый мотоцикл, — все равно снова живем!

Гераська холостяковал, хотя был уже в годах, а свою холостую жизнь объяснял тем, что долгое время работал на птицефабрике.

— Бывало, хоть как хочешь вымоешься, три раза в бане пропаришься, а как к девушке подойдешь, она и нос в сторону. куриным пометом пахнет! Одеколону целый флакон на себя вылью, иду на свиданку, как сад в цвету, а девки все равно врассыпную.

Вот с этим-то Глумным и завел дружбу Василий.

Юля, заметив, что мать нахмурилась, подошла к ней, обняла, стала щекотать за ухом:

— Ты чего, мам, такая невеселая?

— Да вот, дети, хочу посоветоваться с вами, — сказала Фрося, — сами видите, какой у вас отец — ни поговорить с ним, не раздуматься. Так что давайте без него решать. Хотите вы переезжать на центральную усадьбу или же нет?

— Я не хочу, — тут же отозвался Гаврош, — мне и тут хорошо.

— А ты, дочунь?

Та не ответила, но Фрося уловила радостный блеск в ее глазах. Правда, Юля тут же и притушила этот блеск.

— Как хочешь ты, мам. А ты, я знаю, не хочешь.

Оксанка лежала на печке, держа в руках книжку, хотя никто так и не знал: умеет она читать или нет.

— А ты чего молчишь, разумница? — крикнула на нее Фрося. — Присоветовала бы матери!

Оксанка лишь засмеялась в ответ, но так горько, будто заплакала.

— Вот и поговорили... — Фрося посмотрела за окно на крутой изгиб реки, вздохнула: — А как соловьи поют! В поселке уж не услышишь!

— Зато там два раза в неделю кино и танцы, — возразила Юля.

— Ну, тебе еще рано по танцам бегать! Невеста без места! — в сердцах прикрикнула на нее Фрося и пошла загонять на ночь корову.

Корова комолая, потому и звать ее Комелюшкой. Когда деревня была еще деревней, в поле выгоняли коров сорок, но и тогда Комелюшка почему-то поровила отстать от стада. Поэтому и теперь она не скучала. Барыней паслась по заливным приречным лугам. Когда же наступала пора дойки, она сама возвращалась домой. Если ее в это время никто не встречал, она принималась жалостливо и тоскливо мычать.

— Комелюшка ты моя, — погладила ее по гладко лоснящейся спине Фрося. — Нагулялась? А молочка много ли принесла?

И заплакала.

Комелюшка уткнулась мордой в плечо хозяйки, тоже затихла.

Так бы они и стояли и плакали обе, если б не пес Лохмач: кинулся в ноги Фросе, заскулил, как кутенок.

Садясь под корову, Фрося крикнула в окно сыну:

— Гаврош, собаку накорми!

— Я ей кость давал!

— Кость — разве еда? Супу налей да хлебца покроши.

— Ладно, только планер пущу.

— Все на свете забыл из-за своих планеров. В летчики все равно не пущу, так и знай.

— Я в летчики и не собираюсь. В конструкторы пойду.

— Ой, батюшки светы, что, стервенок, выдумал. Я тебе покажу конструкторы! Я тебе покажу!

Но Гаврош уже не слышал — умчался на горушку с планером под мышкой.

На улице за вечерело, и тихо стало кругом, лишь капал в подвешенную банку березовый сок: плюм, плюм, плюм, и снова с промежутком — плюм.

«А не больно ей, березке-то? — подумала Фрося, мѡя на крыльце ноги. — Ведь не скажет...»

Соловьев тоже не было слышно. Они на рассвете поют, когда напьются росы с листа. Прочистят горлышко и запоют.

Уже ложась спать, Фрося вспомнила, что не зашла к бабке Анисье.

— Юля, ты к Анисье не навевывалась?

— Я навевывался, — отозвался от телевизора Гаврош, — дров наколол.

— Молодец, сынок. Прости, что я тебя ругала.

Заснула она быстро и ничего во сне не виела, а может, забыла. Прокричал петух во дворе — вот и вставать пора, а ей показалось, она только что легла.

Открыла глаза и сразу же виела печь. Чело печки как раз смотрело на солнышко, так что и поворачивать ее было незачем — все и так виать. Но Фрося все же не удержалась и покрутила ручку. Печка тихонько заскрипела и поехала влево.

Каждый раз, когда она это проделывала, Фросю охватывало какое-то чудное чувство: будто она это вовсе не она, а чумаая Золушка, у которой все еще впереди: и хрустальный башмачок, и сказочный принц. Это ничего, что пока приходится ходить в кирзовых сапогах, да и принц спит на печке пьяный. Пока... Что будет дальше, она не думала, а просто верила, что будет что-то, и от этого сладостно становилось на душе, потому и складывалась песня будто сама собой.

Сронила колечко со правой руки,
Забилось сердечко о милом дружке...

— Это кто мне спать мешает? — донеслось с печки. — Нашла забаву — печку поворачивать. А то как поверну!

— А, явился не запылился. Ты ж уходил перспективную жизнь искать, не нашел? — спросила Фрося.

— Не твое дело!

Не хотелось Фросе ссориться с самого утра, и она попросила:

— Вась, сходи на криницу, воды осталось на донышке.

— Ты не хочешь, чтоб вода сама в дом шла, вот и то-пай! А мне спать не мешай!

Фрося беззлобно ругнулась на мужа, водворила печь на прежнее место, стала накладывать в нее дрова. Подтопку она всегда клала в печь на ночь, а вчера забыла, и потому дрова долго не разгорались. Уже и картошки начистила, натерла ее на драники, очистки, чтоб не пропадали, в чугуны для поросенка опрокинула, а печка все еще дымит, не разгорается. Тогда Фрося скомкала вчерашние газеты — нечитанные, а может, что-нибудь и интересное было? — подтолкнула их под засмуглившиеся березовые поленья — они так и затрещали, разом схватившись огнем. Теперь только успевай блины на сковородку наливать — вмиг поджарятся.

Сытный запах разлился по избе, вот-вот Гаврош вскочит, поведет носом: «Мамк, чем так вкусно пахнет?» Но пока он спал, — видать, запах драников не проник еще за перегородку. Зато опять заворочался на печи Василий.

— Ух, жарко!

— Ты что, на работу сегодня не думаешь идти? — спросила Фрося.

— Успею, все равно трактор поломанный.

Все-таки он сполз с печи — небритый, нечесаный. Вышел во двор да и застрял там. Фрося про него и забыла. Хорошо, хоть про половник не вспомнил, а там шут с ним, пусть живет как знает.

Весело потрескивал в печи огонь, захлестывал аж на загнетку.

Сронила колечко со правой руки...

Она смотрела в огонь, видела шевелящиеся тени на челе печки, и чудилось ей, что кто-то зовет ее, манит руками.

Ах, где ты, желанный, любимый навек?

Фрося думала, что поет тихо, внутри себя, а нет — распевает на всю избу, даже пес на крыльце услышал и давай подвывать. Помолчит немного, послушает, а потом и вззоет, да так тоненько, будто подголосок ведет.

Под песню так и напекла Фрося целую горку драников, залила их сметаной, пристроила на загнетку — потомить маленько в легком пару, сама отправилась доить корову, крикнув детишкам:

— Юля, Оксана, Гаврош, подъем, милые!

Василий стоял у березы и, запрокинув голову, не

отрываясь от горлача, пил березовый сок. Сок тек по подбородку, по шее, по груди.

— Жгет нутро-то? погоди, и совсем пережгет.

— А ты не каркай. И без тебя каркальщиков хватает. Ты лучше приготовь чего, председатель обещался заглянуть.

— Так это ты ему нажалился?

— Ну я! Не слушаешь мужика, так хоть председателя послушаешь. Он норов твой укоротит. А то умней всех хочешь жить... Не выйдет. Не позволим!

— Ктой-то мне не позволит?

— Мы — колхоз!

Сегодня Фросе было во вторую смену, поэтому она и не торопилась. Выгнав корову пастись, спустилась к реке — умыться. Чуть повыше деревни стояла на реке когда-то мельница, и плотина сдавливала воду огромными белыми валунами. Вырвавшись из-под валунов, река разливалась широким плесом, в середине которого лежала песчаная коса. Из-за весеннего паводка коса еще не была видна, лишь просвечивала сквозь воду. С берега прямо на косу упал подточенный половодьем дуб, и образовался мосток. Фрося села на этот мосток, опустив ноги в бегущую воду. Ногам стало щекотно, и она тихонечко засмеялась, а услышав этот смех, защебетали ласточки-береговушки. Они каждую весну прилетали сюда, так что противоположный берег был весь проточен круглыми дырочками гнезд. Помнится, еще в детстве Фросе все хотелось поймать в этом гнезде хоть одного птенчика, но рука уходила в дырочку до плеча, а до гнезда все равно не доставала. Ласточки тоже не глупые — поглубже запрятывают своих птенцов. Мало ли на них охотников?

Низко-низко пролетел самолет, видать, удобрения по полям разбрасывал и спугнул ласточек. Забились в норки, щебетать перестали.

Фрося подождала, подождала — может, еще защебечут, но ласточки испуганно молчали, и она отправилась домой. Проводив в школу ребятишек, накрыла стол праздничной клеенкой — с нарисованными заморскими фруктами, — приговорила все, чтоб как следует встретить председателя. Но он в тот день так и не приехал.

«Некогда ему, вишь ты, — думала Фрося, — куда до наших забот, когда сев на носу, а площади с каждым годом растут и растут. Куда расти? Скоро и леса все распашут, не то что болота...»

Идти на работу Фросе не хотелось, и она догадалась почему. Опять предстояла сдача бычков. Но когда она пришла на ферму, то не обнаружила всегдашней колготни. Пастух еще не пригонял телят с поля, а зоотехник Вилен Иванович молча чертил в красном уголке какой-то график. Фрося заглянула поверх его плеча и прочла: «Кривая прихода в охоту телки по временам года».

Не удержалась, прыснула Вилену Ивановичу прямо в ухо:

— Кормов не хватает, телок на охоту думаете отправлять?

— Эх ты, — снисходительно протянул зоотехник, — а еще передовой считаешься. Не знаешь, какая охота бывает у телок?

— Какая?

И такое недоумение было у нее в глазах, что Вилен Иванович расхохотался.

— У тебя разве не бывает? Иль троих детей без охоты нажила?

— Тю ты, — махнула на него рукой Фрося, — бесстыжий. И график твой бесстыжий!

— Никакой он не бесстыжий, — ответил зоотехник и повесил график на самом видном месте, — учи вас, не учей...

Будто сделав важное дело, он уверенной походкой прошелся по красному уголку и вдруг вспомнил:

— А сдавать бычков кто за нас будет?

На этот раз сдавали бычков не государству, а в соседний совхоз — на откорм.

— Что мы сами не в состоянии откормить? — сокрушалась Фрося. — Сдавать таких недоросточков...

— Газеты надо читать, — упрекнул ее Вилен Иванович. — Согласно новому постановлению...

— Какому постановлению?

— ...О создании откормочных хозяйств. Вот и собирают теперь с колхозов...

Жалко им было сдавать недокормленных бычков. Только-только стали в силу входить, холки себе наедать. Одно утешало — что не сразу под нож, а на откорм везут в соседний совхоз. Раньше ведь почище того бывало — когда план горел, трехмесячных телятишек на мясокомбинат возили. Или когда кормов не хватало... Слезьми умывались телятницы, а что было делать — сдавали. Случалось — не только бычков, а и телочек. Никогда не забудет Фрося свою Звездочку, ее сиротское

мычание до сих пор в ушах стоит. И до чего ж умная была! Как увидела, что других теляток грузят на машины, убежала, забила под солому в самый дальний загон — и молчок. Хватились, нет одного телка, недочет. Искали, искали, нашли. Скотник ее прутиком гонит, а Звездочка как увидела Фросю — и к ней. Уткнулась мордочкой в фартук и мычит, да так жалобно, будто просит: «Пожалейте!..» Не пожалели. Взволокли на машину по скользкому, загаженному помосту и кузов захлопнули.

Долго стояла Фрося, глядя вслед уехавшей машине, скорбно уронив вдоль тела бессильные руки, а в ушах все стоял жалобный мык Звездочки.

На этот раз тоже бычков не хватило, пришлось отдать трех телочек. Фрося и с телятника ушла: пусть Глаша отдает кого хочет, кого не жалко.

Подождав немного, Фрося вернулась в хлев, смотрит: кого нету? Мамушки мои, самых любимых: Сиреньки, Белонки и Неугомонки. Кинулась к зоотехнику — отбивать, а тут возле машины Оксану увидела. Стоит, наступилась, глазенками так и стреляет по сторонам, но молчит, будто в рот воды набрала.

— Ты чего это сюда заявилась? Дома мало гульни? Я кому сказала не отлучаться от дома!

Подняла Фрося хворостину, замахнулась на Оксанку, а ударить не ударила: рука не поднялась на бедолажную. А та взглянула на нее, да так зло... Но ничего не сказала, зашагала прочь. Только отметила Фрося: походка у нее какая-то странная — ковыляющая. Не детская, а старушечья.

И Глафира подтвердила:

— Не жилец она на белом свете. Уж больно умна. Не по возрасту.

Рассердилась Фрося на Глафиру, три дня не разговаривала. А та уже забыла про Оксанку — невдомек ей, в чем дело.

— Подруг, ты чего? Какая муха укусила? Аль снова с мужиком поскандалила?

После уборки навоза Глафира села передохнуть, платок на коленях разгладила.

— То ли дело одной жить, — похвасталась она, — когда ушла, когда пришла, — никто не упрекнет, никто в глаза не тыкнет. Гоня ты его в шею, растудыктного! Теперь не то, что бывалыча: дрова не нужны, косить тоже не для кого, так что без мужика бабе сейчас жить мож-

но. Живи и песни пой. А хочешь — плачь. Никто тебе не указчик.

— А как же дети? — спросила Фрося. — Без отца как воспитывать?

— Ты думаешь — лучше, чтоб они все видели? Кошка с собакой и то лучше живут, чем вы с Васькой.

— Если б сам ушел... Не могу грех на душу взять. Еще застрелится.

— Кто? Васька? Гляди, один такой застрелился. А ты мучайся...

Честно признаться, не так уж она и мучилась. Некогда было. Если не на ферме, то дома работы невпроорот. Огород засеять, картошку сажать. Хорошо хоть дети не лодыри. Юля гряды загребла. Гаврош огурцы посеял.

За огурцы Фрося ему внушение сделала:

— Огурцы надо сеять на Пахома.

— А когда твой Пахом? — спросила Юля.

— Не знаю. Кажется, в пятницу.

— Вот видишь, мать, — сказал Гаврош, — сама не знаешь, а возникаешь.

— Что ты сказал? — ужаснулась Фрося. — Возникаю?

— Все так говорят. Чего особенного?

— Пусть говорят, а ты не смей! Ишь, придумали: «Не возникай». Я тебе возникну!

— Ага, к самой прицепилось! — смеялся Гаврош.

Дети вели себя с ней как с ровней, никакого уважения, а то еще и подсмеивались — свысока:

— Ничего ты у нас, мамка, не понимаешь. Отсталый ты экземпляр.

Может, и вправду отстала она от жизни! Вон как мчится-то жизнь, дует на всех парусах. Разве за ней утонишься?

...Родилась Фрося в войну. Она-то и наложила отпечаток на всю жизнь. Правда, ни свиста пуль, ни разрывов бомб Фрося не помнила — соплива еще была, чтоб понимать, что в мире деется, но как только стала входить в сознание, заметила: худо кругом, бедно, нище. У взрослых один разговор — о минувшей войне. Тот погиб, тот пропал без вести, остались дети сиротами. Кончилась война, но еще долгие годы давала о себе знать. Ушли соседские мальчишки — Ванька с Петькой — в лес по грибы, на мину напоролась: Ваньку в клочья разнесло, а Петька еще домой прибежал, чтоб мать успокоить. Успокоил и умер тихенько...

Про еду уж и говорить нечего. Помнится, вынесет мать ее на клеверище: «Ешь, Фросюшка, ешь». Она и рвет красные цветики, рвет да себе в рот кидает, пососет-пососет — сладенько.

Хлеб, если случался, ложками ели: картошка да мякина, не печется в печи, а варится. Ой, даже вспомнить — и то горько во рту становится. А сейчас? Всего в достатке: и картошки, и капусты, и мясо по хлеву бегаёт. Одно за другое заходит. Хлеб в магазине какой хошь, пряники. А в народе все равно сумленье. Может, оттого, что красоту побросали, в города да поселки переехали? А там какая красота? Камни голые. Вот и возвращались бы назад, вон простору-то сколько. Есть к чему руки приложить. Может быть, тогда и не пришлось бы ликвидировать Лупановку. А сколько таких Лупановок. Глянешь, душа замирает: сады стоят неубранные, брошенные. Яблоки, груши, сливы — ветки ломаются, собирать некому. А в магазинах яблоки — рубль за килограмм. Вот и пойми ее, жизнь. Карусель, да и только.

Фрося возвращалась с работы, шла бывшей своей деревней и чуть не плакала: такую-то красоту бросили. Бросили и сбежали. А как не сбежишь? Школу закрыли, магазин тоже, баню и ту разорили. Хорошо, что у них своя банька есть. Василий сам срубил, когда еще человеком был, не допивался до чертиков.

На пути встретился Фросе колодец. Чей же это? Оглядела подворье — узнала: кривой Степаниды. Следила, бывало, та за колодцем, по весне талую воду до донышка вычерпывала, накрывала сверху дощатым настилом, и потому вода в колодце была чистая, как небо над головой. А теперь глянула Фрося в колодец, сама себя не увидела — воду сплошь затянуло ряской, а по деревянному срубу — грибы поганые.

Фрося села на угол сруба, нагнулась, разогнала рукой ряску — сверкнул в воде кусочек голубого неба, а когда вода успокоилась, то в небе этом она увидела и себя, да так отчетливо, как в зеркале. Боже, боже, на кого она стала похожей... Только и осталось, что один голос. Волосы и те поредели и уже не вьются тугой волной, а лежат гладко, словно прибитые дождем. Про глаза и толковать нечего. Бывало, глянешь в зеркало, синие бесенята так и пляшут в них, так и прыгают. Потемнели глаза, потухли. Недолог он — бабий век. Чуть за тридцать перевалило, подавайся в старухи. А ведь не хочется. Ой, как не хочется! Душа все еще рвется куда-

то... Взмахнуть б вот так крыльями и улететь невесть куда. Белый свет повидать. Какой он? И что в этом свете деется? Как люди живут?

Вот так частенько и бывает с Фросей: размечтается, забудет и куда идет. А шла она к деду Степочке, бутылку подсолнечного масла несла из магазина. Хорошо на нем свежую рыбу жарить. Дед Степочка небось уж наловил. Вот чудно: все рыбаки без рыбы, а он секрет, что ли, какой знает, рыба к нему прямо сама на крючок цепляется.

Дед Степочка и всамделе, сидя на крыльце, чистил рыбу, вокруг него две кошки кружили, рыбы потроха собирали.

— С добрым уловом, дед Степочка.

— Забирай половину.

— Спасибо, не откажусь.

Она помогла деду дочистить рыбу: больше было плотвы, но попадались и щурята.

— А не скучно тебе, дедусь, одному жить?

— Так разве ж я один? Ты вот пришла. Да и еще вон ктой-то тарахтит.

Он приложил ладонь к уху, прислушался. А это председатель. Затормозил возле самого крыльца, молодцом спрыгнул с подножки «газика»:

— А я и не знал, что в Лупановке, кроме Ефросиньи Сидоровны, еще есть жители. Ты откуда, дед, взялся?

Прокопченным от табака пальцем дед Степочка указал на небо.

— Оттуда. На парашюте спустился.

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно и отвечаю. Родился я тут. Отсюда на войну пошел. А после войны... уехал. Считаю, тридцать лет дома не был. А к старости потянуло. На самолете из самой Сибири прилетел. Помирать на родной земле.

— Ну, это ты, бать, зря... Жить не все равно где, а помирать...

— Не скажи. Поживешь с мое, узнаешь.

— Ну, а если мы тебе в поселке комнатенку дадим?

— Разве я тут мешаю? — спросил дед Степочка.

— Понимаешь, бать, — председатель как бы приглашал собеседника поразмыслить вместе с ним, — посевные площади колхоз с каждым годом увеличивает, а где пахать-сеять прикажешь? Земля занята.

— Вон сколько болот кругом.

— Болота осушать надо, а тут земля добрая, унавоженная. Сады, повырубим, и сей.

— А не жалко? — спросил дед Степочка.

— Чего?

— Сады вырубать. Сколь в них труда человеческого.

— Жалко, конечно, а что делать? По яблокам у нас плана нет, по зерну.

— И зерна тут не будет, — сказал дед Степочка.

— Как это не будет, почему?

— Деревья изведете, речка высохнет. Вместо зерна песок будете собирать. Засуха начнется.

— Ну что ты, дед! От дождей не знаем, куда деваться, а ты — засуха...

Фрося к их разговору не прислушивалась. Она раздумывала, чем бы угостить председателя. Прежнего, бывало, и думать нечего: стакан поднеси, огурец на закуску и — доволен. А этот не пьет, не курит, с какого боку к нему пристроиться? Ладно, решила, чаем угощу. С пышками. Как раз сегодня напекла. Авось не побрезгует.

От пышек Иван Петрович и вправду не отказался. Ел, нахваливал:

— Ишь, какие ноздрястые!

— Это у меня печка такие печет.

— Ну-ка, ну-ка, — оживился председатель, — покажите свою чудо-печку.

— Да вот же она, перед вами.

По челу печки петухи бегали. Один петух даже яйцо в клюве держал, другой кур корогодил. А собака из конуры высунулась и лаяла на озорников.

Иван Петрович заинтересовался:

— Это ж кто у вас занимается художеством?

— Я, — потупилась Фрося. — Детишкам для забавы.

— Красиво.

— Да разве в этом дело?

Фрося покрутила ручку, торчащую из-под загнетки, печка, слегка качнувшись, двинулась вправо. Потом влево. Потом вокруг себя. Правда, внутри у нее что-то скрипело, повизгивало, но она все равно упрямо ворочалась, как старушка, что не хотела стареть, выдавая себя за молодайку. А когда повернулась задом, Иван Петрович даже ахнул от изумления: здесь плескалось море, и плыли по нему пароходы.

— Да, экспонат, — восхитился председатель, — хоть сейчас в музей.

— Ну вот, а вы переезжать...

Вечером, придя с работы, Василий приступил к допросу:

— Что председатель сказал, непутевая?

— Да ничего такого и не сказал. Попил чаю и уехал.

— Ага, значит, и его уговорила. Ну, добро...

И, выхватив из-под кровати чемодан, он начал укладывать свои вещи.

— Дети, вы со мной или со своей непутевой матерью?

Гаврош испуганно смотрел на него, не зная, куда деваться, а Юля поднялась из-за стола и демонстративно стала рядом с матерью. Тогда и Гаврош присоединился к ним.

— А ты, Оксанк? — позвал Василий.

Оксана в это время на печке сидела. В куклы играла. Услышав голос отца, она вздрогнула и заплакала. Василий погладил ее по голове.

— Ничего, вспомните меня, да уж поздно будет.

У крыльца его уже поджидал Гераська Глумной.

— Два сапога — пара, — только и сказала Фрося мужу на прощанье, когда тот устроился позади Гераськи. Чемодан с барахлом они приладили в люльке.

— Теперь поминай как звали! — крикнул Гераська. — Наш адрес — Советский Союз!

— Ладно, мам, — по-взрослому сказал Гаврош, — проживем как-нибудь.

А Юля добавила:

— Чем такой отец, лучше уж никакого.

Фрося плакала. Справлялась по хозяйству, а слезы так и текли из глаз, весь белый свет застили. Жалела она Василия. Ведь не был же он таким раньше. Когда в женихах ходил, в рот не брал. И на свадьбе сидел как положено — рюмка вверх донышком. А уж как Юлюшка родилась, совсем домашним стал — с утра до ночи с дитем возился. И пеленки сменит, и спать уложит, а как проснется, на ферму принесет, чтоб жена грудью дите покормила. Чтоб на сторону куда или в компанию — ни-ни. И вдруг лет пять назад... Как подменили мужика. С Гераськой Глумным связался. Запил напропалую. Пробовала ругать — на ночь перестал являться.

Фрося поначалу скрывала от детей, что отец у них пьет, а потом и скрывать перестала: что ж они, слепые? Ничего не видят?

Когда трезвый, и мужик как мужик, а чуть заложил за щеку — и повело: и то ему не так, и это не эдак. Вко-

нец скорюзился. Так что, может, и хорошо, что ушел. С глаз долой — из сердца вон.

Спать легла Фрося успокоенная. Потому, видать, и сон хороший привиделся.

Будто идет она по ромашковому лугу, а навстречь ей военный оркестр. Ребятки все молодые — с трубами, барабанами. Походный марш играют. Для кого ж они так стараются? Огляделась Фрося, а вокруг никого, только луг зеленеется. Один солдат, синеглазенький, Ваней звать, в барабан ударил и говорит:

— Поздравляю вас, Ефросинья Сидоровна, с великим праздником.

— С каким таким праздником? — удивилась Фрося.

— С Днем счастья!

— Нету такого дня...

— А мы его установили. В вашу честь.

— Да идите вы, — сконфузилась Фрося, — чем я заслужила?

— А тем, — ответил солдат, — голос у вас ласковый...

Он не договорил, потому что снова ударил барабан. Он бил и бил, не смолкая, и Фрося наконец проснулась. Вовсе не барабан это бил, а стучалась в дверь почтальонка Зойка.

— Фрось, неужто спишь? Обрадовалась, что мужик ушел, вот и дрыхнешь? Ругать некому... — Сунула ей под нос какую-то бумагу: — Распишись.

Фрося расписалась, спросила:

— Что за бумага-то?

— На переговоры тебя вызывают.

— Кто?

— А я почему знаю? Вот гляди: «Вызываетесь на переговоры с Могилевом девятнадцатого в 18-00 Заграй».

— Какой Заграй?

— Ну ты, Фрося, как дурочка, ей-богу, — обиделась Зойка, — тебе лучше знать какой. Я тут при чем? Я вызов вручила? Вручила. И до свиданьяца.

Зойка сердито запахнула свою брезентовую, полную газет и журналов сумку и зашагала прочь, но у калитки остановилась:

— А правда, ктой-то тебя вызывает? Кажись, родственников у тебя в Могилеве нету...

— В том-то и дело.

Зойка вернулась от калитки, присела на крыльце.

— Давай уж выкладывай начистоту. Письмо ведь тоже из Могилева было.

Фрося застеснялась, перевела разговор на другое.

— Иди-ка перекуси. У меня сегодня пироги с морковкой.

— От пирогов с морковкой не откажусь, давно не пробовала.

За столом Зойка разнежилась, про работу забыла:

— Ой, вкусно. В морковку что добавляешь?

— Рису, творогу, масла.

— Масло где достаем?

— Как где? Сбиваю.

— Тебѐ хорошо, у тебя все свое.

Зойка наелась пирогов, напилась молока, бодро потряхнула сумкой:

— Еще три деревни надо обегать. Писем нет, зато газет... Все грамотные больно стали. А спроси о чем-нибудь, они их и не открывают. В печь на подтопку используют.

Фрося хоть и стеснялась Зойку, а все ж поинтересовалась:

— Чтой-то за переговоры такие? Куда идтить?

— Тю, бестолковая. На почту, куда ж еще? Если б у тебя на дому был телефон, тогда, конечно. Но ты у нас пока не депутат.

— Да никуда я не пойду, — сказала Фрося. — Вот еще...

Зойка снова потряхнула сумкой, нахмурилась:

— А вот этого делать не полагается. Раз вызывают, значит, надо. Оттуда позвонят, где абонент? Абонента нету. С нас спрос. Могут лишить премии. Так что уж будь добра, приди.

После того как Зойка ушла, Фрося сбегала к деду Степochке — посоветоваться. Тот повертел в руках телефснограмму, поглядел ее на свет, улыбнулся:

— Настоячивый.

— Кто?

— Ну, Заграй этот, сук ему в дышло. Раз ты на письмо не ответила, телефоном решил взять. Молодец. С вашим братом только так и надо. А ежели вас послушать...

— Ой, дед Степochка, что это ты загадками заговорил? Ты лучше присоветуй: идтить мне на переговоры или нет?

— А чего ты боишься? Через телефон он тебя не укусит. А человек все ж потратился, чтоб только твой голос услышать.

— А дети узнают?

— Тогда не ходи. Потом всю жизнь будешь каяться.

— Это верно, — вспомнив что-то свое, промолвила Фрося, — да уж поздно будет.

— Дед Степочка усадил Фросю за стол, угостил свежей ушницей.

— Может, это счастье твое к тебе по телефону просится, а ты: идтить или нет? — сказал он. — Не такие уж твои годы, чтобы мужиками раскидываться.

— Вот в том-то и дело: годы. Да и дети...

— Дети любви не помеха, — изрек дед Степочка. — И пока молода, живи. Не заковывай душу в кандалы.

— Ладно, — пообещала Фрося, — не буду заковывать. На завтра она принарядилась, как на вечерку.

— Мам, ты куда? — вскинулась Юля.

Фрося никогда детям не лгала, а тут пришлось солгать:

— В контору вызывают.

— И я с тобой! — заявил Гаврош.

— Не смей! — испугалась Фрося. — Я, может быть, и не пойду в контору.

— Как это ты не пойдешь, раз вызывают!

— Не ваше дело! — ни с того ни с сего накинулась на детей Фрося. — Малы еще мать осуждать!

В общем, с детьми вышел полный разлад, и оттого Фросю не радовало ни теплое солнышко, что закатно светило ей прямо в лицо, ни легкий ветер, что дул в спину, ни запахи раздобревшей вечереющей земли. Вызов на переговоры, который она спрятала под кофточку, будто каленым железом жег ей грудь.

Скоро показался и поселок. Называется Озерный, а ни одного озера, хотя раньше, мать рассказывала, в деревне Озерки было несколько озер, перегороженных плотинами. Одно озеро выше другого. И острова на тех озерах. На одном острове церковь стояла — богоявленная. Строили ее, рассказывают, всем миром. Камни на лодках да на плотах перевозили. В раствор сырые яйца добавляли. Зато и простояла церковь, считай, шесть веков. А как началась революция, помещика из Озерков выгнали, он и схоронился в той церкви, думал, в богоявленной, дескать, не тронут. Не тронули, но вокруг засаду устроили, с острова чтоб никуда! На голодную смерть обрекли. Дескать, раз ты у бога стал защиты от людей искать, пусть бог тебя и кормит. Не выдержал помещик, взорвал себя вместе с церковью. Средь ночи над островом огненный столб поднялся, а наутро просну-

лись люди и увидели: ни церкви, ни острова. Весь под воду ушел. А после и воду спустили. Так и осталась деревня Озерки без единого озера. Говорил, правда, новый председатель, когда за него голосовали, что зальет новое озеро, больше прежнего. Только когда это еще будет? Спустить легче, чем новое залить.

Так в думах о прошлом и будущем Озерков Фрося и дотопала до почты, подала в окошечко вызов, как учила ее Зойка, приготовилась ждать. Ждать пришлось долго— в течение часа.

— У меня ж корова не доена, — резонно заявила она в окошко. Услышав ее голос, оттуда высунулась бывшая ее соседка Надюшка Прохорова. Фрося ее сначала и не признала, потому что на голове у Надюшки была прическа высотой в трехгодовое сорочье гнездо.

— Это кто ж к нам пожаловал? Фроська! В кои-то веки. Ну, как там наща Лупановка? Жива еще?

— Пока жива. Да скоро уж, видно, преставится.

— А я вчерась твоего видела, — сказала Надюшка. — Пьян, лыка не вяжет. Ходит по поселку и кричит: «Я вольный казак. Хочу пью, хочу целый день трезвый хожу!»

— Много ль у него таких дней?

— Ага, я стыдить стала, так он меня как послал! Еле вернулась.

Надюшка помолчала, ожидая, что скажет на это Фрося, но та лишь поинтересовалась:

— Ну, и как в новом поселке?

— Ай, девка, не спрашивай. Поначалу обрадовалась. Ни печку не топить, ни корову не доить. Пришел с работы и плюй в потолок. Только ведь эдакая жизнь не для нас, мы к работе приучены. Хоть и хлопотно, да молочко свое. А теперь постой в очереди. Да и то если завезут в магазин. А то постоишь, постоишь, да с пустым бидоном домой вернешься. Добро у меня детишков нету, а у кого есть?

Фрося про молоко не дослушала — ее в кабину вызвали. Освободив от косынки ухо, она приложила к нему трубку, но вместо ожидаемого мужского голоса услышала женский.

— Фрось, ты? Здорово!

— Здравствуй, а кто-то? — удивилась Фрося.

— Своих не узнаешь? — прозвучало в трубке. — А помнишь, как вместе в Сазоновку на танцульки бегали? Да я это — Люська Гончарова.

— Слушай, Люсь, — тут же спохватилась Фрося, — ты мне платье так и не сшила. Помнишь, маркизет в голубую полоску? Сшей, а? Совсем обносилась.

— Не, я теперь портновским делом не занимаюсь. В ателье иди.

— В какое еще ателье?

— Соединяю, говорите, — ответила Люська, но сколько Фрося ни слушала, как ни прижимала трубку к уху, а ничего разобрать не могла.

— Ну, говорите? — спросила Люська, и Фрося в сердцах закричала на нее:

— Что говорить-то? Ничего не слышать. Ветер мешает.

— Ну и смешная ты, Фроська. В трубке — ветер? Телефон барахлит. Вечно у вас в Озерном. Ну и работнички. А мне так все слышать. Хошь, переводить буду?

Фрося не успела ответить, как Люська с готовностью затараторила:

— Прощения у тебя просит за беспокойство. Сон, говорит, плохой видел. Решил позвонить. Ой, Фрось, а кто это? А? Поделись с подругой. Голос как у Кобзона!

— Да погоди ты с Кобзоном! Спроси, что ему от меня надобно?

— Про здоровье спрашивает, — ответила Люська.

— Здорова я, здорова, и дети здоровы. Трое у меня.

— А то я не знаю, — рассмеялась Люська. — Что ему отвечать, говори.

— Спроси: может, яблок прислать?

Люська долго молчала. Потом удивленно проговорила:

— Ничего, говорит, не надо. Голос твой услышать, и все.

— А где он раньше меня слышал, спроси, — попросила Фрося.

— По радио, говорит. Очень ласково ты про своих теляток рассказывала.

— Про теляток? Да когда ж это?

— Ладно, Фроська, не дури. Я тоже слышала. Помнишь, к тебе из Москвы корреспондент приезжал?

— Так ведь он привесами интересовался!

— Привесами, а ты ему про свое. Как твоя Венерка платок на рога надела и бегаёт по хлеву, как невеста. Я так смеялась, чуть не померла со смеху.

— Ты всегда была хохотушкой, — засмеялась и Фрося.

— А ему-то что говорить? Заграю твоему?

— Какому Заграю?

— Который с тобой разговаривает!

— Так он же с тобой разговаривает, а не со мной.

— Ну, бестолковая! Я ведь только перевожу.

— Спроси: яблочк прислать?

Люська опять долго молчала, потом доложила:

— Ничего, говорит, ему не нужно, он на полном государственном обеспечении.

— В заключении, что ли? — испугалась Фрося. — Тогда я ему сала пришлю.

Люська расхохоталась.

— В армии он, дурочка. Старшина. Тридцать шесть лет от роду. Не женат.

— Люська! — закричала в трубку Фрося. — Хватит меня разыгрывать. Что я вам — совсем малохольная? Может, его и вовсе-то нет! А ты насмехаешься...

Люська не ответила, а в трубке опять завыл ветер.

— Возьму и брошу трубку! — рассердилась Фрося.

— Не бросай! Дуреха! Мне б такие слова говорили...

— Какие слова?

— Душу ты ему всколыхнула своим голосом. Можно ли ему приехать, спрашивает. Будешь ли ты его ждать?

— Да ты что? Как ждать? У меня детей трое, Васька четвертый.

В трубке что-то щелкнуло, и ветер, так мешавший все время, на мгновение затих, и в этой мгновенной тишине Фрося услышала, как Люська радостно произнесла:

— Приезжай. Буду ждать. Согласна.

— Люська! — закричала Фрося. — Ты что такое говоришь? Тебе за вранье зарплату платят? На что я согласна? С ума сошла? Сейчас же передай, чтоб не приезжал. Слышишь, Люська?

— Крыльцова, заканчивайте разговор, ваше время истекло! — Голос прозвучал так строго, так категорично, что Фрося усомнилась: Люськин ли это?

— Как заканчивать? — заволновалась она. — Он возьмет и всамделе приедет?

Но Люська уже отсоединила телефон, и в трубке вместо ветра установилась могильная тишина.

Так и пришлось Фросе отправиться домой несолоно хлебавши. Досадно ей было, что так по-дурацки все вышло, но где-то в глубине души тихонько ворочалась радость: все-таки есть где-то в мире человек, который думает о ней, хочет слышать ее, видеть. Кто ж он такой? Люська сказала — старшина, Значит, здоровый, с усами.

Фросе почему-то хотелось, чтоб непременно были у него усы, лихо закрученные вверх, как у того артиста в кино, как же его фамилия? Тоже старшину играл, солдат учил уму-разуму. Других учит, а сам... Шуры-муры по телефону разводит. Смех, да и только...

Вернувшись домой, Фрося залезла на печь и притаилась как мышь. Дети о чем-то ее спрашивали, она не отвечала. Ей казалось, что заговори она — и уйдет из души то таинственно-трепетное, что заполняло ее. Потому она и молчала.

Юля, встревоженная необычным поведением матери, тоже притихла, сидела у окна и смотрела на звезды. Зато Гаврош горланил во все горло песню. В другой бы раз Фрося всыпала ему за всякие песенки, но сегодня не до того ей было. Какое-то добродушное равнодушие охватило все ее тело, а тут еще дух от печки словно теплым туманом обволакивал мысли. Уже засыпая, почувствовала, что кто-то подбивается ей под бок. Пощупала рукой — Оксанка.

— Ты чего, дочунь?

Оксанка промычала что-то непонятное, засопела сладко.

Так и заснули они в ту ночь, обнявшись, и спали крепко, без сновидений, пока Юлюшка не растолкала.

— Мам, на работу опоздаешь.

По дороге на ферму будто невзначай повстречался Фросе Василий.

— Признавайся, с кем вчера по телефону любезничала?

— С человеком, — отрезала Фрося. — А ты что ж думал: раз бросил, не подберут? Еще как подберут! Скоро в сваты приедет.

— Нужна ты кому! — рассмеялся Василий. — Да еще с тройным прицепом!

— Тогда посмеешься...

«Ну, чего бы не жить? — думала она, глядя на распухшего, но еще трезвого с утра мужа. — Жить и радоваться жизни. Сыты, здоровы, чего людям еще надобно? Куда их волокет?»

Целую неделю Василия не было, и Фрося понемногу успокоилась: никто нервы не рвет, никто не корюжится. Конечно, тяжело в хозяйстве без мужской руки, но пусть лучше тяжелей, зато на душе радостней. К тому ж дед Степочка приходил подмогнуть: вместе с Гаврошем дров напиллил, сараюшку подправил.

И на работе у Фроси было все ладно, пока не вызвали на совещание. По правде говоря, не хотела она ехать в район: не до совещаний ей было. Но председатель сказал: надо! Новый почин объявлять!

— Какой почин?

— Насчет килограммовых привесов.

— Мои телятки и так прибавляют в сутки, считай, по килограмму. Без почина.

— Это ваши. А надо, чтоб все прибавляли. Вот вы и обратитесь с призывом ко всем **телятницам** района.

Пришлось ехать. Районное совещание животноводов собралось во Дворце культуры. Зал в нем большой. Посреди зала, под потолком, хрустальная люстра — лампочек в двести. Так светит, что глазам больно. Фрося и прикрыла глаза — от света. Не заметила, как и задремала. С трибуны что-то говорят, призывают, а она спит себе. Добро, что далеко от президиума, — не видно. Видать не видно, а все ж таки стыдно: люди говорят, стараются, может быть, что-нибудь и толковое скажут. Нехорошо это, некрасиво. Встряхнулась быстренько, сон, словно туман, рукой отвела, огляделась: не заметил ли кто? А замечать некому — так где ж и подремать-то, как не на совещании... Дома ведь некогда. А тут — сиди, отдыхай, пока в ладоши не захлопают. В общем, додремала Фрося до перерыва, а в перерыв в буфет побежала — купить чего-нибудь. Детям на гостинец.

Тут ее и разыскал председатель, взял под руку, заговорил ласково:

— Ефросинья Сидоровна! Как только вас объявят, вы выйдете и зачитаете призыв.

— Какой призыв?

— Ну, я же давал вам бумагу. Там все написано. Просил порепетировать.

— А, это...

Фрося вынула из кармана свернутую в трубочку бумажку, развернула ее, пробежала глазами — слова в бумаге были вроде бы и правильные, но какие-то каменные, тяжелые, никак не выговаривались.

— Лучше я своими словами скажу — можно?

— Нет уж, — возразил возникший откуда-то из-за колонны зоохехник Вилен Иванович, — читай, что написано, а то я тебя знаю...

С зоотехником она бы еще поговорила, но рядом стоял председатель, которого она уважала и побаивалась, и потому Фрося лишь согласно кивнула головой.

— Ладно, прочту.

— Да гляди не споткнись, — предупредил Вилен Иванович, — там перед трибуной три ступеньки. Сосчитай, когда всходить будешь.

— Сосчитаю.

В зал Фрося уже не вернулась, а ждала в специальной комнатке за сценой. Тут же для поддержки ее духа остался и зоотехник Вилен Иванович. Он прохаживался из одного угла в другой, время от времени морщась от боли.

— Что с тобой, Вилен Иванович? — спросила Фрося.

— Да живот схватило. Видать, от волнения.

— А чего тебе волноваться? Это мне надо.

— Вот я и волнуюсь из-за того, что ты не волнуешься.

— Я волнуюсь, только не животом.

В приоткрытую дверь была видна часть президиума, трибуну же загораживал тяжелый красный занавес, но и он не мог заглушить звонкий девчоночий голос, долетавший оттуда:

— Весь наш десятый класс, включая и мальчиков, решил остаться работать в родном колхозе! Мы понимаем, что в подъеме сельского хозяйства Нечерноземья много, если не все, зависит от нас, молодых, поэтому мы заверяем наших старших товарищей, что не пожалеем ни сил, ни стараний...

«Дитенок ты мой, дитенок, — думала Фрося, — на трибуне-то все гладко выходит, а ты приди в телятник или в свинарник... Не так запоешь...»

Думая о девчужке, Фрося не услышала, как председательствующий объявил, что слово имеет передовая телятница из «Рассвета» Ефросинья Сидоровна Крыльцова.

— Ну, что ж ты? — подтолкнул ее в бок Вилен Иванович.

— А что?

— Иди. Тебя объявили.

— Ой, мамушки мои...

Негнушшимися, враз одеревеневшими ногами Фрося двинулась к трибуне, сосчитала ступеньки.

Люстра под потолком так и сверкала, слепя глаза.

«А что если она сейчас грохнется на пол? — внезапно подумала Фрося. — Сколько осколков будет!» Но время шло, а люстра не падала, и тогда Фрося развернула свой призыв.

«— Дорогие товарищи!» — прочла она и удивилась своему собственному голосу — не узнала его. Да и какие «товарищи»? Поверх трибуны Фрося глянула в зал и увидела, что там одни женщины. Вот так бы и сказать: «Дорогие мои бабоньки, сидим мы тут, кресла греем, а зачем? Дома коровы не доены, телята не поены, детишки не кормлены».

Она уж было и наострилась все это произнести, но ни одного лица в зале не увидела, одни лишь склоненные головы. Спят, бедолажные, добрые сны небось видят. И тогда Фрося решительно повернулась к президиуму:

— Вы вот тут горланите призывы разные, чтоб лучше работать, а им поспать надобно. Отдохнуть от трудов праведных. Они ведь и без вас знают, как им коров доить, как поросят кормить. Вот у меня тоже бумажка написана, чтоб телятки в сутки по килограмму веса набирали. Где ж они наберут, если мы их с трибуны словами кормить будем? А потому объявляю свой призыв: «Тихо! Дайте бабонькам отдохнуть!»

Фрося постояла немного, будто собираясь еще что-то сказать, но раздумала и сошла с трибуны. Под гробовое молчание прошла она мимо президиума, спустилась в зал и села на первое попавшееся место. И только уж когда она села, раздались неуверенные аплодисменты.

Домой Фрося возвращалась автобусом — не стала дожидаться колхозной машины. К тому ж надо было еще побегать по магазинам. Юле она купила шелковое платьишко: по желтому полю синие цветики, будто незабудки рассыпаны, Гаврошу — куртку с молниями, а Оксанке — книжку с картинками.

Себе Фрося тоже купила обнову: туфли на высоком каблуке с ремешками, что завязывались аж на икре. Ни у кого из деревенских она не видела таких туфель — вот позавидуют. А может, посмеются. Первой Глашка зайдется: «Во, во, в таких только навоз чистить». Все равно купила — глянулись они ей, особенно ремешки бантиком.

В автобусе играла музыка, так что ехать было одно удовольствие. И вдруг остановка, перегородил дорогу шлагбаум. Фрося высунулась в окно, стала ждать поезда. Впереди автобуса стояла телега, дальше мотоциклист с рюкзаком, полным буханками городского хлеба. Одна буханка даже не вместилась в рюкзак и торчала поверх завязок. Лошадь и потянулась мордой к этой буханке. Она так осторожно кусала хлеб, что мотоциклист

ничего не замечал и продолжал спокойно сидеть за рулем. Возница же видел все это, но не отдергивал лошадей: дескать, пусть полакомится. Зато закричал с обочины дороги пастух:

— Эге-гей! Смотрите, что делается!

Он пас козу у железнодорожной насыпи и все, что творилось у переезда, считал, очевидно, своим кровным делом. Тут и началось. Мотоциклист соскочил с мотоцикла, сбросил наземь рюкзак так, чтобы объединенная буханка покатила в пыль, и взял за грудки возницу.

Дальше Фрося не слушала: в ход пошли такие слова, что уши вяли. Дерущихся окружили, стали давать советы:

— Почисть ему вывеску: ишь распустил лошадей!

Другие возражали:

— Хлеба ему жалко.

Возница, маленький, щуплый мужичонка, как мог, отбивался от рослого мотоциклиста, кричал писклявым голоском:

— Хлеб государственный и конь государственный!

— Я тебе покажу — государственный.

Пастух привязал козу и тоже подошел — из любопытства, чем дело кончится. Дело не кончалось, потому что в спор ввязывалось все больше и больше народу, застрявшего на переезде. Все были так увлечены, что не заметили, как прогремел мимо товарняк, и шлагбаум открылся. А на шлагбауме висит коза и уже не блеет, а лишь сучит в воздухе копытами. Толпа отхлынула от дерущихся и бросилась выручать козу.

— Ты что ж, сучья морда, куста не нашел, к шлагбауму козу привязал? — накинулись они на пастуха.

— Я думал — на минутку.

Вот уж смеялась Фрося, глядя, как снимали подвешенную к шлагбауму козу. А пастух лишь бестолково бегал вокруг и плаксиво гнусавил:

— Уж задаст мне старуха за козу. Добро б яловка, а то котная.

Козу общими усилиями все же со шлагбаума сняли. Ни одна машина не тронулась с переезда, пока не заблеяла коза и не дала деру в придорожные кусты.

Дома Фрося первым делом рассказала детям про козу, а потом уж приступила к раздаче гостинцев.

Детям гостинцы понравились, хотя Гаврош попробовал и покапризничать.

— У Вальки Скворца и на рукавах молнии.

— Ты с Валькой не равняйся, у него мать продавщица.

Загремело в сенях — в гости пожаловал дед Степочка.

— Ты что ж это пехом? — спросил он Фросю. — Аль не взяли тебя?

— Не взяли.

— Значит, как на совещание — так на машине, а как с совещания — на автобусе?

— Да я и сама не стала ждать председателя. Побоялась, что ругаться будет.

— За что?

— Всю я им обедню испортила. Надо было новый почин объявить, а я...

И она рассказала деду Степочке о своем выступлении с трибуны совещания.

— Ну и что ж они? — засмеялся дед Степочка.

— Рассердились. Хотя для вежливости и похлопали.

Деду Степочке она тоже привезла гостинец: рубаху в синюю и красную клеточку. Дед рубаху примерил:

— На смерть сгодится.

— Отдавай назад, — обиделась Фрося.

Но он рубаху не отдал, вызвал ее в сени, зашептал таинственно:

— Угадай, кто к тебе в гости пожаловал?

— Кто? — испугалась Фрося.

— А кого ты приглашала по телефону?

— Я? Приглашала?! Да это Люська надо мной посмеялась. Будто с кем-то разговаривала. А я — дура — уши развесила.

— А вот и не развесила. Приехал. Скорым поездом.

— Да кто приехал-то? Толком скажи!

— Ну, заочник твой, Заграй.

— Ой, мамушки мои...

Фрося опустилась на окованный железом ларь, закрыла лицо руками, заплакала:

— Мало мне своего горя, еще этот на мою голову.

— Вот и пойми вас, женщин, — ругнулся дед Степочка. — К ней человек с доброй душой, а она...

Но Фрося недолго плакала. Решительно встав с ларя, она крикнула детям:

— А ну, живо, собирайтесь!

— Дети зачем? — недоуменно спросил дед Степочка.

— Пускай сразу увидит, какой у меня выводок.

И вот по пустынной деревенской улице двинулась не-

лая процессия: впереди, как главнокомандующий, дед Степочка, за ним вприпрыжку Гаврош, следом Юля и только потом уже Фрося. Замыкающей шествовала Оксана с книжицей в руках.

Старая Анисья, завидев эту процессию, так и обомлела: куда это они? Неуж на похороны? Так ведь не к кому, кроме как к ней самой. А она, слава богу, еще не померла. Все же для верности Анисья ущипнула себя за руку — больно. Стало быть, живая, и не снится ей это, и не чудится. Хотела уж было выбежать на крыльцо да спросить, куда они идут, но с такой торжественностью двигалась эта процессия, что не решилась старая. Так и просидела у окна, проводив ее лишь изумленным взглядом.

А процессия двинулась дальше. Правда, по дороге случилось и непредвиденное. Гаврош, хоть и был весь в ожидании чего-то необыкновенного, а все ж таки углядел, как метнулся меж яблонями заяц.

— Ату его! Ату! — закричал он и, нарушив строй, ринулся вслед за серым. Это был даже не заяц, а скорей зайчонок, потому и глупый. Он никак не мог сообразить, куда бежать, кидался то в одну сторону, то в другую, но везде натыкался на плетень и, выпучив от страха глаза, кружил по саду.

— Ату! Ату!

Наконец зайчонок догадался, что можно перепрыгнуть через плетень, но не рассчитал силенок и повис на нем, неуклюже дрыгая задними ногами. Гаврош изловчился и бросил на него свою куртку с молниями. Зайчонок подпрыгнул и вместе с курткой свалился с плетня, покатился по траве, норовя выпутаться из нее, но еще больше запутываясь.

— Куртку спасай! — крикнула Юля. — Косой ее в лес утянет!

То-то было смеху, как Гаврош плашмя упал на куртку, а зайчонок выскользнул из-под него и дал деру. Он бежал так быстро, что не было видно ног, просто серый клубок летел над землей: летит да как подпрыгнет — и в сторону — следы свои заметал.

Не смеялась одна Оксана. Фрося, чтоб успокоить меньшую, подхватила ее на руки и так предстала пред очн заочника.

— С приездом вас...

— Спасибо...

И оба замолчали.

Заграй был худощав, высок, ноги циркулем. Фрося пристально оглядела его, спросила:

— А где ж твоя труба?

— Какая труба? — изумился Заграй.

— И усы сбрил, что ли?

— Вы что-то путаете, — ответил он, — я сроду усов не носил.

— А я вас во сне видела, — призналась Фрося, — с трубой и с усами. В оркестре играли... Звать-то вас как?

— Иван Иванович.

— Ну, точно — Ванюша. Я еще у вас спрашивала: «Для кого играете?»

— Я вас тоже... будто где видел, — сказал Заграй. — Будто век вас знаю.

— А дети у меня хорошие, слухмяные, — заторопилась Фрося, — вот Юлюшка, вот Гаврош, а это Оксанка. Правда, с дурком маленько...

Но Заграй смотрел не на детей, а на нее, и глаза у него были такие ясные, чистые, как утреннее, не замутненное облаками небо.

— Что вы все про детей, про себя расскажите, — попросил он.

Фрося смутилась, отвела глаза:

— Что про себя? Вот вся я тут налицо. Хошь — так ешь, хошь — вместо соли на хлеб насыпай. Никому зла не желаю: будь ты вор, будь ты разбойник. Вот только в жизни не везет. Все вроде бы и так, и все наперекосяк... — Она еще никогда не говорила так много, а тут вдруг прорвало: — Будто кто-то там, на небе, сидит и все мои планы на свой манер перестраивает. Ты, Фроська, хочешь так, а я тебя эдак. Ты в небо, а я тебя за ногу — наземь. Да чтоб мордой в грязь. Раз шмякнешься, два, а на третий раз в небо не захочешь. Ой! — вдруг спохватилась она, — что-то я разболталась, как на собрании? Мама всегда мне наказывала: «Пришел человек, ты сперва накорми его, потом спрашивай: зачем пришел?»

— Спасибо, сыт я, — сказал Заграй, — мы тут с дедом кашеварничали.

— А вы к нам в отпуск? Да? У нас тут хорошо отдыхать. Рыбку с дедом Степочкой поделите. Скоро грибы пойдут, ягоды.

— Да нет, я не в отпуск. Уволился... Насовсем. И если вы, конечно, не против...

Как Фрося пожалела, что не надела она туфли на высоком каблуке с ремешками. А может, и хорошо, что не надела. Пусть видит такой, какая она есть. И детей тоже...

Оглянувшись, Фрося увидела, что Юлюшка стоит, насупившись, уставясь глазенками в землю. Гаврош тоже набычился. А Оксанки вообще нет. Где же она? Фрося кинулась ее искать: еще в речке утопится...

— Оксанка! Родимец тебя забей! Где ты?

Пока Оксанку искали, и совсем познакомились.

— А я вас такой и представлял, — сказал Заграй, — ласковой и доброй. Только по телефону вы почему-то не своим голосом говорили. Я даже не узнал вас. Думаю: что случилось? Потому и приехал. Не прогоните?

— Да куда прогонять-то? Поживите, оглядитесь. Может, и сами сбежите...

Заграй обиженно замотал головой. Воротник на его гимнастерке расстегнулся, и оголилась шея, худая, морщинистая, с острым кадыком.

Фрося рассмеялась.

— Чего вы? — спросил Заграй.

— Ой, не могу! Вы на гусака похожи.

Он не обиделся, рассмеялся. И так они стояли друг перед дружкой и смеялись неведь чему.

— Пойдем, — Гаврош дернул Юлю за руку.

— Куда вы? — встрепенулась Фрося.

— Вам и без нас весело.

— Ну вот, — вздохнула Фрося, когда дети ушли. — Им отец нужен. Хоть какой, но родной. Об нас у них думок нету. Будто мы и не люди вовсе.

— Дети вообще эгоисты, — согласился Заграй.

— А у вас сколько?

— Кого? — не понял тот.

— Ну, детей.

— Ах, детей?.. Видите ли, — замялся он, — я вообще еще не женился.

— Ой, мамушки мои! — всплеснула руками Фрося. — Ай увечный какой?

И опять он не обиделся — улыбнулся:

— Да нет, вроде неувечный. Просто никто не пришелся по душе. А как услышал ваш голос... Вы что — не верите?

Фрося и рада была бы поверить, но боялась: вдруг Васька вернется и убьет их обоих? Так ведь он чем виноват?

Про Ваську Заграй даже не спросил, вроде его это ничуть не касалось...

Зато тот встревожился. Не прошло и двух дней со времени приезда бывшего старшины в Лупановку, как Васька явился домой со свидетелями. Свидетелей было двое: Гераська Глумной и почтальонка Зоя.

— Где он? — еще не заходя в избу, с порога спросил Василий и, не дожидаясь ответа, стал заглядывать под печь, за шкаф, под кровать.

Фрося только что вернулась с телятника, месила поросенку, так и наблюдала за мужем с грязными — на весу — руками.

— Ага, спрятался небось, — сам себя успокоил Василий. — Ладно, с ним разговор особый. Давай с тобой поговорим, непутевая. Будешь переезжать в поселок?

— Я ж тебе сказала...

— Нет, ты еще раз скажи. При свидетелях!

— Нет!

— Тогда я хату сожгу. Я все сказал!

И Василий гордой походкой прошелся по избе, как бы давая время жене одуматься.

Фрося хотела было схватить ухват, но руки были грязными, и она кинулась ополоснуть их. Но тут заговорила почтальонка Зоя.

— Ты, Фроська, не дури. Такими мужиками не разбрасываются. А ежели он тебе и вправду не нужен, я подберу. Мне сгодится.

— Ну и бери! Только он и тебя на «блондинку» променяет!

Зойка засмеялась.

— А кто сейчас не пьет? Одни куры, да и то потому, что им не подносят. А мужика надо ублажать. Гладить мужика надобно. Ну, и подносить по махонькой. Мужик ведь он кто?

— Кто? — спросил, заинтересовавшись, Гераська Глумной.

— Мужик — он тряпка. Ты об него ноги вытирай, он и рад. Но ноги чтоб были чистые. А что пьет?.. Где ты непьющего возьмешь? Нету таких. Может, и есть, но не в нашей округе. Я находилась с сумкой, нагладелась... Так что, если он тебе не нужен, я возьму. Но чтоб без обиды, по-честному.

— Идите-ка вы! По-честному!

И Фрося двинулась на них с ухватом. Добро, что детей не было дома, не видели, как загремели в сенцах

пустые ведра, покатались по полу. Вслед за ведрами выкатился и Васька.

Почтальонка Зойка гладила его по голове, уговаривала:

— Пойдем, Васенька, Артурик ты мой. Я тебе баньку вытоплю, веничком выпарю. Разве ж можно с ней жить? Не баба, а тигра. На родного мужика с ухватом...

— Гладь, гладь, он тебя погладит! — Фрося никак не могла успокоиться. — «Хату спалю!» Изба ему помешала. А дети куда? Об детях ты подумал? Уйди с глаз моих, рожа зеленая!

Выгнав с подворья мужа вместе со свидетелями, Фрося села на крыльцо, задумалась. Как же ей жить-то дальше? Тот говорит: «Люблю», этот: «Хату спалю». А Юлюшка, Гаврош, Оксанка? Неужто принять материнскую судьбу, ради детей напрочь отказаться от себя? Отец ведь хоть хворый был — жалко, а этот? Добровольную хворь на себя напускает. Эта хворь страшнее. Не только глаза мутит, но и разум. Эх, Васька, Васька...

Но если б Фрося хоть на минутку могла предположить, что он и в самом деле исполнит свою угрозу...

Только что она приняла у Глафиры смену, накормила телят, напоила, прибежал, запыхавшись, Гаврош.

— Мамк, папка избу поджег!

— А Юлька, Оксанка?

— Пожар тушат.

Фросе бы бежать, спасать, что осталось, а она села наземь и сидит — ноги подкосились.

— Мамк, ты чего? Бежим скорей! — кричал Гаврош и тянул ее за руку.

— погоди, сынок, сердце заholонуло.

Все же Гаврош поднял ее, и они затрусили в сторону Лупановки, но было уже поздно. Одни черные головешки лежали, разбросанные по подворью, и среди них, как парус в море, плыла печка. Она обгорела, закоптилась, но устояла под огнем и теперь тянула к небу длинную свою трубу, будто взывая о помощи.

— Бедная ты моя, — заплакала Фрося, — все против тебя. Что ты им сделала? Что им надо?

Юлюшка и Оксанка подошли к матери, прижались с обеих сторон, тоже заплакали, и лишь Гаврош крепился.

— Ну, развели нюни. Дядя Ваня, дед Степочка, успокойте вы их!

Только сейчас Фрося увидела Загряя. Он стоял под обгоревшей с одного боку яблоней и смущенно улыбался,

потому что и сам был обгоревший: черными лохмотьями висела на его плечах рубаха, а по лицу, от виска и до подбородка, тянулся багрово-красный шрам. Рядом с ним суетился и дед Степочка.

— Ты уж прости нас, Фросюшка. Не уберегли мы твою избу. Прибежали, когда она уже со всех сторон занялась. Огонь, ведь он как разбойник. Так разбушевался — подойти страшно. Добро хоть скотину успели выгнать да барахлишко выволочь. А по избе не горюй. Сгорела и сгорела, видно, судьба. Забирай деток, да пойдем ко мне.

— Никуда мы не пойдем! — заявила вдруг Фрося.

— Как не пойдете? А где же жить будешь?

— Здесь и будем! Пусть придет полюбуется, как своих же родненьких по миру пустил!

— Мам, — сказала Юля, — гляди, банька-то наша уцелела.

— Ура! Будем жить в баньке! — подхватил и Гаврош, а Оксанка, ни слова не говоря, стала карабкаться на печь. Вскарабкалась и уселась возле трубы, свесив ноги в красных резиновых сапожках. Вскоре к ней присоединился и Гаврош, осмотрелся, заявил:

— А хорошо тут! Все вокруг видать, как на самолете.

— А ты что — на самолете летал? — улыбнулась Юля.

— Не летал, так полечу!

«А им и горя мало, — подумала о детях Фрося. — Что бы ни случилось — забава».

Уже вечерело, и надо было думать о ночлеге. Но как ни упрашивал дед Степочка, к нему она не пошла. Заграй ведь там — что люди подумают? Отправила детей ночевать к бабке Анисье. Та на радостях и поросенка из избы выгнала.

— Пошел вон, разбойник! Ишь, обнаглел — на перине спать. Сегодня у меня есть кого на перину класть! — И она не то запела, не то запричитала: — Детьньки вы мои милые, погорельцы вы мои несчастные. Это что ж с вами сотворил батька ваш непутевый? Добро б издевался над женкой, так нет же — детишков и тех не пожалел. Своих же кровненьких...

Она еще долго причитала над ними, когда те уже и спать улеглись, и не только над ними, но и над собой:

— А я-то, бедная, горемычная, всеми покинутая, всеми заброшенная. Сколько было деток, и хоть бы один остался — старость мою пригреть. Раскидало их по свету, как бездомников, весточку и ту не пришлют.

Со своего подворья Фрося слышала причитанья бабки Анисьи, жалко ей было ее одинокую старость, а за чужим горем забывалось и свое.

У бабки Анисьи было шестеро сыновей и только одна дочь — самая младшенькая. Сыны росли крепкими, здоровыми, что Федор, что Юрка, что Степан, что Семка-сорвиголова, всех их Фрося помнила, а вот Настеньке — одногодке ее, ровеснице — бог здоровья не дал. Вроде бы ничем не болела, а хирела с каждым прожитым днем. Чего только не делала Анисья: и разными травками ее поила, и по утрам по росе босой водила, умывала «святой» водой — все равно не уберегла. Пришла однажды Фрося навестить подружку, а та лежит, как спит, но уже чужая, холодная. Осиротела Анисья, похоронив единственную свою любимую дочь, а тут и сыны стали уходить из дому — один за другим, один за другим. Конечно, ежели рассудить, времечко было тогда тяжкое, все, кто мог, бежали из деревень в города. Но ведь другие хоть и бежали, а не забывали родителей: то сами их навещали, то посылки присылали, деньжатами помогали. Анисью же забыли все. Ушли сыны из дому, как в воду канули. Не то что посылку, ни одного письма не прислали, как будто и не было у них матери, как будто в лесу под елкой родились и выросли.

Фрося убиралась со скотиной, а сама все думала про старую: ну, уедет она, а бабка Анисья как же? Дед Степочка? Хуже нет старость встречать в одиночестве — никому ты не нужен, ни одной живой душе. Кто знает, может, и ей так придется? Хотя что загадывать о том, что будет, разобратся бы в том, что есть. Прямо-таки голова раскалывалась у нее от всяческих дум. И были они одна чернее другой.

Зашуршала трава, и Фрося насторожилась: кто-то шел берегом, крался в темноте, будто вор.

— Кто здесь?

— Я это. Чего испугалась? — ответил голос Загряя. — Темень, хоть глаз коли. Ты где?

— Левей бери. Да гляди не споткнись, тут пни кругом.

И все же он наткнулся на пень, упал, позвал тихонько: — Помоги мне, Фрося. — Она подала руку, чтоб помочь ему встать, но он потянул ее к себе в мягкую, душистую траву: — Давай посидим, потолкуем. Мы ведь как следует и не поговорили.

— А чего говорить-то? Разве тебе такая нужна?

— Какая?

— Невезучая. Да с тройным прицепом. Тебе бы молодую да свободную...

— Сердцу не прикажешь.

Они сидели возле баньки в густой траве, и Фрося все его убеждала, что не пара она ему и незачем ему с ней связываться, такой воз на себя взваливать.

— А если любовь? — спрашивал он.

— Да какая любовь? В наши-то годы... Смех один...

Но это были лишь слова, которыми она, как могла, защищалась от него, а сердце в груди так и трепыхалось. Ничего не могла с ним Фрося поделать, а еще с руками, они так и тянулись, чтоб приласкать, приголубить. Вон ведь какой он несчастный...

— Сирота я, — говорил Заграй, — а верней — подкидыш. В поезде меня нашли. Проводница вышла, а я в тамбуре лежу и ору благим матом. Она туда-сюда, кинулась мать искать, а ее и след простыл. Ну, сдали в детдом. Там я и вырос... А поезда не люблю.

— А мать... Так тебя и не искала? — спросила Фрося.

— Зачем же ей искать, раз подкинула?

— Может, одумалась... Всяко бывает.

— Эх ты, добрая душа, — сказал Заграй, — даже такое оправдать можешь?

— Нет, такое не могу, — ответила, помолчав, Фрося.

Она уже представила себе, как мчится поезд, грохочет всеми колесами, а в тамбуре, маленький, мокрый, орет брошенный дитенок, и проводница мечется по вагонам, ища и не находя его мать. Как его поднимают и несут в вагон, и кругом много любопытных: мальчик или девочка? И как зовут? И находят на груди у малыша записку с именем и днем рождения...

Фрося все это представила, и так жалко ей стало подкидыша. Но она постаралась заглушить в себе эту жалость.

— А может, ты все это придумал? — спросила она.

— Зачем? — не понял Заграй.

— Чтоб меня разжалобить, а потом тоже бросить.

— Ну что ты такое говоришь?!

— Прости. И правда, язык без костей. Мелет что ни попадя.

— Обними меня, — вдруг попросил Заграй.

— Ой, да ты что? — испугалась Фрося. — Увидят.

— Кто? Разве что звезды. Смотри, сколько звезд на небе.

Она вздохнула.

— Какне звезды? Разве мне до звезд? У Оксанки вон живот всю ночь болел. Мается, а сказать не может.

— Яворем пахнет...

— Гаврош от рук отбивается.

Заграй отвернулся и замолчал. Обиделся, зная.

— Мы будто на разных языках с тобой разговариваем, — наконец произнес он.

Фрося тоже молчала.

В самом деле — на разных. У нее вон сколько забот: и дети, и Васька, и жить негде, а он — вольный казак. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Дивилась она ему: ну, что он к ней-то привязался? Неужто и вправду любовь?.. В это она не верила, не могла поверить. Он тянулся поцеловать ее, она не давалась. Стараясь отвлечь, загадывала совсем про другое:

— А правда, деревья красивше людей? Люди бегают, суеются, друг дружку изводят, а деревья стоят себе, лишь головами покачивают: «Эх вы, люди, разве ж вы люди?» — Над ними, невидимые в темноте, шумели дубы, шелестели листвою, будто что рассказывали. — Прилетят с другой планеты, — продолжала Фрося, — станут людей искать и подумают, что люди — это деревья. Начнут с ними разговаривать: «Здравствуйте. Мы прилетели с другой планеты, хотим с вами дружить. А эти муравьишки, что бегают вокруг вас с топорами да пилами, мы их уничтожим. Потому что они злые. Сами не живут и другим жить мешают».

— Разве я тебе мешаю?

— Что ты? Я не про тебя. Вообще про людей. А как ты думаешь, они любить могут?

— Кто?

— Деревья.

— Не знаю. Мстить могут.

— Как это?

— У нас в роте солдат был один. На полигон выедут, так он вместо мишени все в березку норовил попасть. Ну, она ему и стала мстить. Идет солдат, она обязательно веткой ему по лицу хлестанет. Другим ничего, а его отхлещет.

Луна выкатилась из-за леса, и тогда, освещенная луной, всплыла из темноты печка. Ее длинная труба была как указующий в небо перст.

— А ты любил кого-нибудь? — спросила Фрося.

Заграй задумался.

— Пожалуй, нет.

— А я многих, — призналась Фрося. — Ну, Васька не в счет. А артиста этого, с бородкой. Картавит который. Ну, прямо помирала. Еще французского президента — забыла, как звать его... Вот это мужчина!

— И это ты называешь — любила? — засмеялся Заграй.

— Смейся, смейся, а позови они за собой — и пошла бы. Все бы бросила. Детей в охапку и пошла б. Еще мне этот нравился, что по телевизору про разные страны рассказывает. Лысый, но такой завлекательный. Правда, за ним бы не пошла.

— Почему? — спросил Заграй.

— У него небось и без меня хватает.

— Ну и чудачка ты!

И так они сидели в ночи и болтали неведь о чем. Хорошо им было. Фрося наконец осмелела, придвинулась к нему, робко положила руку на его плечо.

— Не обижайся на меня, Ванюша, ладно? Жалко мне тебя, но и Ваську жалко. Дурной ведь, пропадет без меня.

Он обнял ее, погладил по волосам, убеждая:

— Себя б пожалела. Ведь не любишь его — вижу, что не любишь. А я для тебя... Ну, не знаю, чтоб сделал! Хоть звезду с неба!

— Обожгешься, — засмеялась Фрося, — звезда небось горячая...

— Как ты...

Она с трудом оторвалась от него, попросила:

— Ты мне не звезду, а лучше б печку сделал.

— Печку?

— Ну да, на колесе. Как маме.

— И сделаю! Ты только доверься мне. И дом новый построю. И печку лучше этой. Все сделаю! Только поцелуй...

— Ага, хитренький, — увернулась Фрося и встала, — сделаешь печку, тогда уж... А то я вас знаю!

...Заграй оказался человеком дела. Не прошло и недели, как в тихой Лупановке на все лады застучали звонкие топоры. Для новой избы бывший старшина выбрал самое красивое место: на высоком берегу речки, посреди брошенного яблоневого сада. Работали в четыре руки: дед Степочка тоже воодушевился, забыл про свои годы и так играл топориком, что любо-дорого было на него глядеть.

Уже возводили четвертый венец, когда к ним пожаловал председатель.

— Это что же вы тут, граждане, делаете?

— Не видишь, — ответил дед Степочка, — аэродром строим.

— Но в Лупановке строительство запрещено!

— Почему? — в упор спросил его Заграй.

— Сносить будем деревню, умирает она.

— А чего это вы все в яму деревню толкаете? — взорвался дед Степочка. — Скорой смерти ей желаете! Умирает, но еще не умерла! Рано хоронить-то!

Но председатель оборвал деда Степочку.

— Если вы действительно хотите у нас обосноваться, — сказал он, обращаясь к Заграю, — так стройтесь в поселке. Будем только приветствовать. Колхоз поможет.

— Никакой мне помощи не нужно, — ответил Заграй. — А в поселке? Я был у вас там. Разве сравнить? Ни одного деревца. Сплошной камень. Камней и в городах хватает. Коробки в пять этажей. Разве ж это деревня? А тут, смотрите, сколько простору! Красота!

— Так-то оно так, — задумчиво проговорил Иван Петрович, — однако по перспективному плану развития колхоза...

— План для людей, — опять вмешался дед Степочка, — а не люди для плана. Ну и что, если Фроська не хочет в поселок идти, свое подворье бросать, где предки ее аж до которого колена?..

— Ну, хорошо, — смягчился председатель, — постройтесь. Так и будете жить одни в деревне?

— Я построюсь, — сказал Заграй, — может, и другой кто захочет. Глядишь, и возродится деревня. Деревню-то надо спасать, а не уничтожать.

Он повел вокруг себя рукой:

— Представляете, вдоль реки целая улица добротных деревянных домов — коттеджей. С газом, с водопроводом. Да люди бы сюда валом повалили. Из городов, не то что из поселков. И назвать бы эту улицу — Соловьиная.

— Это уж точно, — мечтательно произнес Иван Петрович, — соловьи тут поют... завлекательно!

— Вот видите...

— А если по шапке? — спросил председатель. — Мне таких соловьев навешают, что не образумишься.

В общем, так и уехал ни с чем председатель, на прощанье Иван Петрович предупредил:

— Как правление колхоза решит. Разрешит строительство — стройтесь, нет — на меня не ссылайтесь. Я вас предостерегал.

— Ладно, катись... предостерегщик, — вслед отъезжающей машине бросил дед Степочка и снова взялся за топор. — Ничего они с нами не сделают, — убедил он Загряя. — Построим избу, не станут же ее рушить.

— Пусть попробуют!

Теперь, предупрежденные председателем, они еще больше заторопились. И дети, и сама Фрося — все помогали строить. Работали споро, дружно, изба поднималась как над дрожжах — венец за венцом.

Два раза в деревню наведывался Василий и оба раза не заставал Фроси. Она на телятнике была в это время. Но ей передали. Дескать, грозил муж разводом, а еще говорил, что и новой избе несдобровать. Фрося лишь усмехнулась на эту угрозу. За последнее время она словно забыла про Ваську. Пускай бесится, раз еще не набесился. Пора бы и остепениться, ведь накуролесил на своем веку. К тому же она узнала, что Васька ввел в свою новую квартиру почтальонку Зою, а Зоя не только Ваську потчевала каждый день «блондинкой», но и сама с ним из одного стакана потягивала.

«Ну и ладно, — думала Фрося. — Вот и подобралась парочка — баран да ярочка».

Фрося почти забыла о нем, но Василий все же еще раз о себе напомним. Прикатил как-то уже под вечер, и не на чем-нибудь, а на бульдозере. Фрося с Юлюшкой в огороде копались, морковку пололи. Вдруг загремело над речкой. Смотрят, а бульдозер по дороге прет, к их усадьбе сворачивает. Не успели опомниться, как Васька развернул бульдозер и двинулся прямо на печку.

— Ты что, бес, делаешь? Печка тебе мешает? — крикнула Фрося и остановилась перед ней. Дескать, если нет у тебя совести, давай и меня вместе с печкой с лица земли скovyривай.

Юля тоже заплакала, закричала. На их крики прибежал с места строительства дед Степочка. Сразу же оценив обстановку, стал рядом с Фросей, сказал с угрозой Василию:

— Печку не трожь! Не тобой сложена!

— Может, тобой? — захохотал Василий. — А ну, уходи с дороги! Зашибу!

— Шибай! А ее рушить не дам!

Дед Степочка так смело двинулся на Ваську, что Фросе вдруг подумалось...

«А что? Все сходится. Долго отсутствовал. Вернулся. Про родинки говорил. Как же это я раньше не догадалась?»

— Так это ты, дед Степочка? — тихо спросила Фрося. — Твоя это печка?

И дед Степочка, опустив голову, признался:

— Моя.

Он стянул с головы картуз и так стоял перед Фросей, будто прощения у нее просил.

— Мама так тебя ждала. Что ж ты не приходил? — спросила Фрося.

— Пришел вот.

— Поздно, — вздохнула Фрося и добавила: — Не надо было тебе вообще уходить — вот что!

— Так ведь она велела, — попытался оправдаться дед Степочка.

— Мало ли что велела? А ты и послушался... Не слову верь, а сердцу.

Василий глазами лупал — ничего не понимал. О чем они? Понял лишь одно, что с бульдозером ничего у него не получится. Не давить же людей, в самом деле. Еще отвечать придется. В его затуманенной голове ворочался, созревал другой план. Что, если зайти с тыла? Так, чтобы никто не заметил. Правда, Юлька все время вертится под ногами, но Василий молча пригрозил ей кулаком.

Воспользовавшись тем, что жена стоит и тихо беседует о чем-то с дедом Степочкой, Василий обогнул стороной двор, сад, зашел со стороны речки. Приставив к печке какую-то обгорелую бочку, он тихонько влез наверх — здесь его уже никто не достанет — и принялся за трубу. Он надавил на нее плечом, но труба не поддавалась. Неужто придется разбирать ее по кирпичику? Но такая длительная работа в планы его не входила.

«Динамиту б достать, — мечтательно подумал Василий. — Вот бы рвануло! Но где его достанешь?..»

Так он стоял на печке и размышлял, пока не почувствовал, что она вдруг вздрогнула под ним и поехала.

А это дед Степочка. Увидел, что Васька перехитрил их, решил свой резон выставить.

— Ах так? — сказал он. — Ну, тогда покрутись маленько.

Он все сильней и сильней крутил ручку, и печка за-
вертелась на колесе.

— Останови! — закричал Василий, ухватясь за тру-
бу, чтоб не упасть.

— Нет, ты покрутись! Покрутись!..

Наконец печка не выдержала и рухнула вместе с
Василием.

— Ну, добился своего? — спросила Фрося, когда он,
красный от кирпичной пыли, выполз из-под обломков. —
А теперь давай отсюда, чтоб я тебя век не видела. Да
побейте, пока я добрая...

Когда Василий, ругаясь самыми черными словами,
укатил прочь на своем бульдозере, Фрося опустилась на
обломки кирпичей, заплакала.

— Не уберегла я печку, не уберегла. Мамушка, род-
ненькая, ты уж прости меня, горькую...

Она плакала и плакала, не могла успокоиться, хоть
дед Степочка и утешал ее:

— Не плачь. Не убивайся. Старое и должно умирать.
Чтоб новому жизнь дать. А ты... воспари душой! Над су-
толокой всей жизни — воспари! Мать не сумела себя
превозмочь, так хоть ты... Не заковывай сердце в канда-
лы. Дай душе воспарить — Фросюшка...

— И воспарю! — все еще плача, пообещала деду Сте-
почке Фрося. — Воспарю...

Подходило к концу лето, листья на деревьях стали
уже понемногу желтеть. Зато в саду налились и созрели
яблоки, груши, вишни и сливы. Правда, собирать их бы-
ло некому, и они обреченно падали в траву, никому не
нужные.

Днем и ночью плыл над Лупановкой сладко-притор-
ный запах гниющих плодов. Кто и оставался еще живой
в деревне, тем было не до сбора яблок и слив. У них бы-
ли дела поважнее. И настал наконец день, когда быв-
ший старшина Иван Иванович Заграй распахнул перед
Фросей двери новой добротной избы.

— Будь добра, заходи и будь в доме хозяйкой!

Фрося зашла и увидела широкую белую печь, стоя-
щую как раз посредине избы.

— На колесе? — робко спросила она.

— На колесе.

— А где же ручка?

— Зачем ручка? — ответил Заграй. — Век техники.
Я ее на фотоэлементе сделал.

— Как это?

— Подойди и скажи: «Печка, печка, повернись!»

— И повернется? — не поверила Фрося.

— Попробуй.

Она подошла к печке и открыла уж было рот, но испугалась чего-то.

— Нет, не могу...

— Ну, чего ты, мам?

Дети обступили ее, тянули за руки.

— Мы уже пробовали. Скажи, не бойся.

Дед Степочка тоже принялся уговаривать:

— Не робей, Фросюшка. Чего испугалась-то? На трибуне и то не сробела, а тут...

Но Фрося никак не решалась. Позади себя она услышала скрип отворяемой двери и обернулась. На пороге стоял Василий. Вид у него был как у побитого, но все еще задиристого петуха. И тогда Фрося решилась:

— Печка, печка, — сказала она, — повернись ко мне передом, к Ваське задом. — Печка, чуть помедлив, неслышно поехала вправо. — Ой, мамушки мои! — всплеснула руками Фрося. — Да что ж это такое? Чудо, да и только!

Заграй стоял у окна, делая вид, что все это вроде его и не касается. Фрося подошла к нему и удивленно, словно бы впервые взглянув на него, спросила:

— Это ты сам сделал?

— Сам, — ответил тот.

— Для меня?

— Для тебя.

— Ой, Ваня! Значит, не даром я тебя во сне видела! А усы? Усы ведь можно и отрастить, правда?

— Отращу, — пообещал Заграй, — и на трубе играть научусь. Чтоб все, как ты хочешь.

Фрося обняла его и тут же при всех поцеловала.

— Не надо ни трубы, ни усов. Я тебя и так люблю.

Только тут Василий, казалось, опомнился.

— Люди! — закричал он. — Где вы, люди? Смотри, что делают? Отца троих детей чести лишают! На глазах у родного мужа амуры устраивают! Так нет же! Не сдамся!

Он вышел на середину избы, стал перед печкой, широко расставив ноги, а руками упершись в бока.

— Печка! — приказал он. — Повернись ко мне передом, к Фроське задом!

Печка даже не шелохнулась.

— Шалишь! — пояснил ему дед Степочка. — Печка

ведь тоже себе на уме. Не на всякий голос откликается.

И сколько ни кричал, ни приказывал Василий, печка его не послушалась.

— Ну, убедился? — спросил его Заграй. — А теперь давай отсюда подобру-поздорову. И чтоб без всяких фокусов. Поизмывался над беззащитной женщиной — хватит. Теперь у нее есть защита. Смею думать — надежная!

Когда Василий ушел, Фрося затопила печку, напекла блинов — новоселье отпраздновать.

Дед Степочка принес клюквянки, старая Анисья банку маслят собственного засола. Надо уже за стол садиться, хватились — Оксанка куда-то исчезла. Ну, где она опять, бедолажная? Искали, звали — нигде нету.

— Ладно, — сказала Фрося, — садитесь за стол. Семеро одного не ждут. Пускай только заявится, уж я накормлю ее березовой кашей!..

Все ели блины и похваливали: вот какие вкусные печка печет. А потом уже и хвалить перестали — некогда стало. Успеть бы в сметану блин обмакнуть, да в рот, пока горячий. Тишина установилась за столом. И вдруг в этой тишине раздался голос:

— Печка, печка, повернись к добру передом, ко всякому злу задом!

Вначале никто не сообразил, чей и откуда этот голос, лишь Фрося догадалась, блин из руки выронила.

— Оксанка, ты? Неуж заговорила? О, мамушки мои! — Она кинулась на печь, где, спрятавшись за трубой, сидела Оксанка, принялась обнимать ее, целовать. — Умница ты моя, разумница. Целый год молчала. Заговорила наконец! Правду ты, дочунь, сказала: пусть наша печка только на добро откликается. Ах ты, моя ясынька, ах ты, моя родная... Ну, скажи еще что-нибудь, ну, скажи!

Но Оксанка молчала. Неужто опять замолчала на целый год?

Фрося взяла ее к себе на руки, прижала к сердцу.

— Спи, дочунь, спи. И пусть тебе приснится счастливый сон. Будто печка — это наш пароход. И мы плывем на нем, плывем. Далеко поплывем. И найдем колодец с живой водой. И замесим на той воде тесто. Напечем блинов. Много, много. На весь мир, на всех добрых людей. Заходите к нам в дом, люди добрые. Угощайтесь. Для хороших людей не жалко. Ну, что же вы стесняетесь, берите, ешьте, на всех хватит...

Живые памятники

Повесть

А дубы не сбрасывают своих листьев на зиму. Пожухлые, обмертвелые, бьются они на ветру, жестко шелестят в мороз, но на сучьях держатся стойко, и так до самой весны, до теплых деньков, а как задышит земля, напившись талыми водами, распрямит свои плечи могучий дуб и начнет ронять лист на зеленеющую под ним землю, один за другим, один за другим.

Листья летят плавно, кружатся как во сне, заколдованные вольным запахом весны, сиянием крутого неба, пеньем жаворонков, что маленькими точками вбуравливаются в вышину.

Мурлычет у корневищ ручей, и листья падают в него, вода на бегу подхватывает их и несет в далекий океан. А дубы, сбросив по весне старые листья, еще долго будут стоять в раздумье: начать им зеленеть иль подождать немного. Видать, такой у них характер — неторопливый, крепкий.

Растут дубы медленно, приживаются трудно. Может быть, поэтому и родилось у нас такое поверье: уходя на войну, человек сажает в землю дубок. Приживется дубок, значит, вернется с войны солдат. А не приживется...

1

Боже мой, неужели бывает на свете такая тишина?! Федор спрыгнул с попутки и остановился, пораженный: кажется, за всю свою двадцатипятилетнюю жизнь он не слышал такой тишины, когда не хрустнет ветка, не прошумит ветер, не засвистит птица — тишина. А может, он просто-напросто оглох? Но нет, вот стрекотнул в траве кузнечик, вот пчела пролетела. И снова тихо. И тогда он закричал — не выдержал этой тишины: «Эге-ге-эй!» Прислушался. Но даже эхо не ответило на его крик, утонуло где-то за лесом.

Федор радостно засмеялся, вскинул на плечо вещ-

мешок и прямиком, через луга, зашагал в родную деревню.

Он шел, сбивая сапогами капли росы, но будто не шел, а летел. Невидимые крылья несли его, и ветер подгонял в спину — домой! Каждая травинка на лугу, каждый лозовый куст у дороги радостно кивали ему — домой, домой! И в лад шагам позвякивали ордена и медали у него на гимнастерке — домой, домой, домой!

Но, чтобы пройти в деревню, нужно было обойти курган с дубравой. Деревья здесь росли разные: молодые и старые, еще с войны восемьсот двенадцатого года, а то и старше. Старые уже еле стояли, кряжистые, дуплистые, готовые вот-вот рухнуть, но их подпирали молодые — крепкие. Так и шумела эта роща как живой памятник тем, кто ушел на войну.

Как ни торопился Федор домой, к жене, а пройти мимо рощи не смог. Захотелось взглянуть на дубок, который посадил он сам четыре года назад. Четыре года...

Заросшей тропинкой он поднялся на курган, стал искать свой саженец. Вокруг шумели дубы, только что зазеленевшие после зимней спячки. Один, самый старый, рухнул, подмяв под себя молодой. Чей же это? Теперь и не упомнишь. Хоть бы свей найти, и то ладно. Помнится, рядом канавка была, а напротив — большой черный камень с раздвоенной макушкой. Камень был на месте, хоть и зарос чернобыльником. Вытоптав чернобыльник, Федор нашел наконец и свой дубок. Был он еще совсем мал, но корявенький ствол его стоял ровно, крепко держась за землю упругими корнями.

Федор погладил рукой зеленые, еще клейкие листочки, подгорнул под ствол прошлогодней сухой травы, сел.

— Прижился все-таки... Ну, молодец!

Сидя сейчас подле дубка, Федор вспомнил тот ясный летний день, когда он возвращался с сенокоса. Шел усталый, но бодрый, потому что светило солнце и на душе было радостно от хорошо выполненной работы, — повалил небось чуть не полгектара травы. Придет домой, позавтракает и — снова на луг, теперь уже вместе с женой Ариной. На околице деревни он увидел ватагу ребятишек, которые играли в чижики, кричали наперебой:

— Ванька, дай дарку!

— Козла те сушеного!

— Пусть повадит, пусть повадит!

— Берегись!

Соседский мальчишка Ванька, длинноногий, рыжий, как цветущий подсолнух, размахнулся, чтоб ударить по чижу, да так и замер с поднятой битой, потому что услышал голос матери:

— Ванька, родимец тебя забей, иди домой — война началась!

Так услышал тогда Федор о начавшейся войне и сначала даже не поверил: чепуха какая-то, но, войдя к себе во двор, по лицу Арины догадался: в самом деле — война.

Арина стирала белье, развешивала его на веревке, увидела мужа, повисла на нем:

— Феденька, голубчик, как же это, а?

Ничего не ответил ей тогда Федор, лишь молча обнял одной рукой, потому что в другой была коса. Потом прошел в сени, спрятал под стрехой косу, взял лопату.

— Пойдем, — позвал он.

— Куда? — вскинулась Арина.

— Поищем дубок.

Они вскинули на плечи лопаты и пошли деревней туда, где синел за околицей лес. Деревня гудела как растревоженный улей: мычали коровы, кудахтали куры, бабы причитали по своим мужьям, а они шли тихие, спокойные, молчаливые, будто война их вовсе и не касалась. Скоро деревенские шумы исчезли, стало так тихо, что даже не верилось: неужели где-то уже идет война? Даже птицы и те примолкли, лишь одинокий зяблик пел: «Трень, трень, фиуть...»

Арина, задрав вверх голову, долго слушала зяблика, как он деловито пел, словно и не пел, а про свою жизнь рассказывал.

В густой некошенной траве на опушке леса много всяких деревцев: маленькие осинки и березки, молоденькие, красноватые липки и заневестившиеся уже рябинки, а вот дубков не было. Так они и шли вдоль опушки, зорко вглядываясь в лесную поросль, пока Арина, будто споткнувшись обо что-то, не вскрикнула:

— Нашла,шла!

Крохотный дубок рос на самом краю канавы и был даже не похож на дуб, лишь кожа ствола — темная и блестящая — выдавала в нем будущего владыку леса. Но Федор обошел вокруг дубка, забраковал:

— Слаб. Может не прижиться.

И они отправились дальше. По дороге спугнули невзначай серого зайчонка, и Федор в азарте захлопал себя по коленкам:

— Эх, жаль, ружье с собой не прихватил.

А Арина пожалела:

— Пусть побегает, мал еще.

В конце концов они все же нашли дубок. Правда, и этот был кривобок, неказист, но Федор, ухватив за ствол, попытался его вырвать и не сумел, позвал жену:

— Ариш, помоги-ка.

Вдвоем они подкопали землю вокруг дубка, потом подхватили руками и вырвали из земли, а чтоб корешки не засохли, завернули их в мокрый мешок.

Вернувшись на курган, они аккуратно посадили дубок, и Федор сказал не то ему, не то Арине:

— Жди!

Вот и дождался дубок.

Федор еще раз погладил его рукой, подмигнул деревцу: дескать, живем! — и спустился с кургана. Теперь уж до дома было рукой подать, и он пошел-побежал, не в силах сдержать своей радости, что вот он, здоровый, живой, идет домой, где его ждут.

А дома, оказывается, не ждали.

Жена Арина, увидев его на пороге, сначала испугалась, но тотчас же кинулась к нему на шею, заголова на всю избу: «А, Феденька, а, родненький!» Но, обнимая жену, прижимая ее тело отвыкшими от ласки руками, Федор вдруг ощутил крепкий, вздувшийся под кофтой живот, отшатнулся, как от чумной:

— Так вот как ты меня ждала!

Арина ойкнула, упала на колени, стала целовать его ноги.

— Феденька, прости. Прости, коли можешь...

Он рванул ворот гимнастерки — стало трудно дышать.

— И ты еще смеешь просить прощения?

Она будто не слышала. Ползала по полу, поддерживая руками живот, молила:

— Прости, прости...

Обойдя жену, Федор прошел в красный угол, упал головой на стол и вдруг захохотал. Будто дробь автомата рассыпалась по избе, а вслед за ней всхлипы, как одиночные выстрелы из винтовки.

— Мы там на фронте кровушку свою... За них же, за них! А они...

Федор бился головой о столешницу, и Арина не могла понять: хохочет он или, хохоча, плачет. Она подошла к нему, взяла руками его голову, сберегая от ударов, хотела прижать к груди, но не посмела. И так, держа его голову на весу и заглядывая ему в глаза, горячо и сбивчиво зашептала:

— Свет ты мой... Сокол ясный... Не надо так. Не убивайся попусту. Главное-то: живой! Ну и живи! А я уйду... Пропаду с глаз твоих. Главное-то: живой! Феденька!

Трясущимися руками она достала из-за пазухи узелок, с трудом развязала его и протянула Федору аккуратно сложенную казенную бумагу. Бумага извещала, что гвардии рядовой Житушкин Федор Иванович пал смертью храбрых двенадцатого апреля одна тысяча девятьсот сорок четвертого года.

...Двенадцатого апреля — для Федора памятный день. Он и в самом деле мог тогда погибнуть, ведь погибли все из его батальона. Приказ был коротким и ясным: взять высоту. Взять, несмотря ни на какие потери.

Какое было тогда теплое, свежее утро, от маленькой речушки перед высотой поднимался синий, весенний туман, и каждый знал, что это, может быть, последнее его утро, последний в его жизни туман...

Земляк и друг Федора Венька Карташев, помнится, подполз к нему и, подмигнув хитро, предложил:

— Давай, Федюха, обманем смерть, а?

— Как это?

— Махнемся кистами. Мне еще дед рассказывал. Смерть солдата как находит в бою? По кисту. А мы с тобой карты ей все перепутаем. Давай?

— Давай, — согласился Федор и попросил Веньку: — Только ты мой кiset обязательно сбереги, мне его жена подарила.

— Ладно, сберегу...

Не сберег Венька кiset. Эх, Венька, Венька... Весельчак был, гармонист, каких поискать. Как развернет, бывало, мехи: «Ванька-ключник, злой разлучник, разлучил князя с женой...» Это, говорит, про меня песня написана. Жаль только, что князей в революцию извели, а то бы я их всех поразлучал с женами... Правда, на войне ему пришлось немного поунять свою прыть, но даже на фронте он нет-нет да и приласкает

какую-нибудь медсестричку. Он и Федора не раз корил: «Жаль мне тебя до слез, очень уж ты строгий, все блюдешь себя для Аринушки, а она, может быть...»

Не стерпел Федор, и хоть был ему Венька закадычным другом, а врезал ему по загривку: «Всех на свой аршин не мерь!» Венька не обиделся. Только и сказал: «Поживем — увидим». А пожить и не пришлось. Не сумели они обмануть смерть, и там же, на высоте, когда бежал в атаку, мельком увидел Федор, как упал Венька лицом в землю. А Федор еще продолжал бежать, и стрелять, и кричать «Ура». Вокруг один за другим падали солдаты, упал и лейтенант — Федор все равно бежал, не мог остановиться. И наступило такое время, когда он остался на высоте один. Оглянулся — никого: ни наших, ни немцев. Стало быть, высота все-таки взята? Но не успел он порадоваться этому, как ощутил горячий толчок в грудь. Падая, он увидел заходящий край солнца, и показалось ему, что это не солнце, а алый кисет, который он отдал перед боем Веньке. Раненый, истекающий кровью, он думал про этот кисет и все сокрушался: зачем он согласился поменяться им с Венькой? Ведь все равно не перехитрили смерть, и она, стерва, нашла их, сперва одного, а теперь, глядишь, и другого...

Лишь под утро очнулся Федор, услышав над собой голос санитаря:

— Стойте, братцы, этот, кажись, живой...

Федор остался жить, хоть в казенной бумаге черным по белому и было написано, что он пал смертью храбрых. И, сидя сейчас за столом своей избы, он, словно бы оправдываясь, произнес:

— Но ведь я живой... Живой, понимаешь?

А больше и не знал, что сказать.

— Ну и слава богу, — сказала Арина. — А про другое и думать не могли. Живи. И жизни радуйся.

Она отошла в угол, к сундуку, стала вынимать вещи.

— Вот тебе рубаха постиранная. В баньку сходишь, переоденешься. Не век же в гимнастерке... А вот штаны почти новые. Помнишь, перед самой войной купили? Вот только пуговочка оторвалась...

Она мигом нашла иголку, вдела нитку, но, пришивая пуговку, больно уколола себе палец.

— Ох я, неумеха...

Свои две кофты, юбку, платье с оборками она увя-

зала в большой с кистями платок, вскинула узел на плечи.

— Прощай, Федя.

— Куда ты? — выдавил из себя Федор.

— К отцу пойду. Родная кровь, небось не выгонит.

Федор тяжело поднялся из-за стола:

— Да куда тебе... с дитем? Уж лучше я уйду.

— Нет, нет! — крикнула Арина и уже тише добавила: — Твоя изба, ты и живи. А я... Как пришла сюда, так и уйду. Скатертью мне дорожка...

Только теперь Федор разглядел жену: маленькая стала, как подросток, с худым, запавшим ртом, с заострившимся лицом. На лице одни глаза: огромные, виноватые. А ведь он видел эти глаза радостными, счастливыми, когда целовал ее там, на кургане.

Спазмой сдавило горло, в голове помутилось. Но он все же взял себя в руки, спросил:

— Ну, а он где?

— Кто? — не поняла Арина.

— Ну, этот...

Она вздохнула и, глядя куда-то в угол, проговорила:

— Нету его. Никогда не было...

— Выходит, ветром занесло?

Арина с укором глянула на него, дескать, что говоришь-то, и пояснила:

— Приезжий один. Уполномоченный. Квартировал у меня. Да ты не думай о нем. Я и сама-то не знаю, как это случилось. Знаю, что не любила. Видно, беспутал. Когда опомнилась, хотела руки на себя наложить. Да пожалела. Ребеночка пожалела. Пускай, думаю, родится. Все ж не одной век вековать. Да и грех. Дите ведь... Чем оно виноватое? Ну скажи — чем? — Стоя у порога, она протянула к нему руку, будто прося поддержки, но он стоял неподвижно, не трогаясь с места, и рука ее обвисла, как срезанный серпом колос. — Пойду я. Не поминай лихом...

— Постой! — сказал Федор, а когда она с надеждой обернулась, добавил: — Поешь дай. Голодный я...

Обрадованная, Арина скинула с плеч узел, отодвинула заслонку, достала из печки чугунок с картошкой.

— Вот я какая бестолковая. Совсем обезумела. Первым делом — накормить солдата. — Потом, сидя за столом, накрытым чистой вышитой скатертью, она сама ничего не ела, все его потчевала: — Ешь, голубчик, ешь. Как знала — картошки наварила, хлебца испекла.

Правда, с мякиной хлебушек, а все ж червяк заморить можно. Вот лучок с грядки. Обживаемся, слава богу. Теперь уже не гроза. Войну пережили, а теперь... Были б кости целы, а мясо на живой кости нарастет. Так ай не? — Передохнув немного, стала рассказывать про колхоз: — Яровые уже посеяли. По горсточке семена собирали. Тут горсточка, там горсточка. Теперь картошка осталась. Как-нибудь до осени перебьемся. Сви- нью одну сберегли, всей деревней кормили. Худая, как оглобля, а все ж четырех поросятков принесла...

Федор смотрел на нее и не понимал: о чем это она?

Про свинью какую-то рассказывает, про поросятков...

От вкусной домашней еды, от тепла избы, от голо- са жены — ласкового, чуть шепелявого — Федора со- всем разморило, потянуло в сон. Он заснул прямо за столом, положив голову рядом с круглым душистым хлебом, и уже сквозь сон слышал, как кто-то заходил в избу, знакомым голосом спрашивал:

— Вернулся солдат?

— Спит, бедолага,

— Ну-ка, разбуди!

— Да ты что? Пусть отдыхает...

— Разве время сейчас отдыхать?

— То-то, что время. За четыре года, чай, умаялся...

А потом уж ничего не слышал, потому что густая черная шпрейская волна захлестнула его, потянула на дно.

— Кто умеет хорошо плавать, шаг вперед! — ско- мандовал лейтенант.

Федор еще ничего не успел сообразить, а шагнул, ведь он и в самом деле хорошо плавал. Шагнул и лишь потом подумал: «А зачем?»

— Нужно переправиться на тот берег, замаскиро- ваться и оттуда вести корректировку наших батарей. Все ясно?

— Ясно!

— Ну, а раз ясно — выполняйте!..

Если бы он знал заранее, что все так получится, он бы ни за что не признался, что умеет хорошо плавать. Одно дело ведь просто так, купаясь, плыть, а другое — при полной амуниции, под огнем противника. Намок- шая в студеной весенней воде одежда тянула его на дно. Он изо всех сил бил по воде руками, ногами, — чтобы удержаться на поверхности, — захлебывался и все-таки плыл, не слыша ни разрывов снарядов, ни сви-

ста пуль, — плыл, потому что до смерти не хотелось ему утонуть в этой черной чужой воде.

До противоположного берега осталось не так уж далеко — он увидел этот берег в свете взлетевшей ракеты, но лучше б и не увидел, потому что последние силы оставили его. «Все — тону». И вдруг ноги его почувствовали дно, а в сознании — толчком — вспыхнула и затрепетала надежда: а что, если пройти по дну?

Собрав остаток сил, он рывком оттолкнулся от дна и вынырнул, хлебнул воздуха и снова ушел под воду. По дну он снова шагнул два раза и снова вверх — на воздух. И так шаг за шагом он медленно, но упорно продвигался к берегу. Это продолжалось долго, мучительно долго, а может, ему так казалось. И наступила минута, когда он наконец понял, что выплыл, что спасен.

Это было чудом, что он все-таки выплыл, переправился через реку, ставшую линией боя, чтобы уже с того, еще чужого, берега вести корректировку огня. И он вел ее, под пулями, под разрывами снарядов, под слепящим огнем своих и вражеских ракет, пока не ослепило совсем. Жгучим огнем полоснуло по телу, потом где-то далеко-далеко, будто в громе, раскололось небо.

...Очнулся Федор в госпитале. Здесь он узнал, что наши части форсировали ту злосчастную реку и ушли дальше на запад. Лишь Федор не мог никуда уйти от этой реки — с тех пор он почти каждую ночь все плыл и плыл через нее, проклятую, и все никак не мог выплыть...

...Федор открыл глаза, увидел над собой желтый, весь в суковатинках потолок.

— Ух, — обрадовался он, — кажись, выплыл.

Лежал он на кровати, утопая в мягкой перине, и медленно отходил от сна, вспоминая, где он и что с ним произошло.

Голова гудела от тяжелого сна. Он повернулся на бок, оглядел избу. Уже солнце пробивалось в окна, золотило чисто вымытый пол, хотя по углам еще и лежали ночные туманные тени. А где же Арина? Приглядевшись, он увидел ее лежащей на диване. Свернулась калачиком, прикрыв тело полушубком. Коса ее растрепалась во сне, рассыпалась по белым голым плечам. И, глядя на эту косу, Федор так ясно вдруг вспомнил...

...Вернулся он тогда с финской войны и тут же свалился с воспалением легких.

Федор лежал в закутке, отгороженном от света сит-

цевым пологом, но все рвался куда-то: стрелять, рубить, уничтожать проклятых врагов.

Лишь на третью неделю отступили враги, и тогда, измученный, обессиленный неравной борьбой, Федор открыл глаза. Первое, что он увидел, была коса, пушистая и золотая, как лен. Она качалась прямо перед его лицом, застя собой весь белый свет. Слабой, непослушной еще рукой он отвел от лица эту косу и увидел девушку, испуганно глядевшую на него.

Федор хотел спросить, кто она и откуда, но губы его запеклись от жара. Он только и смог прошептать:

— Пить.

— Сейчас...

Девушка скрылась за пологом, но тут же опять появилась, принесла кружку воды, а когда наклонилась над ним, коса съехала с ее плеча, упала ему на шею, и Федор тихонько рассмеялся.

— Ты чего? — удивилась девушка.

— Щекотно.

Федор пил воду и глядел на девушку. Ему хотелось сейчас только одного, чтоб вода в кружке никогда не кончалась. Когда же она все-таки кончилась, он облизнул губы, спросил:

— Ты чья?

— Ничья, — ответила девушка и отвернулась, пряча лицо за цветастым пологом. Но вдруг быстро наклонилась к самому его уху, горячо прошептала: — А хочешь — твоей буду? Потому что люблю тебя без памяти!

Он задохнулся от этих слов, от этого внезапного признания, не поверил:

— Как — любишь?

— Давно люблю, — сказала она. — Когда ты еще на войну уходил, следом за тобой бежала до самой станции. А ты даже не оглянулся!

Она еще что-то хотела сказать, но застеснялась, крутанулась на одной ноге и исчезла. Только полог колыхнулся за ней. А вместо нее наклонилась над Федором мать, погладила его по стриженной голове, запричитала:

— Знать, услышал господь мои молитвы, вернул мне сыночка с того света. Знать, угодила я господу богу, сжалился он надо мной, убогой, сирой...

Переждав, пока мать отголосила, спросил у нее:

— Это чья же такая?

— Арина. Дядьки Нестора дочка. Неужто забыл?

— Не забыл. Не узнал просто.

— Да где узнать-то? — подхватила мать. — Вон как выросла. Совсем невестой сделалась. А уж такая ласковая да послушмяная. С того света тебя выкарабкала. Разве б я одна справилась? Она и баньку вытопила, и помыла тебя. Так веничком отласкала...

— Веничком?

Ему стало стыдно, нестерпимо стыдно за свое изможденное, высохшее тело, и он упрекнул мать:

— Зачем баньку-то?

— А как же! — тут же откликнулась она. — От хвори банька — первое дело. А Арина моет тебя и приговаривает: «Как с гуся вода, так с Федора нуда». Глядишь, и помогла банька. Сразу очухался.

Когда мать ушла, он тихонько позвал:

— Аринушка! Где ты?

— Да здесь я. Ой, Федя...

Она припала к его плечу и заплакала. Он гладил ее по волосам, заглядывал в глаза, в которых, несмотря на слезы, светилась радость. Потом взял ее руки, прижал к своим воспаленным, потрескавшимся губам и бережно поцеловал.

Арина удивилась:

— Ты что это сделал?

— Поцеловал тебя...

Потом, выздоровев, Федор чуть не каждую вечернюю зорьку бегал на курган, где Арина ждала его. Она была веселой, смешной, шаловливой. Носилась меж дубами, собирала упавшие желуди, нанизывала их на нитку — бусы делала. А то, бегая, вдруг замирала на мгновение и, подняв брови, потешно округлив глаза, прислушивалась к чему-то.

— Ты чего? — спрашивал Федор.

— Слышишь, как ветер гудит? «Чу-чу-чу, я горох молочу». Только где он столько гороху берет?

Она раскидывала в сторону руки, словно подставляла их ветру, и кидалась вниз с кургана.

— Куда ты, стой!

— Догони!

А когда Федор догонял ее и ловил, Арина прижималась к нему всем своим разгоряченным телом, просила:

— Поцелуй меня, зацелуй до смерти, а то чует мое сердце недоброе.

Федор целовал, утешал, как мог, пока однажды не застал на кургане их дядька Нестор. Ни слова не говоря, он выхватил из-за спины дробовик и направил на Федора. Лежать бы ему тогда с простреленной грудью, если бы не Арина. Коршуном кинулась она на отца, загрозила собой Федора.

— Меня, батя, убей, а его не тронь. Он ни в чем не виноват, я одна во всем виноватая.

Дрогнули руки у Нестора, опустили дробовик.

— Ладно, — сказал он с угрозой, — его не трону. Еще отвечать придется. А тебя, блудница, завтра же засватаю за дельного мужика. Ишь, срамота, нашла с кем путаться... С босотой...

Дядька Нестор сдержал свое слово, и неделю спустя Арину и в самом деле засватали за Ваську Красункова. Отца Васьки раскулачили, а сам он как-то отвертелся — дескать, давно с отцом в разделе и платформу большевиков признает всей душой.

Три дня и три ночи билась в слезах Арина, не хотела идти за Ваську, все отца умоляла отдать ее за Федора. Но тот стоял на своем, характер, знать, свой выказывал.

Назначили свадьбу. Только и Арина оказалась с характером. Прямо со свадьбы сбежала — в одном легком платье.

Мороз на дворе стоял лютый, праздник зимнего Николы справляли. Стены от мороза трескались. Вбежала к Федору в избу, заледенела вся от холода.

Федор в те поры ходил к колодцу за водой, вернулся — Арина на печке сидит, не своим голосом просит:

— Феденька, ты дверь на засов запри да собаку с цепи спусти, не то они силком меня с твоей печки стянут и замуж отдадут за нелюбимого...

Сейчас Федор вспомнил все это, и руки его невольно потянулись к жене, к ее голым плечам, к косе, разметавшейся на подушке. Он уже встал и подошел к дивану, но вдруг его взгляд упал на окно, за которым возвышался курган и шумела дубовая роща. Вон сколько их не вернулось с войны, полегло в боях. Простить? За себя-то он, может быть, и простил бы... А как быть с ними? Как быть с Венькой Карташевым, с Володькой Спириным, с Тимкой Горбачевым? Со всеми теми, кто уж никогда не вернется ОТТУДА и потому не сможет простить. Как быть с ними?

Перед памятью их имеет ли он право на прощение? Нет у него такого права.

Он еще раз взглянул на жену, безмятежно раскинувшуюся во сне.

«Убить ее мало!»

Схватил вещмешок и выбежал на крыльцо.

Собака кинулась ему под ноги, завизжала от радости, завиляла хвостом и все подпрыгивала, пытаясь лизнуть горячим языком его руку.

— Дуська, узнала... Ах ты, моя лохматая...

Он потрепал собаку по загривку, ощущая под пальцами худые ее косточки, и легонько оттолкнул от себя, — дескать, пошла прочь, разошлись наши с тобой дорожки. Но Дуська не слушалась, не уходила и все время заглядывала в глаза, будто хотела сказать ему что-то ласковое, утешить его.

— Эх ты, собачья душа, а понимаешь...

С крыльца своей избы он взглянул на деревню. Солнце уже поднялось высоко и заливало ее всю теплым ласковым светом. Избы, обсаженные деревьями, были похожи на зеленые островки. Островки эти словно плыли куда-то.

«Смотри-ка, — подумал он о деревне, — два фронта прокатилось по ней, а выжила, уцелела».

Он знал свою деревню до каждого проулочка, до каждого закутка, он бегал по ней еще без штанов и вот теперь должен уйти из нее. Надолго? Может, и навсегда.

Федор опустил голову и шагнул с крыльца. Дуська снова кинулась ему под ноги, завизжала, постанывая, потому что Федор нечаянно отдавил ей лапу.

— Ладно, Дуська, прости... Да не визжи, не рви ты мне душу...

Он шел деревенской улицей и удивлялся: деревня была пуста. Он прошел уже чуть ли не половину ее и никого не встретил: вымерла она, что ли? Или за войну люди рано вставать разучились?

Деревня показалась ему совсем крохотной, а ведь когда-то она была огромной, и Федор вспомнил, как однажды заблудился вот на этой деревенской улице. Было ему тогда года три-четыре, он пошел в гости к бабушке, жившей на другом конце деревни, и, когда возвращался домой, вдруг заплутался. Избы все одинаковые, с красивыми резными наличниками, с веселыми крылечками, на коньках которых сидели деревянные петухи. Эти петухи так и манили его, заманивали все дальше и дальше. А еще манили солнечные зай-

чки, которые прыгали прямо у него под ногами. Он ловил их ладошками, накрывал подолом рубахи, чтоб удержать на месте, но они вырывались и снова прыгали, будто дразнились: «А, не поймаешь...»

Скоро он совсем выбился из сил, ловя их, а когда оглянулся, то не узнал вокруг ничего. Избы словно выросли, стали, как стога сена, и деревья вытянулись, доставали своими макушками чуть не до неба, а небо было уже не голубым, а кроваво-красным. Соломенные крыши изб в этом небе горели зловеще, как на пожаре, и тогда Федя, испугавшись, закричал:

— Мама-ааа!

На его крик прибежала мать, взяла его на закорки и принесла домой, а дома как следует отдула, чтоб не уходил далеко.

Федя плакал, оправдывался:

— Я зайцев ловил.

— Каких еще зайцев?

— От солнышка...

Сейчас зайцы тоже прыгали у него под ногами, но ловить их уже не хотелось.

Но где же все-таки люди? И тут он услышал донесшийся из-за плетня смех. Даже не оборачиваясь, он узнал этот смех — тоненький, девчачий. Так смеяться мог только Кузьма, и Федор, обернувшись, тотчас же и увидел его, хотя узнать Кузьму в новом милицейском костюме было довольно трудно.

— Здорово, Федор! — сказал Кузьма.

— Здорово, Кузьма. А я тебя и не признал. Ты ли?

— А кто ж еще? — радостно выдохнул Кузьма, горделиво трогая кобуру на поясе. — Только я теперь не Кузьма.

— Как это?

— Теперь меня Валентином зовут. Прошу любить и жаловать. Валентин Спиридонович. А то все Кузьма да Кузьма...

— Ты смотри, — удивился Федор, — Валентин. Менял бы тогда уж и отчество.

— Тебе смешочки, — обиделся Кузьма, — а я из-за этого знаешь сколь потерпелся. С девушкой познакомишься: как зовут? Кузьма. Она и нос на сторону. Нет, думаю, шабаш, стану теперь Валентином.

Федор усмехнулся:

— А ты, я вижу, поумнел за войну. Раньше дурак дураком был.

— Ну, ну, ну! — вскинулся Кузьма-Валентин. — Что было, того уже не будет. Я никому не позволю! Не погляжу на твои ордена!..

— Правильно, не позволяй, — миролюбиво заметил Федор, — Валентин так Валентин. Шут с тобой.

— А ты куда это настропалился? — спросил Кузьма.

— В город.

— Пойдем вместе.

— А ты зачем?

— Вот чудак. Я ведь там живу. Приехал на денек матери помочь. Да пора уж на службу.

— Ну что ж? Пошли.

Кузьма трусил рядышком, то и дело похлопывая Федора по плечу.

— Ты правильно решил — в город. Что нам теперь деревня? Я тоже... Вернулся после ранения в сорок четвертом, как глянул... Мать честная! Как только тут люди живут? Посидел, покурил на крыльце и говорю матери: «Пойду-ка я лучше в город. На работу устройсь, потом и тебя заберу. Ни одного мужика в деревне. Что мне одному тут делать». Ну, пришел в город, медали свои вывесил, а там на мои медали ноль с кисточкой. У всех медали. Образования четыре класса, куда податься? Советуют — на стройку. Нет, шалишь, отвечаю, я на фронте три года отбарабанил, мне бы чего полегче. Потому, как заслужил! Ходил, ходил, знакомого одного встретил: иди, говорит, к нам в милицию. Одежда бесплатная, карточки литерные. Ничего, работать можно. Правда, пистолет вручили, а мне оружие так на войне осточертело, видеть не мог. Первое время вовсе пистолет не носил. Ложку засуну в кобуру и так хожу, словно бы при оружии. Ходил, пока не заметили. Что ж ты, дескать, при исполнении служебных обязанностей, а безоружный? А вдруг бандиты, чем будешь стрелять — ложкой? Да ты не слушаешь, Федор?

Тот и в самом деле не слушал, потому что поравнялся с избой рыжего Максима.

— Живой? — спросил он у Кузьмы.

— Живой. Недавно вернулся. Без руки.

Уйти из деревни, не повидав своего друга, Федор не мог, потому и свернул к Максимовой калитке, но того дома не оказалось. Замызганный мальчишка вытер рукавом нос, с гордостью заявил:

— Батяня в поле. Он теперь у нас председатель.

— А где в поле? — спросил Федор.

— Вон за конюшнями. Пашет.

— Председатель и сам пашет? — удивился Федор.

— Больше никому.

Федор оглянулся на Кузьму.

— Вот что, топай-ка ты в город один. Мне с Максимом надо повидаться.

— Надо так надо, — согласился Кузьма. — Тебе что? А я на службе. В ночную смену сегодня. — Он подмигнул Федору: — К нам надумаешь — приходи. Так и быть, похлопочу за тебя.

— Да нет уж, спасибо. Как-нибудь сам...

За конюшней открылось поле, широкое, до самого горизонта, и где-то в середине его еле виднелся одинокий пахарь на гнедой лошаденке. Когда-то он вспашет это поле?

По одичавшей, заросшей травой стерне Федор двинулся к пахарю. «Как же он пашет, с одной рукой-то?»

Максим тоже увидел его. Вывернув из борозды плуг, он бережно опустил его наземь, а солнце, отразившись от гладко отполированного лемеха, так больно ударило Федора по глазам, что пришлось прикрыть их ладонями. А Максим уже бежал ему навстречу, и пустой рукав его рубахи бился на ветру, надувался пузырем.

— Федюха, друг! Вернулся?

— Как видишь...

— Да ты, гляжу, целый! Ну, слава богу. Есть хоть кому колхозную печать сдать.

И он полез в карман за печатью.

— погоди, не суетись, — остановил его Федор, — давай хоть обнимемся, солдат.

— Так ведь обнимать нечем! — И Максим яростно затолкнул пустой рукав под ремень.

— А что ж ты один? Еще не вернулись, что ли?

Максим снял с головы картуз, и рыжие нечесанные волосы забились под ветром.

— Кому возвращаться-то? Титовы все пятеро погибли, Венька Карташев. Петька с Гераськой в самом начале войны сгинули. Да и тебя уж похоронили. А ты — вот он... Ну, молодец! Дай хоть поглядеть на тебя! Герой, ну, право слово, герой!

— А Сашка Красунок? Володька Чернышев?

— Сашка пропал без вести. А Володька?.. Вчерась похоронка пришла. Думали, раз война закончилась,

значит, все — живем. А похоронки до сих пор идут.

— Неужели никто не вернулся?

— Почему никто? Кузьма. Да и тот в город сбежал. Так что ни одного мужика на всю деревню.

— Ну, а себя ты не считаешь?

— Какой я мужик? Так — полмужика...

Они присели на зеленеющую облогу, закурили. Максим махорку, Федор папиросу «Беломор». Он предложил папиросу и Максиму, но тот отказался:

— К самосаду привык. Дух от него домашний.

Сидели, молчали. Дымки вились над ними: от папиросы — синий, от самокрутки — желтый. Поднимаясь выше, они смешивались в желто-синий клубок, но клубок этот тотчас же и таял, растворившись в чистом парном воздухе. У ног их чернела пахота, глянцеви́то поблескивая на отвалах только что прошедшего плуга.

— Хорошо-то как! — вздохнул Федор. — Землей пахнет. Весна.

— Да какая весна? Считай, уже лето на дворе. А мы еще не отсеялись...

На телеге, запряженной двумя тощезадymi коровами, подъехал мальчишка, лет двенадцати. Деловито сунув за пояс кнут, спросил:

— Дядя Максим, куда картошку сгружать?

— Оставь на телеге. А коров отпряги — пусть попасутся.

— Это чей же? — спросил Федор.

— Васьки Титова старшой. И за ним еще трое. Сиротами остались.

— А Варвара?

— На mine подорвалась. Пошла в лес малины собирать, ну и зацепилась. По кусочкам в гроб собирали.

Федор смотрел на парнишку, как он ловко распрягал коровенок, бойко управляясь с гужами и черессдельниками, спросил:

— Кто ж их растит?

— Мы и растим. Колхозом.

По вспаханному полю важно ходили грачи, собирали червей.

— Вот кому житуха, — усмехнулся Максим, — хлебный паек им завсегда обеспечен. Хоть война, хоть не война.

Заржал конь. Он мотал головой, пытаясь сбросить с шеи хомут, и Максим подошел к нему, погладил по вспотевшему крупу.

— Ну, ну, Хвастун, успокойся. — Он разнуздал его и пустил немного попасться. — С самого рассвета пашем. Устал, бедняга.

На правой лодыжке коня Федор заметил глубокий рваный шрам.

— Где это его?

— Под бомбежку угодил. Тоже наш брат — раненый.

Они еще немного посидели, и Максим поднялся:

— Однако мне пора. Скоро сажальщицы подойдут.

— Как же ты с одной рукой?

— Приловчился.

Захлестнув петлей одну чапигу, он привязал ее к своему ремню, другую же ухватил единственной рукой.

— Но, Хвастун, трогай!

Федор не выдержал:

— Дай-ка, помогу тебе.

— Помоги, помоги, вспомни, как оно раньше-то.

Федор дернул поводьями, и конь послушно повел борозду, но плуг выскальзывал из руки, и борозда получалась кривая, зигзагами.

— Эх ты, пахать и то разучился, — упрекнул его Максим.

— За четыре года разучишься...

Но только начало борозды получилось неровным, а дальше все пошло, как надо. Хвастун тянул ровно, без рывков, и вскоре остались позади и рыжий Максим, и телега с мешками картошки, впереди был лишь простор до самого горизонта, а где-то там, на горизонте, синел лес и плыли над ним большие белые облака, как гуси.

Хорошо было Федору шагать вслед за плугом по мягкой упругой земле и дышать свежим ветром, обдувавшим лицо, хорошо чувствовать на спине пригрев солнца.

Он даже пожалел, что поле вдруг кончилось и плуг уперся в дерновник, но Хвастун, сделав небольшой круг, тотчас же повернул обратно, и опять закачался перед глазами его хвост, и опять мягко запружинила земля, поворачиваясь черными пластами кверху, и грачи радостно закричали позади, будто благодаря за угощение.

Сделав пять или шесть кругов, Федор остановился, чтобы передохнуть, да и конь тоже устал — по его бокам темнели мокрые полосы — от пота. Разнуздав его,

он пустил Хвастуна пощипать травки, а сам растянулся под ольховым кустом на краю поля. Небо плыло над его головой все в белых пушистых облаках и пахло ольховыми шишками.

Федор вдыхал этот сладкий, почти забытый запах, и у него кружилась голова. Он бы, может, и заснул, если бы не Максим.

— Ну что? Напахался? — спросил, подходя.

— Отвел душу.

Они вернулись к телеге, и Федор вскинул на плечо вещмешок.

— А ты что — еще дома не был? — спросил Максим.

— Был, — выдавил из себя Федор, — да лучше б и не был.

Максим затряс своей рыжей головой:

— Вот война что, стерва, наделала.

— Война? На войну легче всего свалить. — Федор сгреб в горсть комков черной сырой земли, сжал его так, что меж пальцев показалась вода. — Теперь все будем на войну списывать! А сами как будто не виноваты...

— Ну, и что ж ты решил? — помолчав, спросил Максим.

— Ухожу. Завербуюсь куда-нибудь... Свет велик.

— Свет-то велик, это верно, — согласился Максим, — а родина одна. Неуж не затоскуешь?

— Ну, а что мне делать, что? — вскипел Федор. — Чтоб люди в глаза тыкали? Ты же сам первый...

— За меня будь спокоен! Я не тыкну. Мало ли что в жизни бывает? Что же теперь — головой в петлю? Или жить начинать? Заново, все позабывши?!

Федор схватил его за грудки:

— Ты бы забыл? Ты бы простил? Ну, отвечай! А, сразу глаза в сторону... А другим, вишь ты, советуешь!

— Ну, хорошо, — тихо проговорил Максим, — а давай с другого боку обсудим. Ты уйдешь, я уйду, а кто землю-то поднимать будет? Кто людей будет кормить?

— Мы с тобой накормим...

— Одни бабы в колхозе. Да детишки малые. Что с них возьмешь? Тягла никакого... Кузьма ушел, и ты туда же. А еще партийный билет небось в кармане носишь...

— Ты мой билет не трожь! — крикнул Федор так, что конь прянул ушами и насторожился. — Я этот билет кровью своей...

— У меня тоже кровь не чужая, — будто с угрозой

произнес Максим, — но я ведь пашу. С одной рукой. А ты, из-за бабы...

— Замолчи!

— Ну, поступай как знаешь.

Больше они не сказали друг другу ни слова, молча обнялись, и Федор, ссутулясь, зашагал обратно в деревню. Издали он увидел идущих от конюшен женщин с ведрами и лопатами и повернул к кладбищу — не хотел ни с кем встречаться. К тому же нужно было навестить могилу отца и матери. Мать умерла незадолго до войны, отца же он едва помнил. Тот погиб, когда Федору исполнилось семь лет. Кулаки в засаде подстерегли. Федор — старший в семье, за ним еще двое. Но младшие в тридцать втором умерли — от голода, старший кое-как выжил. Материнское утешеньице. Материнский помощник. И оттого, зная, что рос один, без отца, Федор рано почувствовал себя в доме хозяином. Все на нем было: и дрова, и вода, и пахота. Тем более что мать часто хворала — животом маялась. С этой хвори и в могилу сошла.

Помнится, как он плакал тогда, провожая мать в последний путь. Хотел поплакать и сейчас, но слез не было. Зная, высохли они все за войну. Столько смертей он видел на фронте, что материну словно бы позабыл. Отодвинулась она от него куда-то далеко-далеко.

— Ну что ж, не обессудьте, что ухожу, — сказал он отцу и матери, — живому живое...

Об Арине он старался не думать. «Проживет. Без меня ведь жила. Да еще и...» Чтоб не берeditь душу, отгонял от себя эти мысли, заменяя их другими. «Ничего. Не пропаду. Руки-ноги есть, без работы не останусь».

Опять нужно было пройти мимо кургана, и опять ноги сами поволокли его туда.

Разогретые в дневном тепле, млели на солнце листья. Пахло, как в бане, — дубовыми вениками.

«Хорошо бы сейчас в баньку, отведать парку... — подумал Федор, — ох, хорошо бы». Но сам же себя и перебил: «Глупый, о чем мечтаешь. Уходить надо».

Федор еще раз прошелся по дубовой роще, отмечая: «Вот этот, кажется, Венькин дубок, вот этот — Сашки Красунка, вот этот — Семкин».

Больно заныло сердце. Где они, друзья-одногодки, с которыми бегал когда-то в школу, играл в лапту, косил в лугах траву, пахал и убирал хлеб? Где они? Не

вернулись с войны, полегли в боях, а дубы прижились и растут. И так будут расти долго, расти и зеленеть каждую весну...

Федор снял пилотку, поклонился дубам, потом деревне, кладбищу и пошел по дороге в город, теперь уже не оглядываясь...

2

Луна бежала наискосок, поверх леса, бежала что есть сил, но никак не могла догнать поезд. Он летел, распластав свой длинный грохочущий хвост, почти без остановок, на полном ходу минуя малые станции и разъезды.

Луна не могла догнать поезд, но и не отставала, бежала все время рядом и, как любопытная девчонка, заглядывала в окна в надежде хоть кого-то увидеть. Надежда была напрасной — все уже давно спали, и все-таки в одном вагоне она обнаружила человека, одиноко сидящего за столиком. Столик был заставлен пустыми бутылками, лишь в одной что-то плескалось — на самом донышке. А еще плескалось в стакане, который человек держал зажатым в большой узловатый кулак, держал, но будто и забыл о нем — задумчиво глядел в окно.

За окном мелькали деревья, сизые от лунного света, и сизыми были поля и проплывающие мимо деревни — вся земля была сизой и какой-то странной, невсамделишной. И все вокруг было невсамделишным, будто во сне, когда попадаешь в незнакомый мир, хочешь проснуться, но лишь немо кричишь, разрывая сердце.

Но вот луна на минуту скрылась за облаками, и тогда из темного провала окна вынырнула лобастая голова, с глубокими впадинами глаз, со всклокоченной бородой, вынырнула так внезапно, что человек отшатнулся: «Кто это? Неужто я?»

Нетвердой рукой он провел по стеклу, как бы стирая изображение, но голова снова появилась в окне и кивнула ему: «Ты, Федор, ты. Что — не признал?»

И рельсы в такт подтвердили: «Ты, ты, ты...»

Он вглядывался в окно, как будто за многие часы пути в первый раз себя увидел, и не мог понять: он это или кто чужой, а если чужой, то что ему здесь нужно? Почему смотрит так пытливо, будто спрашивает:

— А куда ты путь держишь, ежели не секрет?

— Домой! — ответил ему Федор и грохнул кулаком по столу. — Домой.

Проснулся напарник. Он был маленький, шепелявый, во рту не хватало двух передних зубов.

— Ты что шумишь, Федор Иванович?

— Извини, брат.

— А чего не спишь?

Федор не ответил. Напарник поправил под собой подушку, участливо спросил:

— Ну, что ты переживаешь? Брось — все пустое. Были бы живы, а остальное... Ложись-ка спать. Вторые ведь сутки маешься.

— Не могу, боюсь.

— Чего боишься? — не понял напарник и воровато огляделся. — золотишко везешь, что ли?

— Какое золотишко? Сон нехороший стал сниться. Будто тону. В реке Шпрее. Думал, что забыл этот сон, а он опять пришел. Только глаза прикрою, он и наваливается... Захлебнуться боюсь.

— Счастливые люди, — засмеялся напарник, — сны им снятся. А вот мне никогда... Хоть бы один разочек что-нибудь приснилось веселенькое...

Он сходил в туалет, вернувшись, сладко позевал и снова лег, укрывшись с головой, но пролежал недолго, откинул одеяло, попросил:

— Налей!

Федор налил, и они молча выпили, закусили кусочком хлеба, по-братски разделив его пополам, хотя Федор и предложил:

— Может, колбасы достать? Хочешь, Степа, а?

Тот лишь досадливо отмахнулся. Закурив сигарету и нахально пыхнув Федору прямо в лицо, он со злостью спросил:

— А может ты — вор, а?

Федор усмехнулся:

— Какой я вор? Ты что городишь?

— Все молчишь и молчишь...

— Я не молчу, — ответил Федор и снова повернулся к окну. — Я думаю.

— Не доверяешь, стало быть? — Степан схватил его за руку, повернул к себе. — Значит, если был в заключении, уже не человек? Значит, падла? А я тебе, милочка, так скажу: и там люди живут! Да еще какие люди! Не чета всяким...

Федор прикрыл своей большой ладонью маленький вздрагивающий на столе кулачок.

— Зря обижаешь, парень. Не в тебе дело, а во мне. Не умею я рассказывать. Да и разве все расскажешь?

— А ты попробуй. Как на допросе. Знаешь, что бывает за откровенное признание? Срок сбавляют. Да и по науке... Ученые говорят: организму разрядка нужна. Вот и разрядись. Откуда хоть родом?

Федор ответил.

— Ого! — присвистнул Степан. — Далеко ж тебя судьбина забросила.

— Не судьбина, я сам.

— Что так?

— Да, понимаешь, пришел с войны домой, а дома... — Он сжал в кулаке стакан — хрустнуло стекло. — А дома...

Снова запнулся, не нашел слова.

— Не ждали? — подсказал Степан.

— Можно и так. В общем, от ворот поворот. Ну, и махнул в Сибирь. Обида глаза застила...

— А теперь?

— А теперь домой потянуло. На родину. Знать — помирать.

— Ну, это ты брось! — возразил Степан. — Помереть всегда успеется. Да и не все ли равно — где? По мне — так одинаково: что на мягкой постели, что под забором... Какая разница?

— Ну, не скажи, парень! — не согласился Федор. — Дома таки — оно по-людски...

— Все равно ведь в рай не попадем? Так ай нет? Нагрели на своем веку, накуролесили... — не слушая его, продолжал Степан.

И он, распалясь, начал уже в который раз рассказывать про свою жизнь, как он рос мальцом — безотцовщина. Мать все время на работе, а он сам по себе, связался с компанией, воровал, беспризорничал. Ну, и настигла расплата: три года трудовых исправительных. Вышел, вроде бы одумался, хотел новую жизнь начать, но дружки-приятели... Деваха подвернулась, тоже из этих. Ну, и закружила жизнь, понесла, заметелила...

— А все из-за баб, — говорил Степан. — Ты не спорь, я знаю, что говорю. Я ихнее племя до суконки изучил. Всяких видывал. И тех, которые из-под комля, и таких — «ваше благородие». На вид вроде разные,

а копни поглубже: начинка одна и та же. Как человек ты им не нужен, нет, им нужно только то, что у тебя в кармане. Что — скажешь не так? Вру? Наговариваю? — Он немного помолчал, как бы давая возможность возразить, но Федор молчал, глядел в окно, и Степан снова пошел по второму кругу: — Все они — суки! Мы для них — хоть в лепешку, а они... Хотя стоп! Не все! Вот смотри! — Он заголил рукав пиджака, потыкал скрюченным пальцем в синеющую на руке надпись. — Видишь? «Не забуду мать родную». И не забуду! Сколько я ей пакостей натворил, сколько горя принес, а она все равно: «Степа, Степушка, родненький...» Да я кому хошь горло за нее перегрызу!

— Ну, зачем же горло перегрызать? — попытался было встрять в разговор Федор, но Степан словно не слышал.

— Освободился — и к ней. А ты как думал? Хоть навестить старушку. Подарок везу. Вот, платок пуховый. Пусть хоть на старости лет прогреется. Согреет душу. Мать это мать. Ждет небось не дождется. У окошка сидит... А тебя кто-нибудь ждет? — внезапно спросил он Федора.

Тот вздохнул:

— А меня никто...

— Зачем же ты тогда едешь?

— Не знаю. Может, как та собака.

— Какая собака?

— Собака свой конец чует. Выть начинает. Так и я.

Степан поерзал по полке, придвинулся ближе, обнял Федора.

— Собаке — собачье, а человеку — человеческое. Раз никто не ждет, поедem со мной, а? А уж как мать обрадуется. Молодуху тебе подыщем, и заживешь, а? Корову купишь... Молоко будем пить...

Федор снял его руки со своих плеч.

— Ложись-ка лучше спать, Степа.

— А ты?

— Я еще посижу.

Обиженный, оскорбленный в своих лучших порывах, Степан отвернулся к стене, повздыхал немного, но вскорости захрапел — надрывно, с присвистом. Федору же не спалось. И хоть голова его чугунно клонилась к столу, глаз он не закрывал: боялся снова утонуть в черной шпрейской волне, как когда-то на фронте.

Степан тоже спал беспокойно: вскрикивал, двигал руками, словно пытаюсь кого-то ударить, потом снова затихал, а то вдруг начинал во сне плакать.

«Нет, не пропащий он человек, — думал о Степане Федор, — может, еще и образумится. Вишь ты, к матери едет, подарок везет. Да и какое я имею право судить его? Сам, что ли, святой?»

В последние годы все чаще и чаще стала приходиться к нему страшная мысль: правильно ли он сделал, что ушел тогда из дома? Конечно, обида глаза застила.. И вообще, так ли он прожил свою жизнь, как надо? После того как ушел. Вроде бы все хорошо, все ладно. Работал. После войны работы на всех хватало. Валил в тайге лес, потом строил дома. Всего перепробовал.

Был и каменщиком, и плотником, маляром и стекольщиком. И на заводе пришлось потрудиться, и на шахтах. Долгое время не женился, ходил бобылем. Потом подвернулась одна женщина. Женился. Любил? Вроде бы и любил. А верней — надоело одному в холодную постель ложиться. Ничего — стерпелось, слюбилось. Жили не хуже других. Сына вырастили. В люди вывели. Теперь инженером работает, своей семьей обзавелся. Отец ему уже и не нужен.

О прошлом Федор старался не вспоминать, забыть. С годами и вправду забыл. Все забывается. Как вдруг однажды...

...Работал он тогда экскаваторщиком. Газопровод тянули по таежной просеке. А тут болото... Помнится, он уже прошел, подготавливая траншею, чуть не половину просеки, как вдруг ощутил, что экскаватор кренится набок. Высунувшись из кабины, увидел, что правая гусеница медленно, но упорно погружается в трясину. Дело было в феврале — мороз хоть и не ахти какой стоял, но верхний слой земли все ж был прихвачен. А как снял верхний слой, тут и обнаружилось болото. Что делать? На раздумье оставались секунды, и Федор судорожно рванул рычаг передачи, пытаясь на предельной скорости выскочить из трясины, но не тут-то было. Машина уже не слушалась его, и тяжелый длинношейный ковш все кренился и кренился набок, как будто хотел напиться этой мерзкой болотной жижи.

Федор оглянулся: никого вокруг. Бригада осталась где-то позади, а здесь шумел лишь ветер да трещали на морозе деревья. Помощи ждать было неоткуда.

Он выпрыгнул из кабины и начал подсовывать под гусеницы сваленные по бокам просеки толстые сучья. Но и сучья не помогли, и машина все глубже и глубже проваливалась в болото. Оступившись на мерзлой кочке, он и сам рухнул в жидкую яму, провалился чуть не по пояс, захопал беспомощно руками, ища и не находя опоры. Желтая ледяная слизь втягивала его в свою пасть, подступала к горлу.

Как он удержался, Федор не помнил. Но удержался, в последнюю минуту ухватившись рукой за какую-то корчажину.

Потом, когда его нашли, никак не могли разжать пальцы, вырвать из окаменевшей руки этот спасительный сук.

Очнувшись в больничной палате, Федор вдруг вспомнил Арину, и с тех пор воспоминание о ней, об отчем доме уже не покидало его.

Эх, Арина, Арина... А ему все казалось, что он забыл ее, растоптал даже память о ней... Выходит, не забыл... А она — неужели и она не забыла? Неужто все еще помнит? Неужто ждет?

Жене он так и заявил: «Ухожу. Возвращаюсь домой».

И как ни плакала та, как ни отговаривала — уехал.

Всю дорогу он думал только об одном: как встретит его Арина, простит ли? А может, и вовсе не узнает? Ведь тридцать лет прошло с тех пор... Неужто тридцать?

Под утро он все же забылся. Провалился в сон, как в бездонную бочку, и ничего во сне не видел. Спал крепко. Как ни тормозил его Степан, предлагая опохмелиться, даже не шевельнулся.

Разбудила Федора только проводница. Молоденькая, глазенки вкось. Вежливо пояснила:

— Ваша станция, дедушка.

Федор спросонья не понял, переспросил:

— Какая станция?

— Духовская. Разве вам не здесь сходить? И пожалуйста, поскорей. Поезд стоит здесь всего две минуты.

Она оглядела купе:

— У вас много вещей?

— Его багаж следом идет, — засмеялся Степан, — медленной скоростью.

Проводница махнула на него рукой:

— Да ну вас, ей-богу.

Федор надел пиджак, протянул напарнику руку:

— Будь здоров. Да гляди, платок не пропей. Довези матери в целости и сохранности.

— Будь спок — довезу. А ты, если что — ко мне. Места хватит.

— Спасибо.

Проводница открыла дверь тамбура.

— Осторожней, дедушка. На этой станции платформы нет.

— Знаю.

И, присев для упора, Федор спрыгнул с подножки прямо в мягкую, спружинившую под ногами землю. Огляделся. Раньше на этом разъезде стояла лишь железнодорожная будка, теперь же светился огнями двухэтажный белый вокзал.

«Может, зайти, дожждаться утра? Вон какой туман, как бы не заплутаться, — подумал Федор, но тут же успокоил себя: — Не заплутаюсь. Ноги сами дорогу найдут».

И правда, как только он обошел стороной вокзал, ноги нащупали под собой наезженную машинами дорогу. По бокам дороги чернели кусты, неясные в предугрошенном тумане, но они будто направляли шаги, не давали Федору сбиться с пути.

От станции до деревни было километров семь — это он помнил, и, бывало, эти семь километров пробегал за какой-нибудь час, не больше, теперь же шел медленно, еле волоча отвыкшие от большой ходьбы ноги.

На востоке алела заря — вставало невидимое пока еще солнце, и туман начал потихоньку редеть. И тогда стали видны и небольшой сосновый лесок — посадка, раньше здесь было чистое поле, и два озерка, перегороденные плотиной на том месте, где стояло болото. Окрестности были неузнаваемы, так что Федор невольно усомнился: а на той ли станции он сошел? Но вот впереди показались две старые березы, чуть не сросшиеся комлями, и у него отлегло от сердца: все правильно, сошел он на своей станции и направляется в свою деревню.

Березы-близнецы приветливо шумели листвой, будто приглашая его под свою сень, и Федор присел рядом с ними на оголившийся корень, припал щекой к потрескавшейся, но все еще гладкой белой коре.

— Ну, здравствуйте, старушки. Я вас узнал, а вы меня?

Встревоженная человеческим голосом, из дупла березы вылетела какая-то птица, с писком умчалась прочь так быстро, что Федор не успел ее разглядеть.

Сквозь туман начало просвечивать солнце, еще тусклое, серо-желтое, но от него уже побежали на землю теплые, живительные лучи. Ветки берез словно купались в этих лучах. Федору оно тоже пригрело спину, он снял пиджак и уже налегке двинулся дальше.

Оставалось пройти еще с километр, и он бодро шагал, словно не чувствовал усталости. Вот уже начали проглядывать сквозь туман очертания кургана с дубовой рощей, донесся и шум дубов. Наверно, вверху гулял сильный ветер, потому дубы и гудели так страшно, будто в бурю. Раньше деревня начиналась сразу же от подножия кургана, теперь же почему-то отодвинулась, и курган стоял как бы в стороне.

Стали видны крыши домов, красные трубы, из которых тянулись в небо прямые, как столбы, дымы.

«Вот я и пришел, вот я и вернулся». Федор достал из кармана платок — высморкался. Хотел сдержаться и не смог: заплакал, хотя вначале и не почувствовал, что плачет, пока слезы не скатились по подбородку, не защекотали худую морщинистую шею.

От слез вроде бы полегчало, тогда он снял кепку и так, с непокрытой головой, вошел в родную деревню.

На улице было пустынно, зато собаки лаяли как оглашенные, словно соревнуясь, кто кого перелает.

«Да, позднеенько нынче стали вставать, — подумал Федор, — не торопятся весну встречать».

Своим опытным хозяйским глазом он замечал, что люди живут в достатке, обстроились, обгородились, хотя и было в этом что-то торопливое, суетное, будто в новых добротных домах люди не жили, а все время ждали каких-то перемен. А может, ему только так казалось, старому?

Он боялся встречи с людьми: как-то они посмотрят на блудного сына. Но боязнь его оказалась напрасной: никто его не узнавал.

Верхом на лошади промчался мальчишка, трактор протарахтел мимо, женщины прошли стайкой, даже не поздоровались.

Своей избы он не узнал, вернее, ее и не было. На том месте, где стояла она когда-то, низенькая, с подслеповатыми окошками, теперь высился кирпичный дом под железной крышей.

И все-таки он вошел на крыльцо, постучал. В доме было тихо, никто не ответил. Тогда он нажал клямку, вошел. Высокие потолки, большие, без перекладин окна. В доме никого не было, хоть и топилась печь. Заглянув в нее, Федор увидел, как вскипает близко стоящий к огню чугунок с картошкой. Взяв ухват, он отодвинул чугунок от огня, пошурудил в печке дрова.

Ни одна вещица в этом доме не показалась ему знакомой.

Так, может, он зашел к чужим?

Но, взглянув на стенку, увидел вдруг свой портрет, видать, увеличенный с маленькой фотографии и потому не очень похожий.

«Значит, помнят меня еще?» — с радостью отметил он.

С подойником в руках в дом вошла молодая женщина, как две капли воды похожая на Арину. Федор даже кепку из рук выронил.

— Ты кто? — спросил он испуганно.

— Катя, — ответила женщина, — а вы?

Федор молчал — горло перехватило. Тогда она, бросив взгляд на портрет и тут же переведя его на Федора, удивленно и обрадованно проговорила:

— Неужели отец? Что ж ты так долго не приходил? — И пытливо заглядывая ему в лицо, переспросила: — Нет, правда, ты?

Федор зажмурился, проглотил подступивший к горлу комок, хрипло признался:

— Я...

Катя кинулась к нему, подойник опрокинула. Светлой синеватой лужицей расплескалось по полу молоко.

— Ох, я, неумеха...

И так они стояли и смотрели на эту лужицу, не зная, что делать. В окне в это время появились босые ноги. Мальчишка лет десяти болтался на суку рябины и норовил достать ногами подоконник, чтобы прямо с дерева перебраться в дом. Но сук шатался, и ноги болтались, елозили в открытом окне, никак не могли отыскать точку опоры.

Наконец мальчишке удалось прыгнуть в окно, а через него и на пол.

— Мам, есть хочу! — крикнул он и замолчал, увидев рядом с матерью незнакомого человека.

— Познакомься, Максим, это твой дедушка.

Мальчишка сразу набылся, не поверил.

— Родной? — переспросил он.

— А какой же еще? Раз дедушка, значит, родной. Ну, чего ты напугался? Поздоровайся с дедушкой.

— Здравствуйте, — сказал мальчишка и, как взрослый, протянул Федору руку.

— Здравствуй, внучек!

Катя захлопотала у стола. Застелила его чистой белой скатертью, выставила на стол холодец, нарезала сала, достала из печки картошку.

— Садись, отец, устал с дороги-то?

— Да, притомился чуток.

— Ешь, угощайся, — потчевала Катя, блестя глазами. Руки ее так и порхали над столом, то нарезая хлеб, то пододвигая поближе к отцу тарелки. Рядом с ним сидел за столом Максимка и уплетал за обе щеки картошку с салом, запивая ее молоком.

Мать, погладив его по голове, с гордостью произнесла:

— Весь в нашу породу, в житухинскую.

Федор сидел за столом, глядя на ее радостную суетню, и не то хмурился, не то улыбался. Катя даже обиделась:

— Ну что ж ты ничего не ешь, отец?

— Спасибо. Сыт я.

Он все хотел спросить и не решался — слова застре-
вали в горле. Наконец, собравшись с силами, выдавил:

— Мать где?

Катя заплакала. Максим пододвинулся к ней, обнял за плечи.

— Ладно тебе, мам. Перестань!

— Хорошо, сынок, не буду, — согласилась Катя, вытирая лицо полотенцем, но слезы все текли и текли из глаз, падали на чистую белую скатерть.

— Давно? — спросил Федор.

— Три года уже. Как раз на Майские праздники. Так что нам теперь и май не в май — поминки справ-
ляем.

— Мучилась?

— Нет. Сердце схватило. Мы с мужем на работе были, Максимка в школе. Соседка Галя прибегает в контору: «Катька, беда!» Я сразу так и обомлела, догадалась — мама. Она и раньше сердцем жалилась. «Давит что-то мне, говорит, вот тут. Будто обручем сжимает». Пока я прибежала, она и отходить стала. Рукой вот так к себе пригарнывает, сказать что-то хо-

чет, а голосу нет. Так и умерла. — Катя снова промокнула лицо полотенцем, вытерла слезы. — Тебя все ждала. «Неужто, говорит, душенька его не тоскует?..» Верила. Я еще маленькая была, на колени, бывало, возьмет, к себе прижмет: «Где-то наш папка? Все равно, говорит, придет, потому что, кроме него, нет никогошеньки у нас на всем белом свете». — Катя подошла к нему, погладила его по седеющим волосам и, заглядывая в глаза, спросила: — Нет, это правда — ты?

Он не отвечал. Сидел, сжав ладонями виски, и горько было у него на душе, ой как горько. Значит, ждала, а он забыл. Значит, любила, а он не простил. Дочку вырастила в почитании... Но неужто в деревне никто ей так и не сказал?

— А про меня она что говорила? Почему я ушел? — спросил он.

— Поссорились. Обидела, дескать. А в чем обида, не призналась.

Максимка, закончив завтрак, собрал портфель, вскинул его за спину.

— Мам, я сегодня не скоро приду. Всем классом пойдем на экскурсию.

— На какую еще экскурсию?

— На курган.

— Поесть что-нибудь захвати.

— Я в столовку забегу.

Катя тоже заторопилась.

— На работу пора. А то на наряд опоздаю.

Она ушла за перегородку переодеться, и уже оттуда донесся ее голос:

— Признайся хоть ты, отец, чем тебя мама обидела?

Федор вздрогнул — так неожиданно прозвучал этот вопрос.

— Да я уж забыл. Столько лет прошло, — ответил он, помолчав.

— Если б забыл, вернулся бы.

— Я и вернулся.

Катя вышла из-за перегородки: на ней был синий костюм в клеточку. Стала причесывать перед зеркалом волосы.

— Годика б три назад. Может, и мама не умерла бы. Ну, ладно, я пошла.

— А мне что делать? — спросил Федор.

— Как что? Отдохнуть!

Она поцеловала его в щеку и убежала. Федор убрал все со стола. Вышел во двор. На улице густо светило солнце и капало со стрехи. Это показалось ему странным. Почему капает, ведь дождя не было?

«А, — догадался он, — это туман осел на крышу, а теперь стекает дождевыми каплями».

Федор прошелся туда-сюда по двору, не зная, куда себя деть, чем бы заняться.

Посреди двора стояла дубовая колода: неужели еще та, что он приволок однажды с кургана? На той, помнится, было сто пятьдесят годовых колец. Он принялся считать, но скоро сбился: колода была так изрублена топором, что кольца еле угадывались.

Вокруг колоды валялись напиленные, но не поколотые дрова. Федор вернулся в сени, разыскал топор. Придирчиво оглядел его: остер ли, не зазубрен ли, бережно вытер о рубаху и, крикнув, ударил им по полю. С первого удара полешко не поддалось, лишь качнулось в сторону, и топор соскользнул на колоду. Зато со второго удара разлетелось надвое, да так ровно, хоть на коньках кататься. Он вспотел, устал с непривычки, но это была приятная усталость, и Федор даже пожалел, что поленья скоро кончились. Вон как он живо с ними расправился.

Федор присел на колоду — делать опять было нечего.

Замычала в хлеву корова, и он, пройдя в хлев, задал ей сена. Корова глядела на него ласковыми большими глазами, и он погладил ее по морде.

— Ешь, ешь, Лысуня, или как там тебя?.. Скоро уж в поле, на зеленую травку...

Выйдя из хлева, он чуть не натолкнулся на собачью конуру, удивился: отчего же собака не лает? А может, там нет никого? Наклонившись, он заглянул вовнутрь конуры и несказанно обрадовался, узнав Дуську. Она лежала на боку, высунув язык, часто-часто дышала.

— Дусенька, ну иди ко мне...

Но Дуська не спеша повернула к нему морду и огрызнулась, как на чужого.

— Дуська, да ты что? Не узнала меня?

И, только приглядевшись, он понял, что это была вовсе не Дуська, а похожий на Дуську кобель. Он был так стар, что только скалил зубы. Залаять, видно, у него уже не было сил.

Тогда Федор подгрел под себя хвосту, сел у со-

бачьей конуры, подперев руками голову, загрустил. Прошли мимо две женщины, остановились, поглядели на него, пошушукались и пошли дальше — не узнали. Пролетел мотоцикл, обдав улицу запахом гари, скрылся.

— Ну, что ж все-таки делать? Чем заняться-то?

Он опять возвратился во двор и ходил по нему как неприкаянный. Наткнулся на лестницу, валявшуюся у завалинки, поднял ее, приставил к стене.

— На чердак, что ли, слазить, крышу поглядеть?

Крыша оказалась добротной, прочной. Железо так накалилось, что на чердаке было душно, как в бане. К тому же веники вялились на перекладине, сладко пахли банным паром.

Федор слез с чердака, посидел немного на крыльце.

«Где ж они воду берут? Может, колодец прохудился?» Но сколько он ни ходил вокруг дома, колодца так и не нашел. Вспомнил: Катя мыла подойник под крапом. Значит, у них теперь водопровод. Как в городе.

«Да, многое изменилось с тех пор», — подумал Федор, но перемены эти были ему почему-то неприятны, хотя он и видел, что люди стали жить намного богаче, культурней. словно из этих богатых домов вынули душу. А может, ему только так казалось?..

На краю усадьбы он приметил небольшую деревянную пуньку, подошел. В пуньке лежало сено, и по нему, пробиваясь сквозь дырявую крышу, прыгали солнечные зайчики. Всю ночь Федор, считай, не спал, и его так и потянуло прилечь на сено, отдохнуть. Он разровнял сено, лег, и тотчас зайчики запрыгали по его рубахе.

— Ишь, бесенята, — засмеялся Федор и прикрыл одного из них ладонью. Но заяц выскользнул из-под ладони и заплясал на руке, словно дразнясь: «Ага, не поймашь, не поймашь». — Ладно, стар я стал, чтоб забавляться с вами, — сказал Федор и прикрыл глаза. Но тотчас же и открыл их. Испугался. Вдруг опять черная вода поволокет его на дно? Так и лежал с открытыми глазами, вдыхая пряный запах сена, чувствуя на своем теле теплую беготню солнечных зайчиков. Не заметил, как задремал. Но на этот раз ему повезло. И не шпрейская чужая волна захлестнула его с головой, а подошла и села с ним рядом Арина. Коса ее покоилась на плече, а на голове был венок из васильков.

— Ты чья? — спросил ее Федор.

— Ничья, — засмеялась Арина, — а хочешь, твоей буду, потому что люблю я тебя без памяти!

Он обнял ее и поцеловал в мягкие, горячие губы, но Арина вырвалась от него и убежала:

— Догони!

Федор догнал и снова хотел обнять, но вдруг Арина протянула ему венок из васильков:

— Вот, тебе на память.

— Где нарвала? — строго спросил Федор.

— В тайге. Там их много. Почему ты не принес мне из тайги ни одного василечка?

— Я лес рубил. Васильков там нет. Васильки во ржи цветут.

— Ишь ты, а я и не знала. Нарви мне еще васильков.

— Некогда мне. Ухожу я.

— Куда?

— На фронт. Ты ждать меня будешь?

— Кого ж мне ждать, как не тебя?

— А того... уполномоченного?

— А того не буду.

— Ладно, жди. Похоронка придет, все равно жди.

— Вернешься, я тебе баньку истоплю. Хочешь, веничком обласкаю?

Арина взяла откуда-то березовый веник и больно стала хлестать его по голому телу, так больно, что он закричал:

— Прости меня! Прости, если можешь.

— А ты догони! — крикнула Арина и побежала вниз с кургана. Она бежала так быстро, словно бы летела. Коса ее растрепалась на бегу, и волосы стлались по ветру, как длинная конская грива.

— погоди! Дай мне сказать тебе!..

— Ничего не надо говорить! Лучше послушай, как ветер гудит: «Чу-чу-чу, я горох молочу!»

Но сколько ни прислушивался Федор, а ничего не мог услышать, не мог уловить этого «Чу-чу-чу», просил Арину:

— Побудь со мной.

— А ты чей? — спросила Арина.

— Ничей. А хочешь твоим буду?

— Хочу. Только чтоб навсегда. Почему же ты не пришел? Почему не вернулся? — Арина сняла с головы венок из васильков и кинула его в воду: поплывет или

потонет? Венок сразу же и потонул, тогда и Арина прыгнула следом за ним в воду, поплыла.

— Не надо, вернись! Утонешь! — закричал ей вслед Федор.

— Это ты утонул! — ответила Арина и протянула ему руку.

Он захлебывался, задыхался, бил ногами по воде, стараясь выплыть, но черная чужая вода тянула и тянула его на дно.

И тут разбудили его голоса.

Голосов было много и разных, доносились они откуда-то снизу, Федор приподнял голову, стал прислушиваться, о чем говорили люди, но разобрать ничего не мог.

Наконец скрипнула лестница — это влезла на сеновал Катя.

— Отец, ты здесь? А к тебе пришли.

Федор недовольно поморщился: кто пришел? Зачем? Кому он здесь понадобился?

Подумал вроде спокойно, но сердце словно в предчувствии чего-то заколотилось часто-часто.

Молча слез с сеновала, в помятой со сна рубахе, непричесанный, остановился на пороге пуньки.

Вокруг избы в саду стояли люди, тихо галдели, кто про что, но при его появлении сразу смолкли. Федор, стоя на пороге, сверху вниз глядел на них, но никого не узнавал. И только приглядевшись... Ну, конечно же, вот стоит его друг рыжий Максим. Голова уже вся поседела, зато борода еще была огненно-рыжей. Эх, Максим, Максим, друг ты мой сердешный. А рядом с ним Кузьма-Валентин, уже в штатском, сгорбленный, как старик. А это кто же? Уже помоложе, незнакомые, но по природе и их признать можно. Вот это Титовы, это Красунковы, видать, а это Карташевы. Веньки Карташева наследство.

Все стояли молча и глядели на него, а Кузьма даже всхлипнул. Максим толкнул его в бок: замолчи, дескать, тут не плакать, а радоваться надо.

Единственной своей рукой он снял с головы картуз и поклонился Федору. Сказал как бы за всех:

— С праздником тебя, Федор Иванович.

— С каким праздником? — удивился Федор.

— С возвращением.

Федор хотел сказать «Спасибо» — и не смог. Он прислонился спиной к косяку пуньки и так стоял молча,

пытаясь усмирить внезапную боль где-то под левой лопаткой.

Значит, простил его Максим? Не помнит зла? И вы, люди, простили?

Максим шагнул к нему, обнял одной рукой, уткнулся рыжей колючей бородой в плечо.

— Долго ж ты пропадал, Федор. Думали, совсем сгинул в дальних краях. А все ж потянуло домой.

— Потянуло.

— Я тебе говорил. Родная земля, она ведь мать, а не мачеха. Жаль, что Арина не дождалась. Да уж, видно, судьба...

Подошел и Кузьма, вытер слезы, тоже поздравил:

— С возвращением.

И так подходили все, и жали Федору руку, и каждый говорил:

— С праздником. С возвращением.

— Видишь, отец, — сказала Катя, — все тебя помнят. А ты не верил.

Что-то дрогнуло в лице у Федора. Он оттолкнулся от притолки и пошел. Люди расступились перед ним, давая дорогу, и он, как стоял — босой, нечесаный, в одной рубаше — пошел меж деревьями сада туда, за околицу, где черная, только что вспаханная, блестящая от росы и солнца лежала земля и дымилась утренним паром, словно дышала.

Куда он шел, Федор не знал, но все равно шагал и шагал, а в распахнутую грудь бил встречный ветер, мешал идти. Ноги уже не слушались его, но душа еще звала куда-то, словно там, куда она его звала, можно было обрести радость и успокоение.

Опомнился, когда взошел на курган. Дубы еще стояли голые, не зазеленевшие, и ветер свистел в их черных ветвях, как разбойник. «Где же мой дубок? Наверное, я и не узнаю его».

Осторожно, словно щупая босыми ногами землю, Федор двинулся вдоль дубовой рощи, с зоркостью ищейки шаря вокруг себя глазами. Но своего дубка не находил. Да разве найдешь? Вон как они вытянулись, укоренились, окрепли.

Один старый дуб уже рухнул и подмял под себя два молодых. Федор сел на этот, рухнувший, чтоб отдохнуть, а потом снова искать, и тут увидел прикрепленную к соседнему дубку дощечку. На дощечке было что-то написано. Он подошел, прочитал: «Титов Алек-

сандр Сидорович. Погиб смертью храбрых в боях под Москвой». Ниже стояли даты: «1921—1942 гг.»

Что это? Зачем?

Оглянувшись, он различил и еще дощечки. Некоторые были уже темные, обмытые ветрами и дождем, другие же чистые, свежееобструганные.

«Титов Иван Сидорович. Гвардии старший сержант. Погиб смертью храбрых под Ельней (1918—1942 гг.)».

«Титов Семен Сидорович (1923—1945 гг.)».

Он стал ходить от дубка к дубку, читая на дощечках имена тех, кто сажал эти деревца. Нашел он и саженец своего дружка Веньки Карташева, с которым когда-то поменялся в бою кисетами.

Кто же такое придумал? Дубки, как живые памятники... Значит, люди помнят? Все эти годы, что он отсутствовал, здесь помнили не только его, но всех, кто не пришел с войны, кто не вернулся.

«Красунков Александр Тимофеевич. Младший лейтенант. Пал смертью храбрых при форсировании Днепра (1917—1943 гг.)»

«Так вот про какую экскурсию говорил Максимка, — подумал Федор, — это они, следопыты... Чтут память...»

Свой дубок он тоже нашел по дощечке. «Житушкин Федор Иванович, кавалер орденов Славы II и III степеней». И только дат не было. Дубок подрос, вытянулся так, что и на цыпочках нельзя было дотянуться до нижних веток.

Тогда Федор подгрел под дуб сухих прошлогодних листьев, сел, прислонясь спиной к узловатому его стволу, и сидел долго, словно ни о чем не думал, а лишь слушал, как падали с сучьев последние листья.

А почему, в самом деле, дубы не сбрасывают своих листьев на зиму?

Пожухлые, обмертвелые, бьются они на ветру, жестко шелестят в мороз, но на ветках держатся стойко — и так до самой весны, до теплых деньков, а как задышит земля, напившись талыми водами, распрямит свои могучие плечи дуб и начнет ронять листья в зеленеющую под ним землю один за другим, один за другим.

Листья летят плавно, кружатся, как во сне, заколдованные этим вольным запахом весны, сиянием крутого неба, звонколивчатым пеньем жаворонков, что маленькими точками вбуравливаются в вышину.

Мурлычет у корневищ ручей, и листья хлипко падают в него. Вода на бегу подхватывает их и несет, и

несет в далекий океан. А дубы, сбросив по весне старые листья, еще долго будут стоять в раздумье: начать им зеленеть или подождать немного. Видать, такой у них характер, неторопливый, крепкий...

Растут дубы медленно, приживаются трудно. Может быть, поэтому и родилось у нас такое поверье: уходя на войну, человек сажает в землю дубок. Приживется дубок, значит, вернется с войны солдат. А не приживется...

Их давно уж нет, кто посадил эти дубки, а дубки прижились и растут как живые памятники тем, кто не вернулся.

Танька у Маньки украдала макуху

Рассказ

Это стало ее привычным состоянием на сцене: подавать реплики, двигаться и переживать, как переживала бы героиня, и в то же время чувствовать реакцию зрительного зала: верят ли люди, сопереживают ли. На сегодня все пока шло нормально: когда было смешно — смеялись, когда становилось грустно — вздыхали. И вдруг на какую-то веселую реплику кто-то всхлипнул. Даже не оборачиваясь, она определила: в четвертом ряду, с краю. Что это? Почему?

Бывают моменты, когда человек не верит в то, что происходит на сцене, и в самые трагические минуты смеется, но чтобы наоборот? Это уже непонятно.

Подойдя ближе к рампе, где свет бил в пояс, Людмила глянула в зал: все, как и положено, глядели на сцену, где в это время главный герой выгонял из комнаты не вовремя пришедшего приятеля, и лишь одна женщина в цветастом платке на плечах загородилась рукой от всех и плачет.

Что ее так встревожило? Тревога закралась в душу Людмилы. Но действие шло дальше, события развивались, и скоро она забыла про женщину. «Мало ли у человека какое горе?» К тому же партнер голосом, взглядом дал понять, что такие вольности на сцене недопустимы. Что еще режиссер скажет?

«А, пусть! — решила она. — Главное, чтобы в зрительном зале ничего не заметили».

Слава богу, пронесло, и первое действие прошло более или менее прилично, если не считать, что она все время ощущала в душе тревогу, словно плывущую к ней из четвертого ряда.

В антракте она попросила у ребят сигаретку и закурила, но подруга по гримуборной Ирина удивилась:

— Людмила, мы же с тобой договорились...

— Извини, сейчас открою форточку.

— Что-нибудь случилось? Дома? С дочкой?

— Женщина в четвертом ряду плачет.

Ирина рассмеялась:

— Ну, ты даешь! Муж ее побил, она и плачет.

— Плакала б дома...

— В театре слаще. Особый вид самоистязания.

— Не кощунствуй.

Прозвенел третий звонок — на выход. Выбрав удобную минуту, Людмила опять глянула в притемненный зал, но место в четвертом ряду с краю было уже пусто. «Вот и хорошо. Не будет сбивать своим неуместным плачем».

Спектакль продолжался, и теперь уже ничто не тревожило актрису — она играла всласть, жила своей ролью, как давно уже привыкла жить на сцене.

Но после спектакля, когда она, одаренная цветами, пробиралась через забитый рабочими сцены служебный проход, ее кто-то остановил.

— Танька у Маньки украла макуху, — сказала женщина в цветастом платке.

— Простите, не понимаю. Что вам нужно?

— Но я не могла ошибиться! — сказала женщина, судорожно комкая платок на груди. — Этот голос... Я помню его. Мила, ведь это ты? Я так долго тебя искала! А ты, ты... не узнаешь меня? Ну, вспомни: Танька у Маньки украла макуху...

Женщина сдернула с головы платок: добродушное, круглое лицо, гладенько зачесанные на прямой пробор черные, но уже с проседью волосы, глаза серые, печальные, ждущие.

— Простите, но я вас... не знаю!

— Это родную-то тетку! — заплакала женщина. — А я ведь тебя от смерти спасла. Неужели не помнишь? В детприемнике. Слова человеческие забыла. Как собачонка кидалась на всех. Только и твердила: «Танька у Маньки украла макуху».

— Как вы сказали?

— Не я. Это ты все время говорила.

— А что такое макуха?

Женщина еще пуще заплакала:

— Ты, выходит, забыла? Макуха — это жмых...

Людмила внимательней пригляделась к женщине. Что-то толкнулось в ее душе, далекое и смутное, как через толщу воды — искривленное. Заныло сердце.

Так бывает во сне, когда летишь в пропасть и молишь: хоть бы одно крыло, на которое можно опереться, и не упасть, и не разбиться. Но крыльев нет, а про-

пасть бездонна, и ты все летишь, летишь, захлебываясь страхом и ужасом.

«Танька у Маньки украла макуху» — это она помнила, даже не помнила, а словно бы узнала, ощутила в себе тот далекий, детский лепет. Вспомнила, как эта женщина — тогда еще девушка — совала ей в руку хлеб, ласково говорила: «Ешь, ешь».

— Так вы... тетя Люся?

— Ну, конечно! Ой, боже мой! Мила! Отец тебя называл так в мою честь. Ну, вспомнила? А я слышу — голос, твой голос. На всем белом свете — один такой. Как услышала, так и обомлела. А я еще не хотела идти на спектакль. Соседка уговорила. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я же тебя всюду искала. По всем адресам. Куда только не писала! Ответ один: нет Овчаренко Людмилы Тарасовны, 1937 года рождения. А ты жива, здорова... Мила, золотко мое, пойдем ко мне... Тут недалеко.

Людмила во все глаза глядела на женщину, узнавала и не узнавала. Лишь повторяла всю дорогу:

— Тетя Люся, неужто ты?

Жила тетя Люся в маленьком деревянном домике, уже покосившемся от старости. Вокруг поднимались высокие белокаменные дома.

— Скоро и нас снесут, — вздохнула тетя Люся, — а ведь в этом доме ты родилась. Пока «скорая помощь» приехала, ты уже «уа», «уа». Мне тогда четырнадцать лет было, гляжу, все любопытно...

Тетя Люся накормила Людмилу, напоила чаем с вишневым вареньем. Уложила в постель, а сама все говорила, рассказывала.

— Как мы до войны жили! Семья большая, дружная. Тарас, отец твой, самый старшой. Со службы пришел — молодую привел. А она ничего делать не умеет. Целыми днями у окна сидит, семечки лускает, его с работы ждет. Не показалась она нам... Гордая. Но что делать? Брат ее любит, а мы брата. Скоро и ты родилась. У нас в роду все черные, а ты беленькая, как куколка. В лавке такие куклы продавались до войны. На кнопку нажмешь: «уа» кричит. Нежили тебя, как могли, одна ведь в семье малышка. Я, бывало, косички тебе заплету, рядом с куклой посажу: которая живая? А тут война. Оккупация. Первый год еще туда-сюда, запаслись кое-чем. А на второй год хоть зубы на полку. Ну, твоя мать и пошла по деревням — тряпки

на хлеб менять. Тебя с собой взяла. Как я ни уговаривала: оставь Милу, я за ней пригляжу. Не послушалась. Через неделю возвращается — одна. «А Мила где же?» — «У хороших людей оставила». — «Как оставила? Бросила, что ли?» — «Не бросила, а оставила. Корова у них, молочком отпоят...» Ну, ладно, может, и к лучшему. Только смотрим: месяц проходит, другой, не идет мать за дочкой... — Тетя Люся вдруг остановилась: — Да что это я? Зачем я тебе все рассказываю? О родной-то матери. Сколько лет прошло... Жива хоть?

— Жива. Но мы уже давно живем врозь. У нее другая семья. Муж, дети. Я в интернате жила. Так что рассказывай все.

Но прежде чем продолжить рассказ, тетя Люся достала из ящика стола альбом с фотографиями.

— Видишь, какая ты в детстве была? Кудрявенькая. Так уж я тебя любила! Души не чаяла. Пристала к твоей матери. Где, дескать, оставила? Сама за ней схожу. Молчит, не признается. А потом совсем куда-то исчезла. Ну, что тут делать? Где тебя искать? Подружка у меня была. Оксана. Моя ровесница. Давай я ее уговаривать: «Пойдем Милу искать. Может, и найдем?» Мама в слезы: «Куда вы, девоньки? Молодые, неразумные. Фашисты кругом, надругаются, изнасильничают». — «Да брось ты, мама! Ничего с нами не случится». Уговорили. Мама нам на дорогу сухарей дала, отправила: внучку ведь тоже жалко. Ну, пошли. По деревням ходим, расспрашиваем: «Не проходила тут женщина с девочкой? Девочка, как кукла — кудрявенькая». — «Нет, говорят, не проходила». Все же в одной деревне прослышали: «У Марьи Краснухи была. Девчонку оставила». Мы к Марье. Смотрим: у Марьи той не то что коровы, куренка в хозяйстве нет. Своих голопузиков семеро. На печке сидят, есть просят.

— Заходила к вам женщина с ребенком?

— Заходила, — говорит Марья, — городская такая, губы крашеные. Попросила девочку приглядеть, пока она в соседнюю деревню за хлебом ходит. Дескать, и нам принесет. Пусть девочка поночует одну ночь. Я и согласилась. А оно, вон как вышло. Не пришла городская-то за девочкой. Бросила. Ну, кормила, пока картошка была да мякины на донышке. А потом и своим стало нечего есть. Тут немцы на подводах по селу едут, беспризорных детей собирают. Дескать, в госпиталь. Я и отдала. А что было делать?

Отправились мы с Оксанкой госпиталь тот искать. Спрашиваем, а над нами люди смеются: какой госпиталь? В госпиталях только раненых держат и то своих. А тут русский ребенок. Обманули вас. В детприюте надо искать. Сказывают, в Сосновке детский приют. Пошла Сосновку шукать. А страшно. Кругом — гыр, гыр, гыр — немцы балакают. Пристают: куда, паненки, идете? Партизан ищете? Мы с Оксанкой — деру. Еле убежали.

Тетя Люся опять замолчала. Сидела, чуть покачиваясь и закрыв глаза, а по щекам слезы. Людмила не хотела ее тревожить и тоже молчала. Тихо стало в доме, лишь где-то в сених жалобно мяукала кошка — просилась на волю.

Тетя Люся прошла в сени, выпустила кошку на улицу. Вернулась, немного успокоившись.

— Ну, нашли мы тот приют. Два длиннющих барака с разбитыми окнами. А на дворе уже снежок порхает. Мы к начальнику. Наш, русский, как сейчас помню — Магнолин Юрий Абрамович. Морда рябая, вся в оспинах, и руки волосатые, как у медведя.

— У вас Овчаренко Людмила?

— А я почему знаю? — отвечает. — Много тут всяких — подкинутых.

В ногах ползали. «Дяденька, ты такой красивенький». Все же упростили его, чтоб он в барак нас впустил — поглядеть только. Зашли в барак. Батюшки! Детей штук двести. Плачут, дерутся. Гвалт, как на базаре. Пол цементный, в разбитые окна ветер дует. Кашель стоит неимоверный. Как увидели нас детишки, ручонки тянут — дай, дай! Неизвестно, чего просят, просто — дай! Глаза у всех голодные. Я среди них бегаю, тебя ищу. Нигде нет. В один угол, в другой — ну нигде. А они — дай! За ноги ловят, цепляются. И вдруг вижу: ты! Сидишь голой попкой на холодном цементе. Ножки кривые колесом, а живот, как арбуз, большой. Сидишь и молчишь. Глаза, как у волчонка. Меня не узнаешь. Я кинулась: «Милочка, ты?» Давай целовать, обнимать. Скажи хоть словечко! А ты: «Танька у Маньки украла макуху». Какая Танька? Какая Манька? Ты меня-то узнаешь? Люся я, тетя Люся твоя. Помнишь, как мы с тобой в куклы играли? Кукла твоя, на живот нажмешь, «уа» кричит. Ясынька ты моя, ненаглядная. А ты, знай, твердишь: «Танька у Маньки украла макуху». Ну, ладно, главное, что нашли. Мы опять к на-

чальнику. «Отдайте девчонку». — «А что я за это буду иметь? Гоните мне сотню яиц и килограмм сала». — «Дяденька, побойтесь бога, где мы сала возьмем, сами два дня не евши». — «Тогда проваливайте отсюда, а то я и вас в приемник заберу». Что делать? Старушка там работала. Баба Ксеня. Махонькая такая. Увидела, что мы за баракom в бурьяне прячемся, присоветовала: «Добром дите все равно не отдадут. А вы его украдите. Кто их тут стережет? Кому они нужны?»

Дождались мы ночи. Дверь в бараке на замке. Оксанка шепчет: лезь в окно, я постерегу. Ну, влезла. Платьем за гвоздь зацепилась. А в темноте и совсем растерялась: не могу тебя найти со страху. Ползаю, зову: «Мила, Мила!» Не откликаешься. Потом на чью-то ногу в темноте наступила, слышу, бормочет кто-то: «Танька у Маньки украла макуху». Ага, думаю, ты. Схватила в охапку — и к окну. А ты дерешься, в окно не лезешь. Шепчу Оксанке: «Тяни!» — «Да как ее тянуть? Руки, боюсь, оторвутся...»

Людмила лежала, слушала взволнованный голос тети Люси, и горько было у нее на душе. Не себя она жалела. Что она тогда понимала? Пять лет — совсем несмышленыш. А вот Люся... Сама еще ребенок, и такая отвага, такое самопожертвование. Жизнью своей рисковала. А мать? Где была в эти дни мать? И почему уже после войны она никогда даже не напомнила ей о тете Люсе? Боялась, что все раскроется? И она все узнает? Или просто хотела изгнать из памяти прошлое? Трудно было во все это поверить, но так горячо, так искренне рассказывала тетя Люся.

— Выволокли мы тебя из барака. Бежим. Бомбежка началась. Мы в какую-то воронку забились. Проекторы как полоснут, осветили все. Оксанка как закричит: «Ой, не ту украли! Та беленькая была, а эта черная, как грачонок». Испугалась я, может, вправду, не ту. Давай спрашивать: «Тебя как зовут, девочка?» А ты как немая. Твердишь дурком: «Танька у Маньки украла макуху». И все. Дома, когда принесли, еще целый год не разговаривала. Думали уж, совсем глупой стала.

— Ну, а мать? — спросила Людмила, когда тетя Люся замолчала.

— Сыскалась. После войны уже. Говорит: на торфоразработках работала. На торфоразработках, а руки белые, нежные...

Тетя Люся сидела на краешке кровати и вспоминала, вспоминала. И Людмила чувствовала, как забытая нежность заполняет ее душу, льется через край. Может быть, вот эта заполненная нежностью и жалостью душа и выливается из глаз светлыми, очищающими слезами? Ведь помнила она, не могла не помнить худенькую голенастую девчушку, которую так странно нужно было называть тетей, помнила, как эта тетя целыми днями возилась с ней, кормила, поила подслащенной сахарином водичкой, таскала на карпушках. Помнила, а потом забыла? Имела ли она право такое забыть? И помнила, конечно, как все старалась что-то сказать ей ласковое, а выходило одно: «Танька у Маньки украла макуху». Как во сне, из далекого далека всплыл в ее памяти деревянный барак с холодным каменным полом, а в самом его углу Танька и Манька — две сестрички, обе пучеглазые, в веснушках. Манька была тихоней, зато Танька — огонь. Она и в самом деле все крадала. И не только еду. Однажды, когда Манька спала, она стащила у нее синюю кофту. А Манька плакала, уткнувшись лицом в подол рваной рубашонки, да так, плача, и умерла. Упала головой на каменный пол и покатилась. Девочки подбежали: что с тобой? А Манька лежит неподвижно, только кровавая пена изо рта — пузырями.

Как же она могла такое забыть? И если б не тетя Люся... А мать? Что ж? Как говорится, бог ей судья, но она даже и отца забыла. Даже фотографию не сохранила.

— А ты на Тараса похожа, — словно угадав ее мысли, сказала тетя Люся, — крошечки все подобрала. Посмотри, если не веришь.

С портрета, висящего над столом, глянули на Людмилу очень знакомые глаза. Такие ж, как теперь у ее дочери. Как у ней самой. И нос тот же. И подбородок.

— Можно, я возьму этот портрет себе?

— Возьми. У меня еще есть. Он любил тебя. На фронт уходил, никак не мог оторваться. До дверей дойдет, опять вернется. У меня и письма его сохранились. Правда, только два. Больше не успел написать.

У Людмилы задрожали пальцы, когда она взяла в руки пожелтевшие солдатские треугольнички.

«Только дочку мне сберегите, — писал отец с фронта, — вернусь домой, куплю мотоцикл и всех вас буду по очереди катать на нем».

Во втором письме было и прямое обращение к ней, к Людмиле: «Милочка, доченька, расти красивой, как твоя мать, и доброй, как тетя Люся. И помни своего папку, который встает и ложится с тоской по тебе, а завтра пойдет в бой тоже за тебя. А если мне суждено умереть, я буду знать, что осталась на земле моя родная кровинка, моя курносая Мила».

Как же так случилось, что и отца своего она не знала и даже никогда не задумывалась о нем? Как будто его и не было совсем? Чужого человека звала отцом... А ведь он жил, любил, страдал. Ходил вот по этим скрипучим половицам.

— Когда погиб отец? — спросила Людмила.

— В сорок втором. Под Сталинградом. Разве мать тебе не рассказывала о нем?

— Никогда. Ничего.

— Значит, не любила. Мы знали это, чувствовали, только он не видел. Может, и хорошо, что не видел: не так страшно было помирать.

Людмила оглядела комнату.

— Тетя Люся, — спросила она, — а вы так и жили все время здесь? Одна?

— Почему одна? Муж был. Хороший человек. Разошлись.

— Почему?

— Детей не было. Меня, видно, война покалечила. Такие страхи пережить... А ему так хотелось детей. «Ты, говорит, прости меня, Люся, что уйду. Но я еще на фронте клятву дал: останусь живой, выращу не меньше трех сыновей. Назову их именами погибших своих друзей». Теперь у него семья. Четверо детей, все девочки...

Тетя Люся смахнула слезу, улыбнулась:

— Что это я все о себе да о себе. Ты-то как живешь? Детки есть? Муж?

Людмила сразу как-то обмякла, тихо заговорила:

— Тоже разошлись. Он во флоте служил, а я то дома одна, то на гастролях... Может быть, мне надо было уступить, поступиться своей работой. А я не смогла. Не смогла бросить театр. Это знаешь как затягивает! Нет, ты не думай, я не жалею. Когдаходишь в роль... Будто влезешь в чужую шкуру и чувствуешь, как она прирастает к тебе. Тебя уже вроде нет. Ты та, которую ты изображаешь. И если люди плачут и смеются вместе с тобой, значит, верят тебе. И это счастье. Во

всяком случае, я думала так... до сегодняшнего дня.

— До сегодняшнего?

— А сегодня я поняла. Не только на сцене, но и в жизни я жила какой-то чужой жизнью... Жила и ничего не знала ни об отце, ни о тебе, а в сущности — и о себе самой ничего не знала. Кто я? Откуда?.. Не думала как-то об этом, не вспоминала. А впрочем...

Впрочем, теперь Людмиле казалось, что наконец она все вспомнила, чтоб не забыть уже никогда.

Далекие

ЗВОНЫ

Рассказ

1

Озеро было огромным — противоположный берег скрывался в синем мареве, — а на озере семь островов, словно чьей-то мощной рукой сброшенные с высоты изумрудные камни. А еще острова, поросшие высокими мачтовыми соснами, походили на старинные парусники, плывущие неведь куда.

У какого же острова бросить якорь?

После долгих споров и пререканий остановились наконец на одном почти голом островке. На нем росли только три захудалые сосенки, зато пляж целый день был открыт солнцу. Быстро разбили палатки, разожгли костер.

— Ребята, а тишина здесь какая!

— От такой тишины и оглохнуть недолго, — тут же возразил Игорь и полез в палатку за гитарой. «Добровольный массовик-затейник» — так он сам себя называл, а другие, конечно, ему подыгрывали:

— Давай, давай, Игорек! Ударь, чтоб небу стало жарко!

Игорь и ударил:

Потому что мы народ бродячий,
Потому что нам нельзя иначе...

Остальные дружно подхватили:

Потому что нам нельзя без песен,
Потому что мир без песен тесен...

Когда до хрипоты напелись, вспомнили и про обед. Девчонки тут же взялись за концентраты, ребята развалились на песке в блаженных позах — закурили... Игорь не курил, он лишь презрительно глянул на ребят и поднялся:

— Пойду пройдуся. Надо обследовать местность.

— И я с тобой, — сказала Эля, — только разуюсь.

Песок под ногами был так сыпуч, что почти не оставлял следов, тут же и заравнивал их, и лишь у самой воды лежал плотно, укатанный волнами. День был без-

ветренный, и волны лениво, будто нехотя, лизали берег.

— Правда, хорошо?

— Хорошо, только ногам щекотно.

Западный берег оказался крутым, здесь-то, на самом краю, и росли три сосны. Одну сосну вода подточила так, что обнаженные корни ее торчали высоко над землей, образуя маленькую пещерку.

Эля тут же забралась в нее.

— Ой, как здесь уютно! И солнце не палит, и от дождя можно укрыться.

Игорь тоже влез в пещеру, обнял Элю за плечи. Она отстранилась.

— Ты что?

Не отвечая, Эля отодвинулась в угол пещеры, легла там, стала смотреть на озеро.

«Подумаешь, недотрога... Да мы таких!..» Он хотел было уйти, но Эля остановила его.

— А там звонят, — сказала она.

— Где?

— Под землей. Приложи ухо.

Игорь лег, прижался щекой к горячему песку.

— Придумала...

— Да нет же, слышишь? Будто колокола, только не большие, а маленькие — подколокольники. Как эхо, слышишь?

— А, — усмехнулся Игорь, — я где-то читал: поющие пески.

— Вовсе не пески, — сказала Эля. — Это в церкви звонят.

— В церкви?!

— Ага. Раньше на этом месте церковь стояла. А потом провалилась — образовалось озеро...

— А ты откуда знаешь?

— Мне одна старушка рассказывала. Почему на озере семь островов? Потому что это купола от той церкви. Церковь провалилась, а купола остались. Семь куполов — семь островов.

Игорь осуждающе взглянул на нее:

— Ты так говоришь, будто веришь этой чепухе.

— Не верю, конечно, а жаль, — вздохнула Эля. — Уж очень красивая легенда.

Игорь засмеялся, схватил Элю за руку, пытаясь вытащить ее из пещерки.

— Ах ты моя выдумщица!..

И от одного этого слова «моя» сердце у Эли часто-

часто забилося. Она прижала руки к груди, словно боясь, что оно выскочит, и попросила:

— Не надо так шутить.

— Как? — не понял Игорь.

— Так, невсамделишно.

Чтоб как-то унять сердце, Эля поднялась по крутому обрыву, села у самого края его, стала смотреть в воду. Вода была такая прозрачная, что не отражала, а будто вбирала в себя небо. Отчетливо виделось, как плывут по дну озера облака. Некоторые из них будто приостанавливались, натолкнувшись на подводные камни-валуны. И тогда из-под этих валунов начинали бить роднички. Там, на глубине, взбалтывая вокруг себя песок, появлялись откуда-то воздушные пузыри. Они бежали наверх, как мальчишки, играющие в чехарду, догоняя и перегоняя друг дружку, чтоб, достигнув поверхности, тут же и лопнуть. То тут, то там лопались на воде пузыри, и от этого казалось, что озеро дышит.

Подошел Игорь.

— Как бы нас не стали искать. Пойдем, что ли?

Весь оставшийся день до вечера дружная ватага туристов купалась, загорала, играла в мяч. Утренний костер уже давно потух, но когда настали сумерки, его раздули снова. Это послужило как бы сигналом — на других островах тоже запылали костры. В тягучей, быстро сгущающейся темноте они словно перемигивались друг с другом: «Вам весело? Нам тоже не скучно!»

— А давайте, ребята, — предложил кто-то, усаживаясь у костра, — пусть каждый расскажет про самый счастливый день в своей жизни.

Все охотно согласились.

— Мой самый счастливый день тот, — начал, как всегда, заводила Игорь, — когда я родился.

— А мой, когда я в первый раз женился.

— Перестаньте! Вечные шуточки. А если всерьез?

И тут оказалось, что ни у кого счастливых дней просто-напросто не было. Удачные — были, приятные — тоже, а чтоб счастливые — нет, не наблюдалось.

— Стало быть, все мы несчастные? — удивилась Эля.

— Ну, почему несчастные? Не надо перегибать. Просто счастье — это нечто такое!..

— Счастье можно почувствовать только в сравнении с несчастьем.

— А что такое счастье?

— Это как несчастье, только наоборот.

— А вот когда была война... — начала было Эля, но ее тут же перебили:

— Хватит! Надоело! Каждый день от родителей слышим: не цените вы своего счастья! Вот когда мы были молодыми...

— У нашего времени тоже свои проблемы.

— И неизвестно еще, чьи посложнее!

— Зато у нас есть хлеб!

— И даже с конфетами!

— Так что кончайте свою философию и давайте честно пить чай.

Закопченный на костре чайник пошел по кругу.

— А вкусно как!..

Пили чай, о чем-то болтали, а то вдруг разом замолкали и глядели в ночное, усеянное звездами небо.

«А что там — вокруг этих крохотных мигающих светляков? — думала Эля. — Может быть, такая же земля и такой же остров, на острове горит костер, и такие же девчата и ребята тоже пьют чай и глядят в беспредельное ночное небо, усеянное звездами?»

Молчавшая весь день тонкая белокурая Вера — она всегда была неразговорчивой — вдруг засмеялась тихонько и подала свой голос:

— А знаете, был такой художник Коровин...

— Ну и что?

— Перед смертью у него спросили: «Какой самый счастливый день вашей жизни?» И знаете, что он ответил? Сегодняшний!

Все замолчали, задумались, лишь костер трещал без умолку, вздымая к небу шипящие на лету искры.

Игорь не выдержал:

— Да что это мы загрустили? Прав Костя Коровин: самый счастливый день — сегодняшний. Счастье уже в том, что мы живем! И давайте-ка петь!

Снова маленький островок гремел песней:

Студент бывает весел
От сессии до сессии,
А сессия всего два раза в год!

Из-за песни не сразу и услышали, как с другого конца острова кто-то закричал:

— Сюда! Сюда!

Песня тотчас же оборвалась.

— Кто это?

— Кажется, Борода.

— Какая Борода?

— Ну, Вадим Козлов. Ушел, никому ничего не сказал.

— А чего орет-то?

— Зовет вроде. Нашел что-то.

— Да ну его! Следопыт-переросток!

— Только песню испортил, дурак!

Песня действительно дальше не пошла, хотя «добровольный массовик-затейник» и старался вовсю, терзая струны своей гитары. А Борода не унимался, продолжал звать.

— Ребята, давайте сходим, — предложила Эля. — Может, действительно что интересное.

В темноте почти ощупью пробирались по острову, кто-то упал, зацепившись ногой за корягу, кто-то предложил связаться друг с другом веревкой, как связываются скалолазы. Наконец засветился в темноте огонек — это Борода подавал световые сигналы карманным фонариком.

— Сюда! Сюда!

— Ну и что ты нашел тут?

— Небось гильзу от снаряда?

— И радуется, как дитя малое!

— Шизик!..

Борода подождал, пока соберутся все, предупредил девчонок, чтоб не пугались, не падали в обморок, и направил свет фонарика под песчаный обрыв. И тут все увидели два белых человеческих черепа. Вода, очевидно, вымыла их из-под обрыва, и они спокойно лежали на песке, темнея пустыми глазницами.

Все испуганно замерли, лишь Игорь подошел, поднял один из черепов.

— Ну, здравствуй, красавица! — сказал он серьезно-печальным голосом.

— Откуда ты знаешь, что это женщина? — спросил его Борода.

— Забыл, что ли, я ведь без пяти минут доктор. Уж женщину от мужчины и по черепу как-нибудь отличу... Мда-а... Завидная верность... Так что шапки долой: перед нами Ромео и Джульетта.

— Не юродствуй! — Эля подскочила к нему, выхватила из рук череп, положила рядом с другим на прежнее место на песке. — Может быть, они и в самом деле любили друг друга, а ты!.. Ты!..

— Подумаешь! А что я сказал? — Игорь недоумевающе обернулся к ребятам. — Чо я такого сказал-то? Че-

го это она на меня налетела? У нас в анатомичке...

— Ну и топай в свою анатомичку! — снова взорвалась Эля.

— Ребята, да вы что? — попытался вмешаться Борода. — Из-за чего разгорелся сыр-бор? — он протягивал руку то к одному, то к другому, взывая: — Ну, Игорь, ну, Эля!

Эля заплакала:

— Я знала, я чувствовала: что-то должно было случиться. Не может быть так хорошо, так бездумно хорошо... Я знала, я чувствовала...

— Успокойся, ну что ты? — обняла ее Верочка. — Пойдем, пойдем в палатку. Да ты вся дрожишь... Успокойся. Разве ж так можно?

Все еще плача, Эля обернулась, сказала:

— По... похоронить надо...

— Хорошо, похороним, — заверил ее Борода. — Ты, главное, не волнуйся. И зачем только я вас позвал сюда?

— Вот тебе и счастливый денек, — невесело усмехнулся Игорь, когда все вернулись к палаткам. Он подбросил в костер дров, сел у огня, глядя в него задумчивыми глазами...

Так и просидел он всю ночь у костра. А в палатке всю ночь проплакала Эля.

— Я тебя решительно не понимаю: из-за чего ты плачешь? — утешала ее Вера.

Эля и сама не знала, отчего она плачет. Может, и знала, только боялась себе в этом признаться... Никто ей до сих пор так не нравился, как Игорь. И умный, и красивый, и веселый, а вот душа-то, оказывается... И слезы ручьями лились из ее глаз — обидные, горькие слезы.

...Назавтра, как и обещал Борода, они перезахоронили черепа — чуть выше того места, где их нашли, — у крутого обрыва, под тремя соснами. Аккуратно засыпали песком, сверху приложили два камня, а к камням прислонили букетики цветов. Это Вера догадалась, нарвала где-то желто-синих цветов иван-да-марьи... Постояли молча, обнажив головы, как на настоящих похоронах, и лишь потом вернулись к своим палаткам.

Над озером вставало ясное чистое утро. Казалось, свет лился отовсюду: сверху, сбоков, снизу — мерцал, струился, сверкал... Разливанное море света. Но никому не хотелось ни петь, ни плясать, ни купаться. Настроение у всех было подавленное.

Не сговариваясь, но как-то все разом начали собираться домой. Лишь один Борода не хотел уезжать.

— В чем дело, ребята? — уговаривал он всех. — Вы как маленькие. Как будто никогда смерти не видели... Вы посмотрите, какое солнце, какое небо, какой песок! Сочи! Да что там Сочи — Рио-де-Жанейро! А вы убегаєте от такой красоты... Ну, поссорились — так помиритеесь же! С кем не бывает?

— Да не в этом дело, Вадим.

— А в чем? В чем? Объясните мне, темному. Может быть, и я дорасту до вашего высокого интеллекта?

Но объяснять ему никто ничего не стал, лишь Игорь сказал как отрубил:

— Раз решили, значит, сматываемся. И точка. Приговор обжалованию не подлежит...

Эля на прощанье опять пришла в маленькую — под сосной — пещерку. Она опустилась наземь, прижалась ухом к песку. Земля молчала. Лишь наверху сосна шумела своими иголками, да плескалась волна, набегая на берег.

Эля лежала долго, очень долго, все вслушивалась... Наконец откуда-то издалека, будто с другого края земли, до нее донесся тонкий, дребезжащий, прерывистый звук — будто звонили колокола. Но, заглушая эти чарующие звуки, громко закрипел под ногами песок — подошел Игорь. Он остановился чуть поодаль, словно боясь помешать Эле, тихо сказал:

— Ты, пожалуйста, прости меня, Эля. За эту ночь я многое передумал...

Она не ответила, потому что не слышала его слов. Сквозь шуршанье сосны и всплески озера, сквозь тишину ясного мирного неба прижатое к песку ее нежное ухо ловило совсем другие звуки — светлые и печальные, мрачные и суровые... Они, эти звуки, тревожили и томили душу, хотя Эля и не могла понять: откуда все-таки эти звоны? Звоны, далекие, как эхо...

2

— Сестра! Сестра!..

Может быть, она и не проснулась бы, если б не услышала этот зов: «Сестра!» Кто-то звал ее, кому-то она была нужна, и Лена мигом подхватила: где ее санитарная сумка? Не найдя сумки, она медленно огляделась и увидела, что лежит на небольшом песчаном

острове, а над ней шумят три сосны. Ни свиста пуль, ни разрывов снарядов. Тишина...

«Где это я? И что со мной? — испуганно подумала она, но, обнаружив рядом с собой лейтенанта Веригина, тут же и успокоилась, подумав: — Все-таки я его спасла. Живой...»

Она подползла к лейтенанту поближе, прижалась ухом к его груди: сердце билось ровно и спокойно — значит, будет жить.

Глаза у лейтенанта были закрыты, и Лена не удержалась, кончиками пальцев дотронулась до его длинных пушистых ресниц: «Зачем такие парню? Отдал бы их лучше мне...»

Может быть, за эти ресницы Лена и полюбила лейтенанта. Еще с того дня, когда отчитал он ее перед всей ротой. Отчитал за то, что не было у нее в сумке бинтов. А где их взять? Хорошо еще, что ребята, разведчики, нашли в лесу немецкий парашют и подарили ей. Материя была такая крепкая, что не рвалась. Пришлось резать ножом. И за два дня Лена нарезала целую кучу бинтов, потому что понимала: без бинтов она кто? Для старшины лишний рот. А с бинтами! С бинтами она чувствовала себя человеком и во время боев ползала и ползала по окопам, не слыша визга пуль и грохота снарядов, потому что все время прислушивалась к стонам: «Сестра! Сестра!..» Но даже если кто-то уже и не мог кричать, она все равно каким-то внутренним чутьем находила раненого и ловко перевязывала, правда, все время помня о том, что бинты надо экономить.

Когда легкие раны на бойцах заживали, она снимала повязки и стирала заскорузлые от крови бинты в какой-нибудь подвернувшейся речушке, сушила их, развешивая на кустах во время коротких привалов. И опять ее санитарная сумка была набита бинтами, и опять она чувствовала себя нужным в роте человеком. Уже пять командиров сменилось у них за это время, и ни одному из них не в чем было упрекнуть Лену: она свое дело исполняла исправно.

Но на этот раз сумка ее, как нарочно, оказалась пустой, а только что назначенный командирзнакомился со своей ротой. Он и накричал на нее, не разобравшись, в чем дело. Но когда увидел развешанные по кустам выстиранные бинты, сам подошел к Лене и повинился:

— Простите меня, санинструктор.

И улыбнулся. Вот тогда-то Лена и разглядела его глаза — глубокие, карие, в длинных пушистых ресницах. Они словно притушивали горячий взгляд. Щеки у лейтенанта были по-мальчишески гладки.

Лене, помнится, стало нестерпимо жаль его: необстрелянный. Такие раньше всех погибали. Но этот ротный — пятый по счету! — оказался везучим. Целый месяц каждодневных непрерывных боев, а он оставался в живых!

Лена втайне даже мечтала, чтоб лейтенанта ранило, правда, немного, совсем чуточку, но чтоб он тоже позвал: «Сестра!», и она бы мигом к нему примчалась, и перевязала бы рану, и заглянула бы в его глаза.

«Стыдись! О чем ты?» — тут же укоряла она себя, но нестерпимое желание побыть рядом с ним не могла заглушить никакими укорами.

И в этом, последнем, бою, когда они заняли оборону на берегу озера с островами, она ползала от окопа к окопу, а сама все прислушивалась: не крикнет ли лейтенант, не позовет ли: «Сестра!»

Ее и позвал, но не лейтенант, а старший сержант Зарайский:

— Сестра, помоги!

Старший сержант был ранен в живот, из раны вместе с кровью сочилось что-то белое, пузырящееся, и Лена туго стягивала бинты, чтоб задержать это белое, а оно все сочилось, выползало...

Тогда Зарайский взял ее руку, приложил к своей небритой колючей щеке:

— Не надо, сестричка... все равно поми...

Он даже не успел выговорить последнего слова, глаза его остановились, навсегда уставясь в одну, только ему видимую, точку.

Лена и хотела бы поплакать над ним, но слез не было, и она лишь привычным движением руки закрыла старшему сержанту глаза. Отползла, но тут же и вернулась — вспомнила про бинты. Товарищу старшему сержанту они уже больше не понадобятся. Помнится, она уже наклонилась над Зарайским, как услышала рядом голос:

— Лейтенанта тоже, видать, гробануло.

— Где? Где? — встрепелась Лена.

— А вон, под березкой, лежит...

Она быстро нашла лейтенанта, хоть он и был присыпан землей. Проворными руками ощупала его — нет,

раны нигде не было, но лейтенант лежал не двигаясь. И Лена в ужасе вскрикнула:

— Убит?!

— Живой он. — Рядом оказался взводный — младший лейтенант Смирных. — Контузило лейтенанта. Медицина, а не видишь. — И приказал: — Бери его — и в лодку. Переправляйтесь на тот берег. Думаю, на этом нам долго не продержаться. А лейтенант, может, и отойдет.

— Слушаюсь! — Лена на минуту замерла рядом с неподвижным лейтенантом.

Смирных подозвал двух красноармейцев, и они помогли Лене перетащить почти безжизненное тело лейтенанта в лодку, оттолкнули ее от берега.

— До свидания, сестричка! Встретимся на том берегу...

Лена гребла, старалась изо всех сил, но скоро немцы, очевидно, заметили лодку и открыли по ней стрельбу. То справа, то слева взметались фонтанчики воды, видать, перебитое пулей, сломалось весло, но она продолжала грести и обломком — потому что одно-единственное желание владело ею: спасти, во что бы то ни стало спасти лейтенанта. Она даже не почувствовала, как ее ранило, опомнилась, лишь увидев кровь. Она испугалась и выронила обломок весла. Теперь грести стало совсем нечем, и она опустилась рядом с лейтенантом на дно лодки, решив: погибать так хоть вместе...

Сколько времени прошло с тех пор, Лена не помнила — лодку несло и несло куда-то. Потом она заметила, что и стрельба прекратилась. Давно уже стемнело. Звезды вспыхнули в небе, и такая тишина разлилась вокруг, что стало страшно: а вдруг она не выдержит и взорвется? Так, в ожидании и страхе, прошло еще несколько часов, пока лодку наконец не прибило к берегу острова.

Сначала Лена не поняла, что это остров, подумала: тот самый, противоположный, нужный им берег, и поспешила вытащить из лодки лейтенанта. Про лодку в те минуты она даже не вспомнила, и ее отнесло прочь. Когда хватилась, было уже поздно. Лена сидела на теплом песке и чутко вслушивалась: почему никого не слышно. Наши ли отошли, противник ли отступил... И что делать ей? Как выбраться с острова? Как спасти лейтенанта?

И все-таки, несмотря на мрачные думы, радость би-

лась у нее в сердце. Ведь главное — они живы. А рана на руке — так это пустяки. Сейчас она ее перевяжет, и все будет в порядке. Главное-то: живые.

И весь мир живой!

Светит солнце, какие-то пичужки поцвинькивают над головой, и волна ласково лижет песок. Всю бы жизнь так: лежать на песке, слушать птиц, и ничегошеньки больше не надо... Но где же ее санитарная сумка? Огляделась — рядом темнеет куст можжевельника, Лена заглянула под него и обнаружила птичье гнездо, а в нем четыре маленьких серых яичка покоились в песчаной лунке. Чьи же это?

Когда она с братьями до войны ходила в лес, они всегда учили ее: вот это гнездо дрозда, а вот это — с крышей — сорочье. Вспомнив братьев, она тут же вспомнила и маму, но не такой, какой она провожала свою дочь на фронт, а еще совсем-совсем молодой.

Лена так явственно услышала голос матери, что на какое-то мгновение поверила: она не здесь на острове, а дома. Боже, как далеко тот дом, и суждено ли ей снова увидеть маму и братьев?..

Долго Лена ползала по песку, ища свою сумку, а она — вон она на сосне висит и слегка под ветром покачивается. Лена достала бинты и, как могла, одной рукой перевязала себе руку. Потом, порывшись в сумке, обнаружила пузырек со спиртом. Может, спирт поможет привести в себя лейтенанта?

От глотка спирта, влитого в рот, лейтенант и в самом деле закашлялся и открыл глаза. Правда, сначала взгляд его был бессмыслен, словно невидящ. Лена наклонилась к самому лицу:

— Товарищ лейтенант, очнитесь! Это я, Лена, узнаете меня?

— Ммы-ы, — замотал головой лейтенант.

Лена влила ему в рот еще глоток спирта. Откашлявшись, лейтенант протянул:

— Сестра-а...

— Ага, — обрадовалась Лена, — она самая. Санинструктор Звягина. А можно просто Лена. Вы еще ругали меня однажды. Помните?

— Помню-у...

Язык лейтенанта еще плохо слушался, и глаза то и дело закрывались. Лена испугалась: вдруг он опять впадет в беспамятство? Ухватившись за борт его шинели, она принялась трясти лейтенанта.

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! Не закрывайте глаза, а то мне страшно.

Он с трудом поднял голову, огляделся:

— Наши где?

— Не знаю, — заплакала Лена, но, плача, почувствовала, как рука лейтенанта бережно коснулась ее головы, погладила волосы. И от этой робкой, несмелой ласки она еще пуще расплакалась: — Я уж думала, вы совсем не очнетесь. Легче вам, легче?

Лейтенант не отвечал, лишь все гладил и гладил ее по волосам, устремив взгляд куда-то в небо, так что Лене стало даже не по себе: может быть, он бредит? Может, его не надо тревожить пока, а дать время отлежаться?

— Вы отдохните, а я в разведку, — сказала она и поднялась.

Ей и в самом деле нужно было как следует оглядеться, определить их местонахождение. То, что она разведала, не сулило ничего хорошего: остров был голый, открытый со всех четырех сторон, так что нигде было даже укрыться. И лишь под одной сосной она обнаружила небольшое углубление вроде окопа.

«Вот куда надобно перебраться», — решила она и возвратилась к лейтенанту. Подошла сзади — он не заметил — и увидела, что лейтенант вытащил из кобуры пистолет и пересчитывает патроны. Лена насчитала их у него восемь штук. Один патрон лейтенант почему-то отделил, переложил в карман гимнастерки.

— А я свою винтовку на минутку в окопе оставила, — призналась Лена. — Вернулась, а там прямое попадание...

Лейтенант заметил на руке у Лены повязку, встревожился:

— Ты ранена?

— А, зацепило чуток. Вы-то как?

— Шум в голове, грохот. Будто где-то стреляют.

— Но ведь тихо кругом, тихо...

Они разом замолчали, прислушались: ниоткуда не доносилось ни одного постороннего звука, лишь сосна жалобно поскрипывала своим раненым стволом.

— Вы можете идти? — спросила Лена.

— Куда идти-то?

— Тут недалечко...

Она помогла лейтенанту дойти до сосны, устроила его в окопчике.

— Есть хотите?

— Нет, ничего не хочу...

Они лежали под сосной и смотрели на озеро. Вода в нем сверкала, как рыба чешуя, будто со дна озера на поверхность выплыли разом тысячи рыб и подставили свои спины солнцу.

— Краси-иво, — сказал лейтенант, — как во сне...

— А мне почему-то страшно. От красоты этой страшно...

Лейтенант повернул голову и пристально посмотрел на Лену:

— Не надо бояться, ведь ты со мной. Мы что-нибудь придумаем, вот увидишь. Только бы шум в голове затих. Ведь ты мне веришь?

— Конечно, верю...

Он достал из кармана шинели несколько кусочков сахара, протянул ей.

— А тебе?

— Не могу, тошнит.

Она даже не заметила, как перешла на «ты», но тут же и спохватилась:

— Ой, простите, товарищ лейтенант!

— Брось ты эту субординацию, — улыбнулся он. — Зови меня Сашей. А еще лучше — Шурой, так меня мать называла.

— А меня мать звала Лекой.

— Лека... Лека, — повторил лейтенант, будто вслушиваясь в это имя. Тихо произнес: — Как птица...

Лена не поняла. «Почему как птица?» — хотелось спросить, но лейтенант, прикрыв глаза, застонал, и Лена оставила его в покое.

Озеро стало темнеть — солнце уходило в тучи, а с востока уже ползла ночь, и Лена страшилась: что-то она принесет им?

— А ты веришь в предчувствия? — вдруг спросила она.

— Чепуха...

— А вот и не чепуха. Хочешь, расскажу?

— Расскажи, — разрешил лейтенант.

— На прошлой неделе ташу я Одинцова в медсанбат — помните, здоровый такой, сибиряк, — а он кроит по-всякому фрицев. Прошу: перестань ты, мол, ради бога. Ни в какую! Ну, дотащила. А сама спать хочу, помираю не спавши. Врач у нас был Иван Семеныч, хороший такой, говорит: иди, мол, на мою кровать при-

ляг, пока я с этим матерщинником не разделаюсь. Нет, говорю, что вы! Мне на передовую надо. Пошла. А сама иду и сплю на ходу. Раньше я даже не верила, что так можно. Оказывается — можно. И даже сон вижу: будто я это вовсе и не я, а птица. И крылья у меня вместо рук, и перья на теле, только неприятно, что с клювом. Зато радостно: вот взмахну крыльями и полечу куда захочу. Хоть домой даже... Нет, думаю, дома меня не узнают, возьмут и подстрелят из ружья. Слышу — и вправду стреляют. Гляжу, а это «юнкерсы» налетели и давай бомбить. Я в какую-то воронку упала, ногу чуть не вывихнула. Но нога — ладно. А как «юнкерсы» улетели, я назад оглянулась, смотрю: вместо медсанбата — один дым...

Лена немного помолчала, глядя в вечеряющее небо с только что рождающимися звездами, и улыбнулась:

— А сейчас у меня такого предчувствия нет.

— Вот и хорошо, — согласился лейтенант.

Потом она еще что-то говорила, рассказывала о своих братьях, какие они здоровые и сильные — настоящие сибиряки, а она вот уродилась махонькой, поэтому мать ее на фронт и не пускала. А если и вправду не пустила бы, они теперь вот и не встретились бы...

Лена так и уснула на полуслове, но даже сквозь сон ощущала, что лейтенант здесь, рядом, и что ему тоже хорошо, потому что она с ним.

Неизвестно, сколько они проспали, прижавшись во сне друг к другу, но проснулись разом, как от какого-то внутреннего толчка. А может, это луна разбудила их, выйдя из-за леса и заглянув в окоп?.. Они проснулись, но лежали тихо, не шевелясь, боясь потревожить друг друга.

— Лека, — наконец решился позвать лейтенант.

Она не ответила и затаилась еще больше, делая вид, что не слышит.

— Ты же не спишь, я знаю, — снова подал голос лейтенант.

Лена все равно не ответила, и тут он почувствовал, что она начала тихонько отодвигаться.

— Ты чего? Так же теплее.

Лена продолжала упорно отодвигаться куда-то в угол окопа.

— Лека!

Лейтенант придвинулся, в темноте губами нашел ее губы, но она резко мотнула головой, зашептала:

— Я боюсь, Шура. Я еще никогда, никогда... Понимаешь, никогда...

— Глупенькая, ну чего ты боишься? — Шершавой своей ладонью он гладил ее мягкие теплые волосы, утешал как ребенка: — Смотри, ночь какая... Как будто и войны вовсе нет. И луна даже спряталась, чтоб не мешать. Ну, поцелуй меня...

— Нет!

— Но почему, почему? Я ведь давно знаю, хоть ты и молчала... Ты такая ласковая... Почему, почему?..

— Потому... потому что... — Лена никак не могла решиться это сказать, — потому что я уже целовалась с одним парнем!

— Не верю...

— Ага, не веришь, а он знаешь какой сильный! Я мимо гумна шла, а он как выскочит оттуда, схватил меня и давай целовать...

Лейтенант тихонько засмеялся.

— И все? — спросил он.

— А что же тебе еще надо?

— Чудачка ты... Это ж он тебя поцеловал, а не ты его. Ну, поцелуй!

— Боюсь...

— Под пулями не боишься, а тут... Милая ты моя, желанная...

Он целовал ее волосы, глаза, нос, а губы Лена все еще не давала, увертывалась от его губ.

— Не надо, не надо, Шура, я прошу тебя, — шептала она, отодвигаясь и отодвигаясь от него. — Не сейчас, не сегодня...

— А когда, когда? Может, завтра нас уже...

— Нет! — вскрикнула она, не дав ему договорить. — Нет! Слышишь? Я не хочу! Я жить хочу! И мы будем жить! Ты веришь мне? Я сердцем чую: мы будем жить!

— Успокойся, — он взял ее руку, прижал к своим глазам. — И не кричи так. В голове шумит.

— Прости. Но ты же сам сказал: что-нибудь придумаем. Выберемся мы с этого проклятого острова. Мы же здесь как в мышеловке. Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю.

— А все я виновата, я, я...

— Не кори себя. Никто не виноват. Приляг, ты вся дрожишь. Ну, слышишь? И не бойся. Я тебя не трону. Спи...

Он прикрыл ее своей шинелью, сам сел у входа в

окоп, закурил. Луна уже высоко поднялась над озером, отражаясь в воде огромной рыбой. А еще в воде отражались звезды; они мерцали, шевелились как живые, и оттого казалось, что в воде их гораздо больше, чем на небе.

— Прости меня, — прошептала Лена. — Простишь, Шура?

— Да ладно тебе...

Больше они не сказали друг другу ни слова до самого рассвета, хотя не спали, а на рассвете...

Лена первой уловила в тишине утра какие-то неясные торопливые всплески.

— Слышишь? — насторожилась она.

— Ничего не слышу. Волна бьет в берег.

— Нет, не волна. Плывет кто-то. Слышишь? Веслами по воде...

— Туман откуда-то взялся. Ничего не видать.

Они стояли на берегу и до боли в глазах вглядывались в утреннюю наволочь тумана. Туман разрывал границу между водой и небом, окутывая озеро в белесый пар. И вдруг в этом зыбком, белесом зачернели темные пятна — лодки. Они шли широко, полукольцом оцепляли остров.

— Может, наши? — с надеждой прошептала Лена, оглядываясь на лейтенанта. Тот, не отвечая, вытащил пистолет, приготовился.

— Подожди, не стреляй, — попросила Лена. — А вдруг наши?

— Сейчас узнаем.

Лодки уже обозначились настолько, что их легко можно было пересчитать.

— Одна, две, три... пять, — принялась считать Лена, возбужденно и радостно глядя на лейтенанта. — Конечно же наши! Слышишь, как плывут осторожно...

— Ложись! — приказал лейтенант.

Они не успели упасть в песок, как из передней, наплывающей из тумана лодки донесся хриплый полусонный голос:

— Русс, сдавайсь!

Лена растерянно оглянулась, словно не понимая, и вдруг закричала тоненько, пронзительно.

— За мной! — приказал лейтенант и, вскочив, побежал к соснам. Они залегли в окопе, не спуская глаз с приближающихся лодок.

— Ну, стреляй, стреляй! — шептала Лена, вцепившись лейтенанту в рукав. — Чего ты ждешь, Шура?!

Немцы тоже не стреляли, зато со всех лодок, будто по чьей команде, донеслись гогот, свист, улюлюканье.

— Ой! — простонала Лена, и глаза ее наполнились ужасом. — Они ведь нас живыми хотят взять. Понимаешь? Живыми... — Она обняла лейтенанта и начала исступленно его целовать. — Шура... Шурочка..

Лейтенант оттолкнул ее — она мешала ему целиться — выстрелил. Передняя лодка слегка качнулась, и что-то большое, грузное, перевалясь через борт, плюхнулось в воду.

— Ага, гад, захлебнулся!

А лодки уже шаркали днищами о песок, и немцы выпрыгивали из них прямо в воду. Лейтенант выстрелил еще раз — один из бегущих упал, но остальные продолжали бежать, не переставая свистеть, кричать и улюлюкать.

— Боже мой, они же меня... будут мучать! — прошептала Лена. — А я... А я... Дура!

Задыхаясь от слез, она все целовала и целовала лейтенанта, тут же, на виду у немцев — под их гогот и улюлюканье. И тут сквозь весь этот грохот и шум лейтенант услышал над своим ухом тихое, просящее:

— Шура, убей меня... Шурочка!

Он испуганно оглянулся: Лена стояла на коленях и тянула к нему руки с худенькими дрожащими пальцами, а в глазах, полных слез и отчаяния, было столько мольбы:

— Если любишь — убей! — Лена зажала руками свое лицо, тело ее мелко дрожало от рыданий.

Вдруг стало тихо, хотя свист, крики и улюлюканье все приближались, но они отодвинулись куда-то далеко-далеко, а здесь, рядом, была только Лена, ее руки, ее глаза, ее губы. И губы эти шептали:

— Значит, не любишь, не любишь, не любишь...

— Люблю...

Она не услышала выстрела, лишь ощутила, как что-то легонько толкнуло ее в грудь, как раз в то место, где рвало гимнастерку готовое выскочить из груди сердце. А над островом, над озером, над землей, над всем миром качнулось и поплыло эхо, словно где-то далеко-далеко отозвались звоном колокола...

Веселухинские

затинки

Как я попала в Веселуху

Я совсем недавно живу в Веселухе, всего четвертый год, но настолько полюбила ее, что порой мне кажется: я тут родилась. А открыла я деревню совершенно случайно. Поехала в лес за ландышами и заблудилась. Полдня плутала по лесу, из сил выбилась, села отдохнуть и вдруг услышала далекий собачий лай. Он и привел меня в небольшую деревушку, всю в яблоневои цвету. Сады цвели так пышно, что из-за них не было видно даже изб. Особенно меня поразил один сад: яблони, вишни, сливы цвели в нем, кажется, всеми оттенками, начиная с белого, через розовое, до ярко-красного. Еще ни разу в своей жизни я не видела такого буйного цветения. Будто спустилась на землю небесная радуга.

Как околдованная стояла я перед садом, пока не почувствовала, что рядом кто-то стоит еще. Это оказалась худенькая старушка в платочке горошками.

— Ты чегой-то, милая, словно не в себе? — спросила она.

— Красиво очень.

— Красиво, — согласилась старушка. — Только красота эта сиротская... Касьяновна-то, хозяйка сада, померла о прошлом лете.

Только теперь я заметила в глубине сада заросшую лопухами и крапивой чуть не до самой крыши небольшую избу.

— Продается? — спросила я.

— Кому продавать-то? Совсем безродная была наша Касьяновна. Да и кто ее купит?

— Я бы купила.

— Зачем покупать? Переезжай и живи, сколько душехенька пожелает.

Так я стала каждую весну приезжать в Веселуху и жить здесь до поздней осени.

Сначала жители деревни меня немного чурались, потом привыкли, обзакнались. Теперь навещают

часто: кто кусок сала принесет, кто яиц, кто молока. Без гостинцев обычно не приходят — так здесь заведено. Ну, и я, конечно, не остаюсь в долгу. Помогаю, чем могу.

— Слышь, милка, не закажешь ли ты мне очки в городе? Совсем слепа стала. Не могу нитку в иголку вдеть.

— А мне книжку дай почитать. Только чтоб хорошую — про любовь.

— Иди ты выпись, Антиповна, — возмущается строгая баба Мавра. — Зачем тебе про любовь?..

— Как зачем? И по радио вон поют: «Любви все возрасты покорны».

Иногда эти просьбы совсем невероятны. Например, дед Никифор попросил достать ему телескоп. Зачем? Звезды наблюдать. Он и так чуть не каждую ночь наблюдает их в подзорную трубу, а в телескоп, сказывают, лучше.

Я всей душой полюбила этих старух и стариков — каждый из них с какой-нибудь да чудиной. Нелегкую жизнь прожили они, а чужинка все равно осталась. Общие невзгоды сплотили их, и теперь деревня Веселуха живет как бы одной большой семьей. Живет дружно, уважительно. Случаются, конечно, ссоры, но несерьезные.

Например, из-за Степановниной индюшки, которая устроила себе гнездо и снесла яйца под вишней у Ленивой Саши, а та не заметила и раздавила гнездо. Степановна обиделась и два дня с ней не разговаривала. Тогда Ленивая Саша вместо индюшачьих вернула Степановне гусиные яйца, на что та ответила:

— Гусиные ешь сама.

И понесла Ленивую Сашу, что называется, по кочкам.

Ругались они до тех пор, пока не пришла Мавра-торюшница и не усмирила их, сказав, что если они не уймутся, то на том свете будут лизать горячие сковороды. Перспектива с горячими сковородами ни Степановну, ни Ленивую Сашу отнюдь не устраивала, и они помирились.

Смешно мне на них глядеть, но и горько. За их судьбы горько...

Откуда она пошла

Рассказывают, что наша Веселуха не всегда была Веселухой. Когда-то, в стародавние времена, она прозывалась Гореловкой. По причине частых пожаров. То молния косанет соломенную крышу, то шальная искра налетит бог весть откуда — и занялась деревня. Сгорит вся дочи́ста, а потом отстраивай... Что ж делать? Отстраивали и опять жили — до следующего пожара. Не жили, а горе мыкали. И, наверное, оттого что часто встречался с бедами, народ в Гореловке был лихой, отчаянный.

Принадлежала когда-то Гореловка графу Разумовскому. Богатый был барин, богатый, оттого и хлебо-сольный. Чуть ли не каждый праздник балы на весь уезд. А гореловских мужиков подряжал для всяческих графских затей. И вот как-то случилось, что послал он их на реку Сож за раками — на балу званых гостей потчевать.

Снарядили гореловские мужики три телеги, на телеги пустые бочки взгромоздили, отправились раков ловить. Чтобы дело исправно сделали, граф Разумовский дал мужикам задаток — по пять копеек на рыло. Те и рады-радешеньки — отправились на Сож. Ну, все чин чинарем, раков наловили, бочки раками набили и везут в графское имение. А тут на беду — шинок на дороге. В шинке шинкарка молодая да ласковая: «Милости прошу к нашему шалашу». Ну, деньги в карманах звенят, отчего ж не выпить? Загуляли мужики. До тех пор гуляли, пока карманы не выворотили. Тут кто-то и вспомнил: «Батюшки, на бал опаздываем!»

Вскочили гореловские мужики на подводы и давай лошадей гнать. Да не тут-то было: время-то прогулено. Как к графу на глаза являться? Шкуру спустит за опоздание. Думали, думали мужики — придумали. Один, самый смекалистый, командует:

— Высыпайте раков из бочек прямо на дорогу, сами берите в руки по хворостине.

— Зачем это?

— Затем, чтоб барина обмануть.

Сам вскочил на коня и — в имение к графу. Через некоторое время вслед за ним скачут на лошадях граф и с ним десятка два гостей. Граф как увидел мужиков с хворостинами, чуть с лошади не упал от удивления.

— Вы что ж это, голуби мои, делаете?

— Раков гоним, вашество. Как приказано.

— Пехом?

— Пехом, вашество, потому и припозднились. Мы их гоним, а они, дурни, не хотят на бал идти; в разные стороны расползаются...

— Это не они дурни, а вы, — под хохот своих гостей рассмеялся и граф и простил мужиков. Отвалил каждому еще по пятаку за усердие... А перед гостями своими оправдывался: — Это ж надо придумать такое! Раков с реки пехом гнать... Вот дурни так дурни...

А гореловские мужики опять в шинок и за гульбу. Потешались над бедным графом, сколько могли.

— Дурней нашего графа в целом свете нету. Это ж надо придумать — с реки мы пехом гнали!.. Вот дурень так дурень!

Веселились не только гонщики раков, но, считай, вся деревня Гореловка. Вот с тех пор и стали ее звать Веселухой.

С новым названием словно бы и счастье привалило в деревню. По крайней мере больше она не горела ни разу. В войну и то уцелела.

Место для деревни выбрано красивое — на высоком берегу Жереспейки. Красивая деревня была и многолюдная — дворов на семьдесят. В каждом дворе — куча детишек. А хиреть она стала уже после войны. Люди, набедовавшись вдоволь, стали уезжать кто в Сибирь, кто на Север, иные переселялись в ближние города. А когда разобрали и перевезли на центральную усадьбу колхоза школу-восемилетку, тут уж и совсем захирела Веселуха. Сперва уехали те, у кого были дети — к школе поближе. За ними потянулись и остальные. В общем, уезжали все, кто был в состоянии уехать. Кто — в так называемые колхозные поселки городского типа, а кто — и прямиком в город. Не пропадать же в деревне, которую, можно сказать, уже похоронили, окрестив непонятым словом — бесперспективная. Окрестить окрестили, но поторопились. Хоть и бесперспективная, а не умирает деревня. Живет Веселуха. И хоть на сегодняшний, как говорится, день в ней осталось всего-навсего двенадцать старых, изъеденных дождями и временем изб, а в этих избах двенадцать старух и четыре старика, умирать Веселуха не собирается. Тем более что есть на всю деревню один ребенок — пятилетний Леха, внук самой молодой из старух бабы Лиды

по прозвищу Калаур. К ней вернулась недавно из города дочь Нина, мать Лехи — молодая, красивая, но больная. Потому и вернулась, что заболела. Но даже если учесть пятилетнего Леху и его двадцатитрехлетнюю, но больную мать, средний возраст жителей деревни составляет семьдесят лет. Так что не за горами то время, когда...

И все равно — живет Веселуха. Не зря же сказано, что человечество расстается со своим прошлым смеясь. Так и наша деревня. Умирает, но не сдается! Веселится, как может. На то она и Веселуха.

Утром на берегу Жереспейки

По утрам на берегу дымящейся туманом реки Жереспейки собирается, считай, вся деревня до выгребу. Отсутствует разве один дед Никифор, и то не потому, что не любит ежедневные бабьи пересуды, а потому, что дел у него невпроворот — за делами и помирать некогда. Ну, а старух хлебом не корми, дай хоть часок побыть на людях. Без этого и день начинать не в охотку.

Еще и солнышко не взошло, лишь проклюнулось в небесах розовым заревом — оживает деревня. Лают собаки, мычат коровы. Первой, как всегда, появляется на деревенской улице баба Нюра. Когда только и спит, старая? И встает раньше всех, и ложится позже. А все потому, что чересчур жадная — таков приговор деревни. Держит двух коров, хотя и от одной молоко девать некуда.

— Лысуня, Марсиянка! — кричит она на коров. — Вы куда, злыдни, претесь? Никакого на вас угомону! Вот я вас, окаянные! За ночь бока отлежали, а теперь бежите как оглашенные!

На ее тонкий, младенчески шепелявящий голос (у бабы Нюры только два зуба: один — сверху, другой — снизу) выползает из своего подворья Ленивая Саша. Ее так и зовут: не Саша, а Ленивая Саша, зовут за глаза и в глаза — она привыкла и не обижается.

Повздыхав и почесав обширный живот, которым и отличается она от всех остальных своих сверстниц, худых и костлявых, — Ленивая Саша тоже ковыляет на берег, хотя выгонять в поле ей уже некого: комолую свою коровенку она продала еще по осени. Продала, а

теперь жалеет, потому и приходит каждый день на берег — хоть на чужих коров посмотреть, свою вспомнить.

Следом за Ленивой Сашей сбегает с крыльца шустрая, несмотря на свою горбатость, Степановна. Эта вся в хлопотах, вся в делах. Хозяйство у нее большое, за всем надо уследить, со всем управиться. Двор Степановны ломится от живности: утки, куры, индюки, бараны. Ну и, конечно, корова. Корова у нее самая удойная. По кличке Краснуха. Она и вправду какой-то необычной темно-красной масти. Широкая, как телега. С большим, чуть не волокущимся по земле выменем. На такую большую корову нужна прорва сена, но у Степановны на центральной усадьбе колхоза двое сыновей — шоферы. Так что снабжают. Зато и за молоком приезжают чуть ли не каждый день.

Степановна выгоняет из хлева Краснуху и на чем свет стоит ругается, проклиная и это ясное летнее утро с только что поднявшимся, но в тумане еще неразличимым солнышком, и холодную росную траву, обжигающую босые ноги, и лохматого пса Шарика, из-за которого она почти всю ночь не спала — на кого, бес, лаял? — и вообще всех и вся. Ругаться Степановна мастерица, и надо отдать должное, у нее это здорово получается — не зло, но заковыристо.

Всласть наругавшись, она пускает корову пастись, сама же садится на берегу, по-петушиному поджав лишь одну ногу, готовая вскочить и бежать невесть куда, невесть зачем. С бабой Нюрой Степановна издавна не в ладах, и поэтому они лишь здоровкаются и молчат, поджидая остальных — с другого конца деревни.

Вскоре появляются и остальные. У сестер Татьяны и Ксении Кленовых — деревенское прозвище Молотилки — на две семьи одна корова, такая же худосочная, как и они сами, но по утрам они выгоняют ее в поле вдвоем, как бы не доверяя друг дружке единственную свою кормилицу. Из всех деревенских только Молотилки держат корову ради выгоды: носят молоко на продажу.

Вот, собственно, и все коровы — четыре на двенадцать дворов. Но на берегу по привычке собираются и те, у которых коров уже нет. Коров нет, а привычка осталась. И вот каждое утро приходит на берег реки Жереспейки одинокая Мавра-горюшница, худая, как обструганная доска, и скорбная, как богоматерь.

Приходит Петровна — третья по счету жена деда Никифора, по прозвищу Молодая. Молодой-то она, может быть, и была когда-то, а сейчас время начертило на ее лице столько замысловатых тропинок, что и заплутаться можно.

Не каждый день, но изредка приходит покалякать с товарками древняя Антиповна, по которой, как она сама признается, «давно земля плачет», а она все еще живет, одинокая, никому не нужная.

Позже всех появляется на берегу Герасимовна, по прозвищу Антиллигентка. Почему Антиллигентка? Потому, что Герасимовна в отличие от своих товарок зимы проводит в городе. То у одного сына гостит, то у другого. В деревню же приезжает лишь по весне и сразу же включается в деревенские заботы: разводит кур, гусей, покупает поросенка. Осенью всю эту живность, но уже в убитом виде, она увозит в город в качестве гостинцев своим сыновьям.

Собираются старухи на берегу, сидят, делятся последними новостями.

— Слышь, девки, — говорит Степановна, — вчерась приезжал мой Шурик, рассказывал: открыли в колхозе куриную фабрику. Открыть открыли, а цех, где щиплют кур, не работает.

— У них завсегда что-нибудь не работает.

— Людей нету, где их взять?

— Ну, председатель, — продолжает Степановна, — вышел из положения. Как утро, так снаряжает автобус в Жандурово, сажает поселковых женок — и на фабрику курей щипать.

— Они нащиплют. Коготки-то крашеные.

— А может, нам, бабы, взяться курей щипать? — предлагает Степановна. — Шурик говорил: за каждую общипанную курицу по полтиннику платят.

— Берись! — советует Ленивая Саша. — Деньги на тот свет с собой захватишь.

— Тут бы хоть со своим хозяйством управиться, — вздыхает Мавра.

— Ага, — тут же подхватывает Молодая, — я ночью сегодня проснулась: где мои руки? Нету рук. Как неживые. Хоть топором руби — не больно.

— А я сегодня страшный сон видела, — вступает в разговор баба Нюра. — Летит по небу бочка пузатая. Из бочки во все стороны стрелы огненные так и сыплются. Ну, думаю, неуж опять война?..

На этом старухи замолкают и молчат долго: у каждой из них есть кого вспомнить, кто погиб на той давней, но все еще больной войне.

— А я по радио слышала, — прерывает наконец молчание одна из Молотилок, младшая, Ксения, — что в Китае землетрясение. Когда земля под ногами прямо ходуном ходит...

Туман медленно расходится, да и старухам расходиться пора, ведь у каждой забот полон рот: надо печки топить, гряды полоть, кур-гусей кормить. Но они медлят.

— А чего это к тебе Гаврилюк вчерась наведывался? — спрашивает Петровна у бабы Лиды.

— Да мотоцикл свой искал. Говорит, где-то забыл, а где — не помнит.

— Хорош, видно, был, что не помнит.

— Теперь они все такие хорошие.

— Ничего, мотоцикл потерял, Настя ему машину купит. Только чтоб не сбежал от нее.

— Ну и бабы ноне пошли, — возмущается баба Нюра, — из-за мужицких штанов готовы весь век горбиться.

— У нас хоть мужики были как мужики, а сейчас... одни пьяницы.

Потом разговор как-то незаметно переходит на детей: как они живут-то в городе? Бедные, бедные...

— Какие же они бедные? — возражает Антиллигентка. — Ни печек им не топить, ни дров не рубить. Пришел с работы — и плюй в потолок.

— Ага, плюй, — вздыхает Ленивая Саша. — Моя вон пишет: по магазинам за молоком бегать умаялась.

— Вот и вертались бы домой, тут молоко бесплатное.

— Гляди, вернутся...

— Несчастные.

Разговор течет медленно, тихо, как вода в Жереспейке, обо всем и ни о чем. О том, что весна нынче выдалась затяжная, яровые могут не вызреть.

О том, что новый указ вышел — коров разводить в личных хозяйствах. А кому разводить? Молодым сейчас не до коров, старым — уже не под силу.

— У нас корова была, Зорька, вы ж помните, — оживает вдруг молчаливая Мавра, — по три ведра молока давала с отелу, а кормить нечем. То тут урву сенинку, то там. Лощины выкашивала. А какое там сено?

Слезы, а не сено. Мучилась, мучилась, дочка и говорит: что нам, больше всех надо? Давай продадим корову, будем, как все. А счас бы разве продали?

Ленивая Саша протяжно вздыхает, прислушиваясь к тоскливому урчанию реки, решается:

— Козу куплю.

— Коза не корова, — возражают старухи. — Молоко козой пахнет.

— Сбродлива больно.

— Да и молока-то от нее — кот больше наплачет.

— А все ж таки веселей, когда живая тварь в хлеву...

Солнце между тем выкатывается из-за леса, но тотчас же и скрывается — в тучу.

На берегу разгорается спор: будет дождик или не будет. Вторую неделю льет, пора бы ему и уgomониться, беспризорнику. Ишь, разбойник, что хочет, то и творит.

Уж давно пора им расходиться по домам, и время от времени какая-нибудь из старух поднимается, вспомнив про нетопленную печь, но тут же и забывает про нее.

Было б для кого печь топить, было б для кого щи варить. А то ведь не для кого...

Но тут неожиданно для всех возникает гул приближающейся машины. Старухи прислушиваются, мысленно прикидывают: к кому пожаловали? Гул затихает у избы Степановны.

— Иди, девка, — говорит ей Герасимовна, — кажись, твои приехали. Освободители.

— Какие освободители? — подставляет глуховатое ухо баба Нюра.

— Которые от продуктов нас освобождают!

Быстренько вскочив на ноги, шустрая Степановна убегает, за ней, как по команде, расходятся и остальные старухи.

Веселуха начинает свой трудовой день.

Домовой

Вернулась домой Герасимовна, затопила печку. Вдруг слышит: кто-то в трубе стонет. Подхватилась она и — вон из избы. Бежала по улице, кричала:

— Ой, божечки, ой, спасите!

Но, так как ее никто не спасал, она и залетела в избу к своей соседке Мавре.

— Ты чего? — испуганно спросила Мавра, увидев, что на Антиллигентке лица нет со страха.

— Кто-то в трубе стонет. Никак — домовой!

Свой домовой в избе — это и сторож, и добрый дух, отпугиватель нечистых сил, и бедное, невинно наказанное за что-то существо, которое надо жалеть, ублажать, но ни в коем случае не сердить, иначе в доме наступят худые времена.

Выслушав Герасимовну, Мавра рассудительно заявила:

— Стонет, значит, живой! Радоваться надо!

— Так ведь в трубе стонет, как бы не сгорел.

Мавра бросила кормить кур и побежала вслед за Герасимовной к ней домой.

В трубе действительно кто-то стонал, да так жалостно, что Мавра тут же осенила себя крестным знаменем.

— Беги за старой Молотилкой, — присоветовала она, — пусть поколдует, без нечистой силы тут не обойтись.

Молотилки вступать в войну с домовым наотрез отказались. Пришлось Герасимовне огонь в печке залить. Но только она поднесла ковшик воды, чтоб плеснуть в печку, как прямо в ковшик из трубы вывалилось что-то черное. Антиллигентка и ковшик из рук выронила.

— Батюшки, что это такое?

Разглядели, а это грач. Крыло одно подпаленное, а сам живой, удивленно так озирается: куда, мол, попал?

Вот так домовой! Гнездо свил в трубе, да не рассчитал — изба хоть только летом, но обитаема...

Как жить?

Баба Мавра сидит на крыльце, плачет горючими слезами. Печка у нее нынче не топлена, куры не кормлены.

— Ты чего, баба Мавра?

— Соловьи не поют. Бывалыча, они в сию пору ух как заливались!

— Может, не прилетели еще?

— Как же не прилетели? Вчерась одного видела. Клювиком тьяв-тяв, а голосу нету. А все они виноваты — самолетчики! — Она с гневом поднимает голубенькие, омытые слезами глаза к небу. — Нехристи! Все кусты

обсыпали своей химикалией. Вот соловьи и охрипли. А без соловьев что же? Жить-то как будем? Без соловьев.

И обильные слезы текут из ее глаз.

Через неделю соловьи все же запели.

Баба Мавра бежала по деревне, спотыкаясь и чуть не падая в утренних сумерках, кричала:

— Вставайте, бабоньки, вставайте, соловьи голос взяли! Запели, запели, милые...

Нина и клен

Молодая, красивая, с какими-то грустными глазами Нина сидит у меня под яблоней, гладит исхудавшей рукой налившиеся, готовые вот-вот лопнуть почки и говорит:

— До яблочка я уж нынче не доживу.

— Ну что ты, — пытаюсь я ее утешить. — Зачем такие мрачные мысли? Ты лучше думай о сыне.

— О нем-то я и думаю, — отвечает она и добавляет: — Не страшно умирать, а страшно, что умираешь по своей собственной глупости.

У Нины началось все с безобидного мастита, но в больницу она не пошла — некогда, огород нужно было засеять, лечилась дома травяными примочками. Из мастита выросла опухоль. Ей сделали операцию, но было уже поздно. Недавно Нина выписалась из больницы, чтоб помочь матери посадить картошку. А еще, чтоб побыть с сыном. Муж Нины, как только узнал, что у нее рак, бросил ее и завербовался на БАМ. На днях ее вызвали в суд, и она поехала в район за двадцать пять километров, чтоб дать согласие на развод. На мой вопрос: «Зачем ты поехала? Обошелся бы и без твоего согласия» — Нина ответила: «А я не знала, что можно не ехать. Вызывают...»

Чтоб хоть немного отвлечь ее, я начинаю рассказывать случай, который произошел в соседней деревне Киселевке. Городской писатель, прельстившийся сельской природой, купил избу. И уехал. Месяц его не было, приехал — избы нет. Весенний паводок подмыл ее, и она рухнула, а бревна уплыли вниз по реке. На месте избы одна печка стоит. К тому ж еще и топится. Это ребятишки разожгли ее и картошку пекут. Так и не

удалось городскому писателю вкусить прелести деревенской жизни.

Нина смеется, затем вдруг спохватывается:

— Ой, я ж забыла капустную рассаду посадить. Вчера приготовила, а сегодня забыла.

Вскоре она снова появляется:

— У меня рассада осталась, не нужна ли?

Пока я рассаживаю капустную рассаду, она дает советы:

— Чтоб солнце ее не сожгло, надо накрыть шалашиками из веток. Лучше из клена — у него лист шире. — И предлагает: — Сходим в лес, наломаем веток.

— Зачем в лес? Смотри, какой клен под вашим окном!

— А жалко...

Война с германцем

— Слыхал я вчерась по радио, — говорит дед Андрей, — стихи про лисичанские сосны. Это где же? Не в Белоруссии?

— В Белоруссии.

— А озеро там поблизости есть? Вроде бы Нарочь называется.

— И озеро такое есть.

— Значит, все правильно. В войну мы там стояли. Месяца два. Вот так германец, вот так мы. У него бетонные дзоты, укрепления, а у нас что? Окопчик по пояс, а сверху по брустверу плетень. Стоим, друг над дружкой насмешничаем: кто дулю покажет, а кто и посрамней дули. И тут приказ в наступление. Вскинули мы свои винтовочки и пошли. Считай, голоручь на пушки и пулеметы. И все же вытурили мы германца — побросали они свои дзоты и — наутек...

Увлечшись, дед Андрей начинает в мельчайших подробностях рассказывать, что было в этих брошенных дзотах и как они были устроены.

— Там не только два месяца — всю жизнь можно было прожить припеваючи. Не укрепления — хоромы. А у нас что? Окопчик и над ним плетень...

— Ты что-то, дед Андрей, путаешь, — замечаю я, — что-то я не помню, чтоб в эту войну были окопчики с плетнями...

— А я разве тебе про эту войну толкую? — сердится

дед Андрей. — Я и толкую про ту — в четырнадцатом годе которая!

Совесть в кармане

Чтоб не болтался без дела, Леху бабушка Лида заставила стеречь цыплят.

— Как увидишь ястреба над крышей, так кричи «калаур» и махай палкой.

А Леха заигрался в цветные камушки, и ястреб цыпленка украл.

Баба Лида, ожесточась, замахнулась на Леху, но не ударила, лишь ругнулась с досады:

— Ишь, поганец! Совесть у тебя в кармане!

Леха потрогал сперва один карман, потом другой — ничего в карманах не было. Чегой-то баба Лида обманывает? Хотел спросить, а той и след простыл — убежала траву косить.

Подумал Леха, подумал, почесал в затылке и отправился на деревню — совесть искать.

К первой зашел он к бабе Нюре. Та в тенечке корову доила. Новый ее муж, или Развлякатель, березовым веником отгонял от коровы мух, чтобы не брыкалась и хвостом не била.

Дождавшись, пока баба Нюра подоила корову, Леха напрямки спросил:

— Баб Нюр, у тебя совесть есть?

— Чего, чего? — не расслышала та, но налила Лехе целую кружку парного молока. Леха молоко выпил, хотел еще раз спросить про совесть, но постеснялся Развлякателя — все-таки новый человек, мало ли что может подумать. Сказал «спасибо» — отправился дальше.

У Степановны совесть, наверно, была, у нее всего в доме много, но Леха не решился спросить. Из-за своей горбатости Степановна ходила всегда с палкой, и Леха испугался: он у нее про совесть, а она его палкой?

Следующая по пути стояла изба старшей Молотилки, но у нее можно было и не спрашивать. Что ни попросишь, ничего у нее нет: ни соли, ни спичек. Нет, наверное, и совести. А если и есть, все равно не даст.

Шел, шел Леха деревней и встретил деда Никифора.

— Ты куда, паря?

— Совесть ищу.

— А зачем она тебе понадобилась? — спросил Никифор и, прищурившись, внимательно поглядел на Леху, но так как Леха не ответил, потому что и сам толком не знал, зачем ему совесть, то дед Никифор разъяснение дал: — С совестью, брат ты мой, жить трудненько. Тяжко жить с совестью. Ты б и сделал что-нибудь поганое, а совесть не дает.

Ничего не понял Леха: бабушка ругается, что совести нет, а дед Никифор спрашивает, зачем она, мол, совесть.

У Антиллигентки Герасимовны Леха задержался надолго — та гусятку из яиц выколупывала. Гусенок скорлупку клювом пробьет, а вылезти из яйца не может — силенок не хватает. Леха так загляделся на гусятку, какие они желтенькие, что и спросить про совесть забыл. Начал помогать Герасимовне. Она брала гусенка в руки, вытирала его полотенцем и передавала Лехе, а тот ставил их на дорожку, учил ходить. Гусятки смешно переваливались с ног на голову, но быстро соображали, что ходить надо не головой, а ногами, и топали уже по дорожке самостоятельно. Правда, когда попадалось им какое-нибудь препятствие — хворостинка или камешек, они в недоумении останавливались, не зная, что делать дальше. Это было самое интересное: угадать, какой гусенок сообразит обойти препятствие, а какой полезет напролом.

Но как ни был занят гусятками, а все-таки вспомнил Леха, зачем он пришел, и, когда гусятки научились ходить, спросил у Герасимовны про совесть.

Герасимовна ничего не ответила, лишь прослезилась и, пошарив где-то за пазухой, протянула Лехе три конфетки в красивых красных бумажках. Леха не так конфетам обрадовался, как бумажкам — он из них кораблики делал. Красивые получались кораблики, особенно когда он их по реке пускал: красные на зеленой воде. Потому он схватил конфетки и помчался скорей к реке, но вовремя вспомнил про совесть, замедлил шаг. У кого б еще про совесть спросить?

Подходя к избе Степана Ивановича, Леха приподнялся на цыпочках, чтобы через плетень разглядеть, в каком виде находится тот сегодня. Если пьяный, то заходить не имело смысла. В подпитии Степан Иванович забывал даже, как его зовут. Леха на всякий случай решил проскочить мимо, но Степан Иванович его оста-

новил. Схватил за шкурку и высоко поднял над головой. Лехе хорошо стал виден Степаниванычев двор, а во дворе ни собаки, ни кошки, ни курицы.

«Наверное, у него и совести нет, — подумал Леха, — откуда ей взяться на пустом дворе?»

Степан Иванович, словно разгадав его мысли, сурово спросил:

— Чего тебе надобно? Чего шныряешь?

— Не шныряю, а совесть ищу, — ответил Леха, барахтаясь в железных руках Степана Ивановича.

— Ах, совесть? — И руки у него обмякли, повисли как неживые. — Ну что ж? Тогда заходи!

Леха сообразил, что Степан Иванович, если и был в подпитии, то самую малость. Во всяком случае, держался он довольно прямо, а зайдя в избу, достал из чемодана солдатскую гимнастерку, разостлал ее на столе.

— Гляди, вот моя совесть!

Никакой совести Леха не увидел, а увидел ордена и медали.

— А где же совесть? — недоуменно поднял он глаза на Степана Ивановича.

— Тебе этого мало? — закричал Степан Иванович и, растопырив руки, пошел на Леху. Тот едва успел отскочить и нырнуть в сенцы.

Не помня себя от страха, примчался Леха домой. Какая там совесть, если за нее, глядишь, и убить могут?

— Не пойду больше ее искать, — решил Леха, — проживу без совести.

Решил так и успокоился. Пошел бабу Лиду искать. А она сено гребет. Взял Леха грабли и тоже стал грести. Грабли большие, а Леха маленький, никак не может с ними справиться. Но все же приловчился: нагребет маленькую кучку сена и снесет в большую копешку. Нагребет и снесет.

Подошла баба Лида, обняла его, поцеловала:

— А совесть все же у тебя есть, — сказала она, — не в кармане, а в душонке прячется...

Рыбак рыбака...

Петровна, хоть и на больных ногах, всю деревню всполошила:

— Никифор с ума сошел!

— Опять картину малюет?

— Хуже! Пришел с рыбалки, заперся в чулан и удочкой рыбу в корыте ловит.

— Ну и что? Пусть половит на здоровье.

— Так ведь с самого утра. Я уж думала — помер. Стучу, не открывает. Тогда я на чердак залезла, потолочину приподняла: сидит, как голубь, в руках удочка, а сам не шелохнется. Бежать, что ли, за фельшером?

Петровне присоветовали подождать до утра: авось что-нибудь да выловит.

Но Петровна не послушалась: сбегала на центральную усадьбу к фельдшеру, та спросонья ничего не поняла и вызвала из района «скорую помощь». На «скорой» приехали два молодца в белых халатах и, выслушав суматошный рассказ Петровны, выдавили в чулане дверь и взяли Никифора под белые ручки. Никифор попробовал было сопротивляться и даже замахнулся на одного молодца удочкой, но тот перехватил его руку и сказал: «Спокойненько...»

Из больницы Никифор вернулся только через две недели. Ни слова не говоря, стал собирать свои вещи.

— Ты куда? — вскинулась Молодая.

— Беру развод. Ухожу от тебя.

— Это еще почему? — ударилась в плач Петровна.

— Потому, что в разведку с тобой ходить нельзя, — ответил Никифор.

Пришлось всей деревней его уговаривать:

— Опомнись, Никифор. Двадцать лет душа в душу прожить, из-за какой-то ерунды расходиться.

— Разве ж это ерунда, ежели она меня в сумасшедший дом хотела упрятать, — упорствовал Никифор, продолжая собирать вещи.

Молодая чуть не на коленях ползала, прощения просила:

— Я ведь не со зла. Помочь тебе хотела. Никифорушка!

Всем миром кое-как уговорили старого.

На все вопросы, как ему там жилось, в больнице-то, Никифор не отвечал. И, лишь успокоясь, начал рассказывать:

— Ну, привезли меня на «скорой», все честь по чести, стали расспрашивать. За что, дескать, жена на тебя разозлилась? Я рассказываю: «Пришел с рыбалки, смотрю: одна щучка такая живенькая, ну, мне и захотелось поглядеть, как она, шельма, червяка за-

хватывает. Выпустил щуку в корыто, наблюдаю. А она, хитрюга, вокруг крючка ходит, а червяка не берет». — «Понятно, говорят, завтра мы вас еще одному доктору покажем». Назавтра опять вопросы. Я опять рассказываю, как пришел с рыбалки, смотрю: щучка такая живенькая, мне и захотелось поглядеть, как она, шельма, червяка захватывает. «Ага, говорят, понятно, мы вас завтра еще одному доктору покажем».

Так и водили меня две недели по разным докторам, пока на одного не напали. «Ну и как, спрашивает, клюнула?» — «Да нет, отвечаю, «скорая помощь» помешала».

Рассмеялся он и отпустил меня с миром. Тоже, видать, рыбак попался...

А доить некому...

Утро над деревней вставало тихое, ясное. И вдруг в этой тишине стал возникать какой-то сплошной медленный гул. Впечатление такое, что летит огромный рой пчел. Или метеорит падает на землю. Падает, а упасть не может.

Старухи прислушиваются к этому гулу, горестно качают головами.

— Бедные, бедные коровушки.

— Опять, видать, сломалась механизация.

— Вот и ревут — недоенные.

— Не одна, не две — тыща...

Наступает обед — рев не прекращается, а еще больше усиливается. Кажется, метеорит вот-вот врежется в землю.

— Ну, что у них там — души нету?

— Разве ж можно так издеваться над бедной скотиной?

Веселуху начинает лихорадить. Уже с самого утра в деревне было беспокойно, но беспокойство это было тихим, затаенным, потому что еще теплилась надежда: исправят же в конце концов эту механику.

К обеду беспокойство переросло в тревогу, а к вечеру тревога достигла такого накала, что потребовала действия. И вот старухи забежали по деревне, гремя подойниками — собирались идти колхозу на подмогу. Их никто не просил об этом, но им было жалко коров, ко-

торые ни за что ни про что принимали такое мучение.

Через полчаса на дороге, ведущей к комплексу, запылила цепочка босых, растоптанных, но крепких старческих ног. Вышли все двенадцать старух, даже Антиллигентка Герасимовна. Правда, у этой не было в руках подойника — она уже давно, как перебралась на зиму в город, не держала коровы, поэтому подойник ее куда-то запропал. Но она все равно шла, так сказать «за канпанию», хоть старухи и подсмеивались над ней.

— А Антиллигентка-то наша небось забыла, откуда у коровы и молоко течет.

— Вместо сиськи за хвост схватится.

— Зато в городе пьет молочко заминированное.

— Не заминированное, а витаминизированное.

— То-то, глядим, ты синей своей кофты с того витаминизированного.

— Нет уж, из-под коровки молочко ни с каким не сравнить.

— Оттого раньше и дети здоровыми росли, что пили молоко не заминированное, а парное.

— Его пьешь и пить хочется.

— А доить, вишь ты, некому...

И вся катавасия...

Девяностосемилетний дед Андрей, обосновавшись в тени одногодка-дуба на толстом тракторном колесе, плетет корзину. Он весь день тут сидит — есть ли дело, нет ли, дед Андрей, как пограничник, всегда на посту. Сегодня дело есть: шестидесятилетняя внучка Степановна целый день вчера чуть не вплавь ползала по реке — с берега дед Андрей обрезает сам — нарезала ему лозы.

И хоть на дворе еще раннее утро, вокруг деда Андрея валяются уже три аккуратно сплетенные корзины.

— Дед Андрей, когда ж ты успел столько поработать?

— Не спалось что-то. Как проснулся с первыми петухами, так больше и не заснул. Помолчав, добавляет: — Сыны приснились. Не те, что на фронтах погибли, а что померли еще маленькими. С голодухи. Бывало, мать им соски из клевера делает, они и сосут. Парнятки были: Егор да Федор. Погибельный год стоял. Не-

дород. Корова пала. За дровами в лес поехал, домой вертаюсь — тихо в избе. То плакали, гомонили, вдруг смолкли. Захожу, а они лежат рядком: мать посередке, обапол Егор с Федором, титьки во рту. — Дед Андрей вздыхает: — Как вспомянул их, заснуть не смог. Жалко.

— Дед Андрей, а как же ты в ночи корзины плел, не видать ничего.

— Зачем видать? Это для глаз свет нужен, а руки и в темноте видят.

— На продажу плетешь? — спрашиваю.

— На продажу. Дома уже деваться от них некуда. Любую выбирай.

— А сколько стоит? — Я выбрала красивую корзину — желтую с красной каемкой.

— Корзинка — рупь.

— Дед Андрей, — говорю я, — не продавай так дешево. Нарезать лозы, да ошкурить, да вымочить, да покрасить, да сплести корзинку... Вон сколько работы! Уж самое малое — рубля по три.

— А не хочешь и уходи отсель! — взрывается дед Андрей. — Нашлась мне указчица!

Уходя, слышу вслед старческое ворчание:

— Захочу и по полтиннику пушу. Корзинка — полтинник, и вся катавасия!

Ива-арка

Мало людей в Веселухе, зато много деревьев. И над речкой, и вдоль улицы, и возле каждой избы шумят березы и липы, тополя и клены.

Но самое, пожалуй, примечательное — старая, дуплистая ива на въезде в деревню. Когда молода была, стройна, небось высоко стояла, а состарилась — согнулась дугой, образуя собой нечто вроде зеленой арки. И стоит эта арка при въезде в деревню как страж. Не всякого в Веселуху впустит. Человек идет — иди, особливо если с доброй душой, а машина или трактор — стой. Не хочешь стоять — стороной объезжай.

Так и росла ива, прислонясь отяжелевшей головой к земле, словно задумалась о горькой доле своей. Думала, думала и как-то незаметно для самой себя проросла головой в землю, дала новые побеги. Взметнулись молодые ивочки в небо, зазеленели ярко, но и ста-

рая еще продолжала служить: пройдет корова под ней — почешется обкусанным оводом боком, человек случится — посидит в ее тени, отдохнет, а то петух взлетит, чтоб с высоты разнести по всей деревне свое разудалое «Ку-ка-ре-ку-уу!».

И вдруг старой ивы не стало.

Вышли веселухинцы поутру на улицу и не узнали своей деревни: все будто на месте, а чего-то и нет. Не хватает чего-то. Будто тело живет, а душу из него вынули. Только к полудню догадались, разглядели: ивы-арки нету. Спилел кто-то. Да так ровненько, под самый корень, что и пня не видать — трава скрыла. Раньше, когда старая ива стояла, вроде и не нужна она была, но вот нет ее, и деревня словно бы осиротела. Люди начали вспоминать, сколько же она лет жила, эта ива, и не могли вспомнить: она была старше всех в Веселухе. Этим и стала мотивировать Степановна, которая спилила иву: старая, дескать, что с нее взять? Польза какая? Ну, дала новые ростки, и хватит с нее — свое дело на земле сделала. Правда, Степановна начала оправдываться уже потом, когда ее поймали, как говорится, с поличным — следы от ивы привели к ней прямо во двор. Впрочем, не очень-то она и скрывала свое хищение. Когда снаружи с молчаливым укором собрались вокруг нее, Степановна в новой красной юбке вышла гордо из сеней и резонно заявила:

— Все, девки, скоро там будем.

— Мы-то скоро, — согласились старухи, — а она-то еще б пожила. У деревьев век длиннее.

— Ну, а вам-то что за радость? — упорствовала Степановна. — Да после нас...

Чуть-чуть не сорвалось у нее с языка знаменитое «после нас хоть потоп», но что-то удержало ее, заставило замолчать и молча удалиться в сени. Тем более что напрасно оправдывалась Степановна бесполезностью старой ивы. Как только ее спилили, стали усыхать и молодые, проросшие вокруг нее, ивочки. Видать, питала, старая, их своими соками, как мать молоком...

Жемчуг со дна речного

На берегу горит костерок, ярко отражаясь в вечерней воде, и прямо в этот огонь ныряет с мостика

мой сын Андрей. Нырнет, захватит со дна несколько ракушек и кинет на берег. Потом, когда ракушек собирается целая куча, он садится к костру и ножом растворяет их.

— Зачем ты это делаешь? — спрашиваю я.

— Ищу жемчуг.

— Жемчуг бывает только в теплых морях.

— А я найду здесь, — заявляет он и продолжает упорно нырять за ракушками.

Так продолжается три вечера подряд. На четвертый... Вдруг всю деревню оглашает счастливый, захлебывающийся крик:

— Наше-о-ол!

В ракушке, прямо в губчатом мясе, прилепившись к левому боку, сверкает бело-розовое чудо — жемчужинка.

...А ведь когда-то Россия вела торговлю с европейскими странами, продавая им бело-розовый речной жемчуг.

Путь к звездам

От деревьев путь лежит сразу к звездам, потому что деревья ближе всех к небу.

Звезды над Веселухой — хоть каждую ночь невод забрасывай. Да только боязно — порвут ведь невод, так их много. Мало сказать, много. В иные ночи между звезд нет на небе ни одного темного пятнышка. Небо, как молоко. Недаром же, наверное, и название такое придумали — Млечный Путь.

В такие ясные звездные ночи дед Никифор залезает на сеновал — там у него специальная дырка сделана, — отодвигает ведро, опрокинутое на дырку, чтоб дождь сено не замачивал, и выставляет в эту дырку подзорную трубу. С трубой, приставленной к глазу, он может просидеть всю ночь, забыв о времени и обо всем на свете. А когда утром сползает с сеновала, то ошарашивает жену свою Петровну очередным открытием:

— Семнадцать звезд упало, стало быть, в час падает по две с половиной звезды. Это ж сколько энергии исчезает? И главное — куда?

Он так спрашивает, будто требует от Петровны немедленного и точного ответа, но Петровна, уже привыкшая к таким вопросам-загадкам, лишь молча оглядывает мужа и уходит, предоставляя ему самому догадываться: сколько и куда.

Однажды с помощью трубы дед Никифор чуть не совершил настоящего открытия. Он узрел на луне яркую вспышку и предположил, что это неспроста, а к дождливому лету. Так оно и оказалось: начиная с середины апреля и кончая сентябрем дожди лили как сумасшедшие. Даже тихая Жереспейка вышла из берегов, образовав длинное, версты на три, озеро, и в том озере, как остров, плавала Веселуха. Картошка в подполях подмокла, не говоря уже об огородах. Засеянная по весне, картошка уже к началу лета погнила прямо на кустах.

Правда, это было давно и после не повторялось, может быть, потому, что Петровна отобрала у Никифора подзорную трубу и разбила ее вдребезги. Она свято верила, что, если б Никифор не залез тогда на сеновал и не узрел на луне вспышку, ничего бы не произошло. Да и какие могут быть там вспышки? На луне брат брата несет в наказание, что убил его когда-то. Так и будет вечно нести, пока стоит этот свет. Никифор же братьев начисто отрицал, говоря, что это видны лунные моря и горы. Ну, Петровна и показала ему горы, навек отучила на сеновал лазить.

Тем не менее звезд над Веселухой не убавилось, а Никифор стал **делать** свои открытия-предсказания и без трубы. По какому-то странному, только ему известному положению звезд дед Никифор предсказал, что в нынешнем году в Веселухе умрут двое. Так и случилось: умерла от рака Нина. И деда Корнея сыновья похоронили.

На веселухинские звезды приезжали смотреть из города ученые-профессора. На **двух машинах** с палатками. Но палатки так и не успели разбить, выставили свои трубы и загляделись в небо. Сделали заключение: микроклимат. И хорошо бы, дескать, на этом месте построить... как ее? Обсерваторию. Веселухинцы не поняли, что такое обсерватория, но обрадовались: ведь если что-то начнут здесь строить, стало быть, не умрет деревня.

Только и осталось надеяться на... как же ее? Обсерваторию.

Укор

Когда я думаю о судьбе Веселухи, у меня больно сжимается сердце. Перемрут последние старики и старухи, развалятся их избы, и сровняют деревню с землей, засеют овсом или клевером... А как же быть со столетними березами да липами? Их придется выкорчевывать. А исчезнут деревья, обмелеет, а то и вовсе высохнет река — и пропадет красота.

Такое уже случилось с соседней деревней Цыгановкой. Какие дубы там росли, какие вязы! В тени одного такого вяза мог расположиться на ночлег целый цыганский табор. Потому-то, наверное, и назвали деревню Цыгановкой. Большая была деревня, раскинувшаяся по обеим сторонам реки Дымки. Но проезду никакого, особенно в весенне-осеннюю пору. Так постепенно и умерла Цыгановка. Оставшиеся без хозяев избы разобрали на дрова, а деревья остались. Сколько техники сломали, с корнями выдирая из земли дубы и вязы. И что же? Некогда янтарно-чистая речка Дымка местами пересохла, и вода гниет в мелких колдобинах, где еще бьют со дна упрямые родники, вокруг этих колдобин поднялся кривой лозняк, глухой олешник — ни пахоты, ни красоты.

И все-таки одна изба в Цыгановке осталась. Одноухий Вася не захотел переселяться на центральную усадьбу колхоза и остался в деревне один. Впрочем, не один — с коровой. Корова в одиночестве так к нему привязалась, что каждый раз, когда Вася отправляется в соседнюю деревню, она идет следом, а потом терпеливо ждет его у сельмага. Домой Вася обычно возвращается, держась за крутой рог коровы Лыски. Если же случается, что рог не помогает и он падает где-нибудь на крутой тропинке, Лыска поднимает такой рев, что в конце концов приводит в чувство своего хозяина, и дальше уже они путешествуют в полном согласии. Лыска дорогу знает сама и благополучно доставляет хозяина домой.

Так и живет Вася, никому не надоедая и ни в ком не нуждаясь, не сознавая, что одним лишь своим существованием являет вечный укор тем, кто бросил деревню.

Океаны памяти

В долгие осенние вечера, когда топится печь и отблески огня, как чертенята, бегают по темным углам избы, вдруг приходят в голову безумные мысли: «А что, если где-то в просторах Вселенной есть такая же Земля, а на ней деревня Веселуха. Так неужели же те допустили бы, чтоб она погибла? Ведь на всем белом свете не найти места более красивого, чем это. Река Жереспейка виляет по деревне, будто сама себе вменила в обязанность подойти к каждой избе и чтобы окна изб — всех до единой — отражались по вечерам в воде. Столетние березы и липы так тянутся ввысь, словно поддерживают небо над Веселухой, иначе оно может просто-напросто обрушиться наземь от обилия звезд. В июльские, а особенно в августовские ночи звезды сливаются в одну сплошную россыпь.

А уж восходы и закаты над Жереспейкой!

Древняя Антиповна каждый вечер спускается с крыльца прямо к реке, чтоб помыть на ночь босые ноги, удивленно, по-детски, спрашивает:

— Когда же я увижу похожий закат? За всю жизнь не видела, чтоб один чем-то походил на другой. Неужто не дождусь? Люди вон и те рождаются похожими...

Так она и живет в надежде, а надежд даже смерть страшится.

Поля обступают со всех сторон Веселуху, посевы на них чередуются, но даже агрономы заметили, что на этих полях лучше всего растет клевер. От клеверов день и ночь над деревней висят такие запахи, что не хочешь, а все равно будешь ходить и улыбаться — сладким, дурманящим, теплым даже в ненастную погоду запахам клевера. Он проникает во все закутки изб, сараев, хлебов, вода в криницах и та пахнет клевером. Правда, не во всех криницах. Около колхозной, наполовину развалившейся бани в тени горькой осины притаилась криничка, вода которой пахнет тухлыми яйцами. Пить ее противно, но люди заметили: как выпьешь, все болячки как рукой снимает. И ссадины на руках, ногах лечит — в общем, святая вода. И только недавно заезжий московский художник (всю страну изъездил, а красивей места не нашел) популярно разъяснил, что такую воду он пил лишь на курортах и, стало быть, она минеральная. Веселухинцам что? Только

б на здоровье, а как там она прозывается... Как говорится, хоть горшком назови, лишь в печку не ставь.

Может быть, из-за этого и живут веселухинцы долго: старшему ноне стукнуло девяносто семь, младшей (опять же кроме сироты Лехи) шестидесятый пошел.

Дрова в печке еще не догорели, и опять та же мысль возвращается на круги своя: допустила ли бы высоко и гармонично развитая цивилизация, затерянная в невероятных далях Вселенной, чтобы погибла такая вот Веселуха? Да ее бы там сохранили как реликвию и показывали бы за деньги. Тьфу, дьявол, опять я думаю земными категориями: денег-то у них нет! Ведь гармония, а с деньгами какая ж гармония?.. Но все это высшие материи, а веселухинцев в данный момент волнует одна проблема: где достать хлеба?

Магазин, что бойко торговал когда-то, в прошлом году рухнул. Да странно так рухнул: стенами и крышей, а крыльцо почему-то осталось. И остался на двери огромный ржавый замок —наверное, с полпуда весом. Так и висит, неизвестно что стережет. А веселухинцы между тем каждое утро (тем самым немыслимо красивым восходом) идут в соседнее село —на центральную усадьбу колхоза —за хлебом. Идут не далеко, не близко, а семь верст с гаком, и не кто-нибудь, а первая в районе коммунарка Антиповна, идет Степан Иванович —«Тула я», кавалер трех орденов Славы. Идут за хлебушком две сестры Молотилки, одна трех сыновей отдала фронту, другая —пятерых. Идет девяностосемилетний дед Андрей —участник трех войн. Идет согбенная Степановна —спину она повредила, свалившись со стога во время колхозного сенокоса, но ушла на пенсию по старости, потому что никто вовремя не надоумил Степановну получать ее по инвалидности. Идет «везучая» баба Нюра, идет Ленивая Саша, бывшая передовая льноводка.

Правда, бывший председатель —сам фронтовик —следил раньше за тем, чтоб хоть раз в неделю подвозили в Веселуху хлеб. Теперь же он слег надолго в больницу, а заместитель его —молодой, когда ему вспоминать про захудалую деревню, если одна на уме забота: план, план, план...

За планом и про людей забыл.

Память, память, куда тебя уносят воды Жереспейки, —в моря, в океаны? Но тогда должны бы бушевать на земле целые океаны людской памяти!

Содержание

В воскресенье рано утром. <i>Повесть</i>	3
Круглая молния. <i>Повесть</i>	73
Печка на колесе. <i>Повесть-сказка</i> .	158
Живые памятники. <i>Повесть</i>	214
Танька у Маньки украла ма- куху <i>Рассказ</i>	252
Далекие звоны. <i>Рассказ</i>	261
ВЕСЕЛУХИНСКИЕ ЗАТИНКИ	
Как я попала в Веселуху	278
Откуда она пошла	280
Утром на берегу Жереспейки	282
Домовой	286
Как жить?	287
Нина и клен	288
Война с германцем	289
Совесь в кармане	290
Рыбак рыбака...	292
А доить некому...	294
И вся катавасия...	295
Ива-арка	296
Жемчуг со дна речного	297
Путь к звездам	298
Укор	300
Океаны памяти	301

**Нина Артемовна
Семенова**

**КРУГЛАЯ
МОЛНИЯ**

Повести и рассказы

**Рецензенты Е. Алфимов, Г. Заостровцев
Редактор П. Кучуков
Художник Е. Карелина
Художественный редактор Г. Саленков
Технический редактор Л. Анашкина
Корректоры Т. Воротникова, С. Зюзина**

ИБ № 2648.

**Сдано в набор 01.02.82. Подписано к печати
10.05.82. А 02044. Формат 84×108/32. Гарнитура ли-
тер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ.
л. 15,96. Усл. кр.-отт. 15,96. Уч.-изд. л. 17,28. Ти-
раж 50000 экз. Заказ 260. Цена 1 р. 30 к.**

**Издательство «Современник» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли и Союза писателей
РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4**

**Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Ры-
бнск, ул. Чкалова, 8.**

1 р. 30 к.

•СОВРЕМЕННОСТЬ•